

Александр Ребякин

ПЕРЕКОВКА

РОМАН

(эссе)

г. Урай
2013

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РЕБЯКИН
ПЕРЕКОВКА
РОМАН
(эссе)

«Перековка» — первое масштабное произведение писателя, созданное в жанре художественно-публицистического эссе. Ему предшествовал выход в свет двух сборников полемических статей и очерков под названиями «Город на излучине» и «Рябиновый пожар». Уникальные свидетельства из секретных архивов, исторические факты, связанные с судьбами нескольких поколений россиян, повествуют о великой трагедии государства, вставшего на путь жестоких репрессий и геноцида собственного народа. Спецпереселенцы, силой сорванные с родных мест, обреченные на выживание в суровых условиях Сибири, — вот главные герои романа (эссе), раскрывающего неистребимую сущность крестьянства, вековыми корнями связанного с землей. Автор перемещает акцент на северную провинцию — в Ханты-Мансийский автономный округ, ставший одним из самых драматических мест ссылки так называемых врагов народа. Судьба деревни — боль писателя, который родился и вырос на Севере. В его автобиографии звучит горькое, но не постыдное признание: «Сын раскулаченных и сосланных в Сибирь».

Книга повествует о трудных судьбах простых людей, прошедших суровые испытания бесправием и унижением человеческого достоинства. Автор исследует характеры, вопросы добра, справедливости и долга в условиях сталинского режима, бед и лишений, ставит своих героев в такие жизненные ситуации, которые требуют полного и точного проявления моральных качеств человека.

Сколько же лет я пытаюсь противостоять суровости дней, жесткости идей, тяжести привычек, которые меня и сковывают, и успокаивают! Пытаюсь разглядеть подлинное лицо вещей и обнаружить свою собственную, несомненную истину. Но все так быстро ускользает, так быстро становится недоступным. Этой глухой ночью в стынувшей тиши тесной комнаты внятен мой первозданный голос разве что только луне. Я открываю окно и смотрю в ночь. Ветерок охлаждает лицо, где-то по закоулкам лают собаки, в воздухе роются комары. Я начинаю ощущать нутром, что вещи, мысли, наконец, я сам — реалии, являющиеся мне в своей сути, и я цепенею от любого произнесенного слова. Ведь в жизни, особенно когда слова, эти железные оковы, не к месту, когда непригодны штампованные мысли — мелкая монета, что всегда под рукой, нет ничего более ценного, чем подлинное чувство. И я с горечью превеликой принимаю неких собратьев по перу, которым заранее известно, каким именно словом следует выразить внутреннюю тревогу, после чего ты спишь спокойно и ссылаешься на прописную истину, поскольку ею все сказано. Нет, ничего не сказано, ибо все, что нас волнует, пронизывает до костей, вгоняет в пот, — ново, сиюминутно, не вываляно в пыли. Однако вступать сейчас в полемику и, всем понятно, бесплодную дискуссию с литераторами, кои кроют книжки, словно яйца высиживают несущки, с пишущими ремесленниками, которым путь выложен унижительными казенными подачками за покорность, мне видится занятием совершенно пустым и никчемным.

Спрашивается, какие мотивы заставили меня, много лет скромно и, наверное, не совсем плохо исполнявшего обязанности корреспондента газеты, взяться за книгу, да еще в таком не совсем привычном для читателя жанре? Иногда я пытаюсь отвоевать себя у далекого прошлого. И хотя понимаю, что ничто ничего не объясняет, для меня существуют все же некие вехи, которые, подобно знакам зодиака, размечают карту моей жизни, напоминаящую мне о прошлом. И жизнь моя расширяет свои пределы, выходит за свои реальные границы. Я как будто не живу сам, а обнаруживаю себя погруженным в жизнь, смотрю на нее со стороны, как свидетель происходящего.

Так почему же именно роман-эссе, а не повесть и даже не обычный рассказ? Объяснение будет содержать пару простых причин. Я в прямом и самом добром смысле слова пребываю несколько выше библиотеки в городе, где живу: «царствие книг» на первом этаже дома, моя квартира — на втором. Имею потребность иногда навещать это приятное и близкое моим пристрастиям книгохранилище, правда, почти всегда в гордом одиночестве. Читателей здесь нельзя назвать частыми гостями. Да ведь во всех газетах не устают твердить, дескать, книга ушла в прошлое, сегодня Интернет всему голова. Не читают люди книг: лень, некогда, дорого, неинтересно, хлопотно и т. д. В упомянутой библиотеке есть уникальный стол, на который сваливают горожане ненужные им книги, которым дома, видимо, уже не находится достойного места, а выбросить жалко. Авось кому понадобится достойное место, а выбросить жалко. Связки собранных сочинений великих русских и зарубежных классиков. Что удивительно, почти все, как заметил бы шолоховский герой, «скрозь не читаны». Невольно ловишь себя на мысли: если народу не интересны гениальные сочинения, скажем, Валентина Пикуля, Стефана Цвейга, Льва Толстого, Франца Верфеля или Петра Проскурина, то кому нужен какой-то провинциальный писарь? Ладно, оставим это, найдем в себе силы открыть Советский энциклопедический словарь. На стр. 1571 значится, что «эссе — есть жанр, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением». Я очень надеюсь, что ничего неожиданного и странного в моем повествовании вы не обнаружите, ибо реалии жизни изначально сотканы из парадоксов, и никуда нам от них не деться. А вот в непринужденности изложения отказать себе ну никак не могу даже после долгих лет работы в журналистике, где до сих пор, я это хорошо знаю, тыкают носом в то, о чем надо и о чем не надо писать. Я избрал для себя принцип говорить о том, что велит моя душа. И совесть. И я ничуть не стыжусь некоторого пафоса, звучащего в этих словах. Кулачество — не просто абзац в истории нашей страны, это целый живой пласт поколений, судьбы которых находят отголосок сегодня. Чудовищно, парадоксально, не подвластно здравому смыслу, но больше половины населения Тюменского Севера даже сегодня — это дети, внуки и правнуки «ВРАГОВ НАРОДА», «КУЛАКОВ», «СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ». Невозможно в двух-трех словах очертить судьбу великой державы, так же, как и долю одного конкретного человека. Одни ныне, когда все перевернуто с ног на голову, сидят в фешенебельных кабинетах, другие в тюрьмах, одни ходят в партикулярных пиджаках, другие — в лохмотьях, одни состоят в партии власти, другие — на учете в полиции, наконец, одни

по старой привычке пишут доносы, другие — эссе. И все еще боятся, старательно зачищают в биографии подлинность своего происхождения, стыдятся предков. Знают, что сегодня никто не осудит, даже наоборот, а все равно стыдятся. Должно быть, неистребимо живучи в крови человека гены страха. Попробуем вникнуть в подлинное значение понятия «кулачество». В словарном толковании — это «русское название сельской буржуазии, возникшей при социальной дифференциации крестьянства». В Российской империи в начале 20 века кулачество составляло 20 процентов крестьянских дворов, в 1912-ом году оно производило 50 процентов товарного хлеба. Если бы кровавая большевистская идея бесклассового общества не получила в 30-х годах свое преступное воплощение, в аграрном отношении Россия занимала бы сегодня ведущее место в мире. Все разумное и целесообразное, некогда уничтоженное в силу политического нигилизма и утопических предрассудков, рано или поздно возвращается, но уже в новых формах, в иной окраске, скорректированной временем. Интересно, как принял бы «вечно живой» Владимир Ильич реалии нынешнего дня? Кругом новоиспеченные кулаки, этакое мутированное, искаженное, уродливое перевоплощение. Главное, самое прищипанное отличие — нынешнее поколение буржуазии хлеб не выращивает, а очень даже аппетитно потребляет его, при этом нещадно эксплуатируя за скудные гроши наемную рабочую силу. К чему привела изначально лицемерная, губительная для нашего Отечества перековка судеб миллионов? Число бедных, живущих в крайней нищете, составляет 80% населения современной России, 80% проклятых и забытых властью! Это почти 113 миллионов человек! Вместе с тем состояние 100 валютных миллиардеров в нашей стране оценивается в 250 миллиардов долларов, что равняется всем золотовалютным запасам Центробанка России. В данную минуту мучает меня другая неотступная и, должно быть, неразрешимая мысль: а придется ли к интеллектуальному двору современников мое скромное писание? Будут ли его читать? Конечно, есть послушники — служаки, этакие дворники с идеологической свалки, которые обязаны «ознакомиться», «сделать соответствующие выводы», ведь им за это властные хозяева хорошо платят. А «подкулачники», «спецпереселенцы» — эти прочтут? Хочется верить, обязательно прочтут, сердцем прочтут. Кстати, есть в г. Урае человек, перед возрастом которого, перед заслугами и перед талантом я готов склонить голову. Педагог, историк, член Союза писателей России. В одной из своих последних книг он застенчиво, как бы извиняясь, сообщает читателям, что издал ее на свои средства! Во как! То есть никто: ни власти со своими тухлыми пресс-службами, ни СП — помочь писателю не захотел. Дескать, его писать не заставля-

ли, вот и пусть выкручивается сам. А ведь все работы писателя — отнюдь не презренные пустышки, коими завалены полки книжных лавок. Прозаик исследует исторические вехи страны, в том числе Урая, где живет много лет. Почему пенсионер вынужден издавать труды, способные заменить тысячу современных бездарных учебников, на свои крохи, откладываемые годами на черный день? Почему? Не потому ли, что закрывшись в кабинетах от реальной действительности, нынешние власти забыли и не хотят вспоминать о дефицитных по нашим временам благах духовных? Надо сказать, что свершится чудо, если найдутся люди, при помощи и поддержке которых «Перековка» сможет увидеть свет, ибо в эссе нет хвалебных од власть имущим, а на мое жалкое пособие даже памятник себе из сосновых плах поставить будет весьма проблематично.

И еще. В книге нет почти ни одного вымышленного персонажа, все — реальные люди. Только имена изменены исключительно из корректных соображений. К сожалению, многие уже ушли из жизни, ушли раньше времени, сказались тяжкие последствия репрессий. Все события и факты тоже подлинные, ничего не понадобилось придумывать. Я очень благодарен сотрудникам центральной библиотеки г. Урая, которые помогли мне в поиске документальных свидетельств периода раскулачивания. Эти документы можно сравнить с крупинкой, но для меня они стали поистине бесценным кладом.

Перековка: часть первая

ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

Глава первая

1

От села Птичьего до Шумихи неспешным шагом ходьбы часа два с гаком. Можно, конечно, прокатиться на лошади, все скорее будет, но сельчане выбирали прогуляться пешком; что-то необъяснимое, трепетное даже звало их прошагать по этой дороге, утопанной людьми и временем, твердой, как глыба, и пыльной, знойной даже в непогоду. Бывало, неделю держится небесная морось, а дорога все одно гладкая, ровная, только лужицы местами отсвечивают, словно рассыпанный кем-то овес.

В селе Птичьем была в ту пору церквушка, такая, коих великое множество на старой Руси; маленькая, неказистая, словно усохшая в многолетии, но опрятная, по-хозяйски убранная, с дверью, не знавшей засов. Старики сказывали, будто село на своем веку дважды страдало от лютых пожаров, выгорая почти дотла, и оба раза огонь, словно по велению Божьих чар, обходил церквушку стороной. По большим праздникам, в Рождество или на Пасху, селяне никак не могли поместиться в тесноте обставленного иконами и прочей церковной утварью помещения; помолиться здесь толком не для всех в радость, держались плотно плечом к плечу, словно сельдь в кадке, ребяташки окаянные под ногами, то и гляди наступишь на кого, еще густо тянуло воском от свечей, трудно дышалось, а в голову лезла всякая чертовщина. Вот и вызрело, что, не сговариваясь, не жалуясь, стал народ, сначала одна семья, потом другая, третья, хаживать на службу церковную в волостной центр — в Шумиху. Ни толкотни тебе там, ни табачного духа в затылок. Да и батюшка справный, тихий, покладистый, с бороною по кушак. Приезжий он был, из волостного города Кургана, где еще в семнадцатом году большевики церковь порубили топорами, а позже и вовсе сожгли. Отец Прокопий тогда бежал, но скоро объявился в Шумихе. Ну куда же он без прихода-то? Попы тоже трапезы почитают, а прихожане, даже и не охотливые во-

все на подати, и те, глядишь, кто картошки подкинет, кто маслица. Власти батюшку здесь не трогали, снисходительно, будто с барского плеча, позволяли до поры-до времени справлять службу и отпевать усопших, побаивались людского ропота, ведь с народом только свяжись, такого сгоряча натворят.

Не знаю, какая душевная надобность заставила меня наведаться в село, где мою персону никто не ждал, где встречало незваного гостя спокойное равнодушие, которое обычно испытывают на себе случайные люди, без приглашения перешагнувшие порог чужого дома. «Вам кого? — и, не узнав кого, сразу ответ: — Так ведь те, кого вам надо, здесь уже не живут. Молока не просите. Нет у нас молока. Сами в лавке берем». Дверь перед носом хлопает не злобно, но решительно, как бы миром итожа разговор, в котором не прослеживается никакой надобности.

На месте дома, который я искал, давно висит над уцелевшими по ее краям ветхими избами типовая пятиэтажка. Удручающая своей унылой серостью и какой-то дремучей, нескладной архитектурой, она, мне казалось, широко расплзлась, словно забродившая квашня, повсюду, поглотив все, захватив и забытое Богом село. Подле крохотной гостиницы, так после революции здесь стали величать постоялый двор, закрытой к моему прибытию для борьбы с клопами, я разместился во дворе на скамейке со сломанной ножкой и постепенно, незаметно для себя, впал в пустотное состояние человека, отстраненно принимающего все, что происходит вокруг. Да, эта гостиница. Как знакомы мне такого рода ночлежки где-нибудь в больших селах, когда, бывало, проедешь зимой верст пятьдесят, спина ноет от тряски, ног не чувствуешь и хочется поскорее горячего чая. С нетерпением смотришь вперед по дороге и ждешь село, что должно показаться где-то, наверное, за тем бугром. Наконец, в сумерках завиднеются голые верхушки сосен и покажется где-нибудь в ложбине село с широкой улицей, с сугробами, с ребяташками в толсто накрученных платках. Держа в руках веревочку от салазок, они провожают тебя глазами, любопытствуют. Сани спускаются круто вниз, едут около сараев и выносят на церковную площадь с лавками, ларями и желанным постоялым двором. Крутая деревянная лесенка наверх; молодушка, моющая в сенях пол в сапогах на босу ногу и в отрепанном полушубке; прилипшая от мороза дверь и теплый дух горницы с запахом печеного хлеба и пирогов. В комнатке на печке чайник с крышечкой на грязной веревочке, на столе грубая, но чистая скатерть. Этот случайный приют от холода и усталости дальней дороги с его маленькими закутками, в которых вечно копошатся и подходят к дверям в одних рубашонках дети, кажется таким милым и уютным со

своими маленькими окошечками с двойными рамами и с большой, всегда горячей печкой.

По циферблату поздний вечер, однако лишь слегка темнел небосклон, стойко светился небесный купол, похожий на вместилище высших и горних духов, бесконечных идей, и только в лесочке, сразу за гостиничной оградой, ненадолго, на час-два, устанавливалось глухое уходящее время. Но даже в этот бесовский час слышно было, как живет за околицей старая роща, не спят поля и речка. Я не слышал, я скорее чувствовал, как доносится в деревню, словно крик помешанного, дикое кукареканье — кричит неясно, как посвистывают, переговариваются утки и кулички. Не спит Земля, давшая свет божий и первый вздох Николаю с Анютой, Земля, связавшая их здесь венчальным звоном бубенцов, оплакавшая горькую боль разлуки с родными местами под окрик произвола и бесчестия. Нет, не об этом мне думалось тогда. Я принимал окружающее меня бодрствование, пытаюсь понять его, проникнуться и насладиться, как наслаждается, быть может, все живущее и живое. Я засиделся до рассвета; слушал, дышал, пытался понять и вжиться во все эти голоса, звуки, в краски зари, которая, как жар-птица, не затухая почти, обходила небосклон по северу и востоку и малиновым светом, как звоном, занимала новый день. Мне зримо представилось ощущение всего этого совсем молодыми, закружившимися от счастья молодоженами, которые еще не ведали о подстерегающих их ударах, уготовленных судьбой и мятой, в жирных разводах, бумагой из сельсовета: «...имущество отрешить в пользу бедняков. Кулаков сопроводить под охраной в Шумиху для дальнейшего определения». Какое имущество надобно отрешить? Зачем охрана? Все сдвинулось, перевернулось, повисло в пустоте. Это будет, это уже глухо стучается в дверь, топчется на крыльечке. А пока ясный день, напрягая все силы, противится наползающему холоду свинцовой, непросветной ночи. Аннушка прижимается к щеке Николая, он слышит ее обессиленный и подталкивающий шепот — те самые слова, которые вырываются в таких случаях у всех баб. Какие мысли переполняли в минуты единения Николая и Анну? Может, радость тихой благодати, наслаждения, ведь такие дни, как сейчас, наверное, один-два в лето, и то не в каждое. Да кто собирает их на Руси? Кому они нужны? Тихая, добрая и справедливая страна лишь грезится там, впереди, тихая и счастливая там, за туманом неисповедимого, но уже тревожного бытия.

Дом, опоясанный добротным частоколом и корневищами дремучих тополей, держался на пригорке, недалеко от управы. Днем на подворье кудахтали куры, резвились ребятишки, время от времени с сеновала, надсадно кряхтя и позевывая, опускал себя во двор Сте-

пан — работник, на котором лежало небогатое, но воистину хлопотное хозяйство полковника царской армии Афанасия Фаркова и жены его Евдокии. Было у них трое детей. Старшей, Аннушке, едва исполнилось 18, сестра ее, Танюша, ходила в первый класс церковно-приходской школы, а Санька и вовсе был маленький. Рано, упреждая взволнованный крик петухов, Степан запрягал лошадь в потертую, однако еще довольно крепкую карету, старательно смазывал колеса жиром и взбирался на облучок, дожидаясь хозяина. И вот они уже следуют сначала по проселку, мимо управы, проезжают церковь, не забывая привычно перекреститься, и лишь потом карета выкатывается на дорогу, что ведет напрямиком в волостной город Шумиху, где и нес службу Афанасий Никитич. Армейский чин полковника включал в себя хлопоты по обеспечению служивых провиантом, одеждой и прочей надобностью. Был памятный случай: за старание и прилежное исполнение обязанностей сам царь-батюшка поощрил Афанасия правом поставить дом за казенный счет, в котором и состояли Фарковы, вызывая у сельчан плещущуюся через край зависть.

Управившись с учебой, Анна не расставалась с книгами, читала много, вдумчиво, осмысливая самую глубинную суть прочитанного, почему-то тайно вынашивая при этом добрую мечту непременно продолжить образование. Отец догадывался об этом и не перечил желанию дочери, однако все чаще, как бы ненароком, заводил разговор о зрелом возрасте девушки, о естественной, по его убеждению, потребности иметь свою семью, свой кров и хозяйство. Говоря о последнем, Афанасий смущенно отводил глаза, но и умолчать на этот счет не мог, потому что лошадь, пара коров, поросят и десяток кур в его представлении являлись хоть и необходимой, но вторичной надобностью, а скорее — обузой, отнимающей много сил и времени. Ему, человеку служивому, содержание жизни виделось совсем в ином, не в приземленном и столь упрощенном выражении, а в чем-то более возвышенном, отвечающем долгу перед Отечеством, перед престолом, наконец, вечным обязательствам перед Богом. Именно эта убежденность оправдывала его немного снисходительное отношение к Степану, которого он когда-то подобрал на дороге до бесчувствия набравшегося самогона, который, попав в его дом, впервые почувствовал себя человеком, стал равноправным членом семьи и обрел свой, пусть не совсем совершенный, но довольно определенный смысл жизни. В этом состоял его удел, это наполняло чашу его желаний и потребностей. Нет, не в таком облики виделась полковнику судьба дочери. Он не мог знать, что пройдет совсем немного времени и объявившиеся на пороге сваты в одночасье разрушат все его тлеющие надежды, заставив смириться с чужим и неведомым ему потоком законов жизни.

Что-то непонятное для окружающих заставляло Афанасия ютиться в деревне, с которой его, впрочем, ничего не связывало. Он, офицер царской армии с блестящей репутацией, высокопоставленный чиновник дворянского происхождения, мог позволить себе более достойные условия, занимать апартаменты где-нибудь в Москве или Петербурге, ездить с поручениями за границу, то есть вести образ жизни, отвечающий его статусу и положению. Но деревня с ее бытовой неустроенностью и немудреными приземленными интересами держала его так цепко, что иной раз казалось, что здесь он родился, здесь должен скоротать свой век и умереть. При всем своем авторитете в селе он стеснялся бывать на людях, не желая лишний раз показать неравенство и свое навязанное положением превосходство. При встрече с мужиками у него, правда, находилось в запасе несколько фраз и вопросов, которые давали возможность на короткое время поддержать соседский разговор. Вопросы эти касались большей частью обычных тем: состояния погоды весной и летом и предполагаемого урожая. Иногда, впрочем, гораздо реже, разговор принимал другой характер, если мужичок жаловался на какого-нибудь соседа, обидевшего его. Тогда Афанасий всегда принимал сторону мужичка и говорил, что в мире еще много плохих людей и самое лучшее — это стараться их не замечать или прощать их слабость и дурной характер. Сегодня под вечер полковник снял с вешалки в передней свой просторный белый пиджак с отвисшими карманами, он никогда не выходил в деревню в военной форме. Заглянул в низкое окошко, чтобы убедиться, что дождя нет и сумерки стоят безветренные, и пошел погулять, в одиночестве побродить по околице села, наслаждаясь вечерним покоем и прохладой. Откуда-то, будто из подворотни, неслышно вывернулся щуплый, крючковатого вида мужичок, сельский ветеринар, поздоровался, пошаркал в знак почтения стоптанными, мятыми сапогами и сразу заговорил как-то вкрадчиво, с просительной интонацией в голосе. Ветеринару не хватало на заветную чашку самогонки, и это обстоятельство, очевидно, понудило его обратиться с просьбой к первому встречному. Денег у Афанасия по обыкновению не оказалось. Денежный вопрос, как и все практические вопросы, относящиеся к домашней жизни, были для Фаркова каким-то наказанием, точно посланным за прародительский грех. Питая безотчетное отвращение и презрение к этой стороне жизни, он чувствовал даже стыд, когда у него оказывалось мало денег в какой-нибудь шекотливый момент, например щедро дать на ладонь постовому, который бросился раскрывать перед ним двери, как перед большим барином. Или вроде этого случая, когда у него не хватило духа прямо сказать ветеринару, что у него нет денег.

— Вы подождите, я сейчас только домой схожу, деньги в кителе оставил. Вечно, знаете, забываю с собой взять.

* * *

Необъяснимым, тонким женским чутьем Евдокия уловила вместо ожидаемой неприязни неумело скрываемый живой интерес мужа к невысокому голубоглазому парню в ситцевой рубашке, подвижному, нагловатому и даже в чем-то, это сразу бросалось в глаза, немного упертому. Они долго говорили, спорили, горячились. Такого склада собеседников Афанасий ценил, особенно если они отстаивали убеждение свое, извлекая из ножен твердые аргументы, которым нечем противиться.

— Как же вы собираетесь жить, Николай, ведь у вас ничего нет; ни дома, ни усадьбы, ни скотины? Аня, мил-человек, воспитана в достатке, ей скоро это не понравится. И что потом? Паперть?

— У нас руки есть. И голова! — почти спокойно, с готовностью ответил Николай. — Я и кузнецом могу, и плотницкое дело знаю. А если нужде не кланяться, не поддаваться ей, так она сама же всему и научит. Вот вы, Афанасий Никитич, ведь не родились в эполетах, трудом получали свое. Вот и мы. Мы-то чем хуже? Отец мой дает нам коня, инвентарь, вы чем-то поможете. Да не горюйте, будет у нас с Аннушкой все как у людей. Непонятен мне укор ваш, не уразумею я, ведь что выходит: сначала, значит, ты червонцы заработай, лошадь купи. Аннушка пушай корову займее, подушки, еще чего-то. Потом оба врозь купим по ложке, одежду и только тогда можно под венец? Этак мы до конца света собираться будем.

Свадьба была не то чтобы на весь свет с размахом, когда стол ломится, пыль от пляски столбом, когда в угаре зреют кулаки и грохаются стаканы, но и не пустой, не кухонной — в пять табуреток округ стола. Спиридон, отец Николая, пара сослуживцев Афанасия Никитича, работник Степан, еще кто-то из соседей. Чинно, как положено, сидели парами в лучших платьях и рубашках. Говорили почему-то тихо, старательно и осторожно подбирая слова, чтоб не сболтнуть чего лишнего и не обидеть кого, не показаться невеждой. Степан, еще до прихода пригубивший в конюшне первача, не дожидавшись торжественной речи отца невесты, вдруг ни с того ни с сего заорал: «Горько!» Николай сорвался со стула, поднял под локоть Аннушку и робко, словно стыдясь чего-то, чмокнул ее в щеку влажными губами. Все захлопали, зашумели, лица раскрепостились, обмякли, забрякали стаканы и ложки. Кто-то принес из кухни большой, с собачью голову, каравай на белом льняном, вышитом крестиком полотенце. Молодые, подбадриваемые гостями, в полный рот откусили

от буханки, которую в ходе застолья с немалым удовольствием доел Степан.

После свадьбы молодые заняли дальнюю половину дома Фарковых из двух комнат, смотрящих на солнечную сторону. Утром управлялись с приданым. Собрались подле избы Громова. Спиридон выкатил из-под навеса тележку, и сразу все задвигалось, наполнилось будто праздничной суетой. Двое мужиков взялись за сундук, кто-то взвалил на загровку стол. Кроме стола, взяли еще разборную железную кровать с панцирной сеткой — ни у кого в Птичьем такой не было. Потом погрузили посудный шкафчик, еще что-то. Много чего тащили из амбара, из стайки, из сеней — все такое, что перешло Спиридону от отца и деда, а теперь по заветному закону рода должно было обрести новое место. Степан старался пуще всех. Ухват, сквородник, мутовку, туеса, кадки, грабли, топоры — все это тащил на телегу охапками, спотыкаясь о порог, падая, ругаясь и разговаривая с самим собой.

— Куда ты все это? — стыдливо укорял Афанасий. — Разве в комнаты со всем этим скарбом влезешь? Да и без надобности он.

Степан не слышал, за все хватался, все тащил в багажную кучу.

— Афанасий Никитич, поглядите: совсем доброе корыто. Как новое еще. В нем воду можно держать.

— Брось, где лежало, и боле не касайся. Воду держать! На что тебе ее держать? — заворчал Спиридон.

Для молодой семьи началась новая, кипучая в круговерти радостных забот жизнь, полная трудов, пестрых мгновений и неожиданных открытий, загадочных таинств сердечной, физической близости, радости и отчаяния. Сбывались слова Николая: «Все, как у людей».

2

Осень. Не ранняя ее пора и не поздняя, а самый светлый, позолоченный, будто зажженными свечами вымощенный день — середка осени. С полей уже убрали хлеба, застоговали сено, ссыпали картошку в погреба. Легко на душе, светло. Бытность перестала казаться неумемной, постоянно действующей пружиной. За тонким маревом светит невидное тихое солнце. Широко цветет сирень. Предвечно белеет на далях и совсем уже вечно, таинственно шумит в соснах, где-то вскрикивает, обещая долгую жизнь, иволга. Редко выпадают такие дни — отзвуки высшей благодати. Тихое, сдержанное ликование источают крестьянские избы. Господи, хорошо-то как! Но совсем иное занимало в эту пору Степана. Глянув через частокол в огород хозяйской усадьбы, можно было увидеть его согнутую спину, обтянутую синей линиялой рубахой, перепоясанной старым солдатским

ремнем, а то еще под навесом сарая, у верстака, где что-то он строгал, сколачивал и прилаживал. И потом всю ночь слышались его шаги, скрип калитки в пригоне, изредка ворчание — Степан нередко, хотя и невнятно, говорил сам с собой, а может быть, со своими копытными и рогатыми чадами, что густо населяли двор. А вот уже копаются он в огороде, пропалывая, ползает на коленях меж гряд или носит от колодца на коромысле воду, зачем-то поливая уже собранные огурцы.

Степан хоть и ворчал на хозяина, говоря: куда ж это все сразу сделать, но он только тогда и мог работать, когда его не стесняли определенной, узко поставленной задачей. Когда ему приходилось думать о том, чтобы не переступить границу своих обязанностей, он впадал в сонливость, тупел и не понимал самых простых вещей. Степан всегда делал шире, чем ему было намечено хозяином, сам не замечая, когда перешел рамки. Он делал обыкновенно то, на чем останавливались глаза. Но внимание у него всегда устремлялось по прямой линии, то есть он видел только там, куда стоял лицом. Поэтому часто случалось так, что заданное ему дело он едва зацепит и захватит в то же время десяток других дел, которых ему никто не поручал делать. Не вынося точно очерченных границ, Степан никогда не смущался неопределенностью дела и положения; целыми днями в своей опоясанной рубахе и в вислоухой шапке мог ходить по двору, искать чего-то несуществующего, раскапывая иногда ногой шепки и стружки около сарая; вертеть в руках и осматривать очень внимательно какой-нибудь подвернувшийся под руку предмет, как бы собираясь исправить, починить, но через минуту спокойно бросал его опять и поднимал веревочку или кусочек гвоздя, валявшийся на земле. И потому всегда имел вид занятого человека.

Иногда Афанасий, спешно поручивши ему что-нибудь сделать и узнав, что Степан и не думал приниматься за дело, налетал на него с обычным в этих случаях вопросом:

— Ты что делаешь?

Так как Степан редко мог определенно формулировать, что он в данный момент делает, то он обыкновенно, показав на колесо или на кол, который тесал, сидя на пятках, говорил:

— Что делаю?.. Видите.

Афанасий видел и не знал, что сказать, так как ясно было, что ошибся в своем подозрении относительно безделья Степана.

— А когда же ты примешься за то, что тебе велено?

— Когда?.. Как кончу это, так и сделаю, — говорил Степан. — Там и дела-то всего ничего...

Утром Степану сказано было явиться в сельсовет. Зачем он вдруг понадобился начальству, никто из домашних не знал, и это обстоя-

тельство пудом лежало на сердце мужика, привыкшего только к своему незамысловатому, привычным шагом вымеренному кругу жизни, далекому от светского этикета, красивых манер и прочих формальностей. Ясно было одно — зовут не на праздный пирог и не на кружку браги. «Может, сболтнул чего ненароком, — терзался Степан. — Времена нынче недобрые, за вовсе вроде безобидное слово можно головой поплатиться». И вправду. Как тут забудешь случай — вот собрали давеча народ у церкви, у столба, где приладили репродуктор. Передавали речь товарища Сталина. О чем говорил вождь, Степан не помнит, да и слышно было плохо. Но беда-то не в этом. Кузнец Никитка перед приходом плотно отобедал, нахлебался гороховой каши, ну и тут не сдержался, невзначай опростался от дурных газов. Да так шумно это у него вышло, как нарочно, звучно, с присвистом, что все испуганно обернулись. Он возьми и брякни: дескать, это мое седалище со Сталиным разговаривает. В тот же день увезли Никитку в Шумиху. Нет, сначала тумачков надавали на конюшне, а потом увезли. Знающие мужики даже не спорили, чего тут спорить, сходу решили, что теперь светит шутнику лет десять заточения, если сразу в расход не пустят.

В сельсовете Степана ждали, видно, с нетерпением. Кто-то, притворно расшаркиваясь, встретил его во дворе, у самых ворот, повел, ухватив за рубаху, в комнату председателя Клюева, сам замер у двери, чутко вслушиваясь в каждое слово.

— Садись, Степан Ильич, в ногах правды нет, — просто, дружески почти, заговорил председатель. — Да ты не робей, не робей! Дело тут у нас к тебе есть большой, знаешь ли, важности. Деша вот из волости пришла, требуют, знаешь ли, чтоб мы в Птичьем порядок навели, а то разболтались, знаешь ли. Чешем языком что попало. С врагами народа, с проклятым кулачеством, надо, брат, кончать. Ага. Жируют, пролетарской властью брезгуют, надо их, Степа, к ногтю-то прижать, ага, выкорчевать сорняк из нашей земли. Да что я все говорю, ты сам-то как на это смотришь?

— Так я ничего, правильно смотрю, я как все, — пробормотал невнятно Степан.

— Партия большевиков, товарищ Сталин — это тебе не ВСЕ, Степа, это передовой, можно сказать, отряд пролетариата. Гегемон!

— Так я не супротив, — насторожился Степан. — Гегемон и есть.

— Вот скажи мне, мил-человек, сколь годков ты на полковника ба-трачишь, а? Молчишь! То-то! А он, благодетель твой, жилы из тебя тянет. И нос не воротит.

— Да нет, вроде...

— Вот все вы так. Нет, вроде, нет, вроде... Вам, знаете ли, волю в руки дают, а вы еще чего-то думаете, боитесь, что ли, лишиться объ-

едков с барского стола? Сам рассуди, советская власть дает тебе право стать хозяином своей судьбы. Конец пришел эксплуатации, — с трудом выговорил последнее слово и после недолгой паузы уже с твердостью неожиданно добавил: — Хочешь, дом Афанасия будет твоим? Хочешь? И надел, и скотина. Все твое! Вспомни, кому служил твой хозяин, за кого горой стоял, нас с тобой не жалел, палкой понукал во имя своего Государя-Иуды. Не зря, знаешь ли, пролетариат скинул царя с трона, свободу дал простым людям. Товарищ Сталин на что указал? На то, чтоб всех буржуев, все кулацкое племя сжить со свету, чтоб не пахло, знаешь ли. Значит, так; мы тут посоветовались и постановили назначить тебя старшим отряда по борьбе с кулачеством, пока, правда, только в пределах нашего села. Ты, Степан, по всем пунктам подходишь: урожденный батрак, брагу, вроде, не сильно хлещешь, в воровстве и с бабами не замечен. Стало быть, тебе и вожжи в руки. Все! Так, Ванька, — окликнул мужика, запавшего у двери, — ступай с товарищем Степаном в соседнюю комнату, скажешь ему, чего делать надобно и как надобно. В шкапу возьмешь красную папку, там разрядка. К концу месяца велено конфисковать имущество у двадцати кулацких семей. Избы чтоб досками заколотить, все ценное сдать на склад через меня, я зафиксировать должен, людей и баб, и стариков с детьми на подводы и — напрямик в Шумиху. Там знают, что с ними делать. Ладно, все, ступайте. Да, чуть не забыл. В доме Фаркова Степан Ильич жить будет — согласовано. Здесь — похлопал по лбу — все согласовано!..

— Там еще Колька с Анной.

— Их тоже на подводу.

— Так они же только жить начали, — робко возразил Степан. — И Аннушка с животом, на сносях она.

— Заладил себе: только жить начали... Ты, брат, нюни мне тут не разводи, тебе теперь это по должности не положено. Ежели хочешь знать, то советскому строю сегодня не только кулаки опасны. Их что, раз через колено, и делу конец. Семья их истребить надобно, семья! Одна, знаешь ли, кровь. То и жди от них удар в спину. Слышал небось про кулацкий мятеж в Кургане? Это все оно, кулацкое отродье, сынки мелкобуржуазных элементов. Добро свое, трудом пролетариата для них нажитое, силком вернуть задумали, обидела их советская власть, знаете ли. Не выйдет! И впредь послабления никому не будет. Ты что-то там про Анну говорил? Ага! Ведь просил же ее по добру, выходи за меня, Нюра, век будешь как за каменной стеной. Не послушала, отмахнулась. А теперь что? Теперь я уже все, теперь я не волен решать. Слово партии — закон! Отца Кольки забирать будете, пошарьте у него в избе хорошенько. Давно я к Спиридону присматриваюсь. Слышал,

с цыганами в ладах, краденых лошадей в соседний район перегоняет. Вроде, и золотце у него водится. А что, самое время поделиться, — ухмыльнулся и зачем-то облизнул усы. — И еще. Если вилами встречать будут, за грудки хватать, вы их прикладами, только не до смерти. А то я вас знаю, вам только волю дай. Нам лишней крови не надо. Они хоть и враги наши, но все одно — люди. А ты, Степан, бороду-то остриги и выпишь ладом, завтра работы будет через край.

Степан промолчал, зашевелился в дверях, будто кто-то силком выталкивал его взащей из комнаты, попятился, вывалился во двор, ошарашенный услышанным, потрясенный и взволнованный до одурения.

Клюев остался доволен Степаном, для карательной операции ему нужен был именно такой простак, умеющий что-то делать, не думая. Председателю понравилась реакция мужика, по всему видно, почувявшего возможность одним только шагом преодолеть рубеж, отделяющий его от сладкой, полной достатка жизни. Практика собственного прошлого Клюева имела то преимущество, что подчинять себе волю других людей там было не нужно, потому что и людей никаких не было. Было только одно эксплуатируемое большинство, которое теоретически подчинялось ему, что следовало по программе для его блага. Организации тоже не требовалось, потому что это большинство представляло собой совершенно однородную массу, лишённую всяких противоречий и собственного «я». Вместе с тем всякое подчинение чужой воли было для Клюева нравственно оправданно, хотя он даже чувствовал себя как бы виноватым, когда ему приходилось приказывать зависящим от него людям. Ему морально было гораздо легче быть управляемым, чем самому управлять. И, наконец, еще опаснее было положение тогда, когда за осуществление своей мысли приходилось бороться и побеждать злую волю других людей. Если воля была очень злая, то в первый момент она вызывала взрыв негодования. Но уже через некоторое время появлялась склонность к размышлению, рефлекс, который начинал разъедать и расшатывать энергию, входить во все мотивы, которые привели злую волю к дурному поступку. Вот так именно обстояло дело; и теперь его новая председательская жизнь, получившая основательную идейную основу, требовала длительного личного напряжения, организации подведомственной ему живой силы и борьбы со злой силой за свою власть над мужиками.

Этой осенью у Клюевых, как обычно, наступила горячая, хлопотливая пора. Нужно было всеми силами оберегать свое добро: стеречь траву на лугах, чтобы бабы не рвали. Это обычно делал сам председатель, притаиваясь по вечерам в канаве или за кустом, откуда он вы-

летал коршуном и хватал баб за платки и за косы. Нужно было чинить изгородь в огороде, набивать заново гвоздей в забор остриями кверху, чтобы у всякого охотника до чужих огурцов или яблок осталась добрая половина штанов с мясом на этом заборе и потом при одной мысли о чужих огурчиках, нажитых трудом и благочестием, чесалось бы одно место.

Мысли о том, что могут украсть, была самой тревожной для всего дома, но в особенности воров страшилась мать Клюева — Елизавета Львовна. Она на всех, кто был беднее ее, смотрела как на воров и лежебок. И как только теряла какую-нибудь вещь, хотя бы свою толстую суковатую палку, с которой ходила по двору, так первая мысль, которая приходила ей в голову, была мысль о воровстве.

— Украли палку, — кричала она, — чтоб их разорвало, окаянных! И когда только на них погибель придет?

Как только наступало лето, так энергия в этом доме шла по двум направлениям: первое — это сберечь огород от воров, второе — как можно больше получить плодов. Поэтому жили здесь точно в крепости: ворота каждый вечер запирались на замок, в кладовые не пускался никто, даже прислуга. И хотя старуха постоянно жаловалась всем кумушкам на свою окаянную жизнь, на то, что сын ее хоть и председатель сельсовета, а все равно все на ее горбу ездят, и даже иногда кричала, что пусть все их добро сгниет, все-таки не могла преодолеть в себе боязни перед хищениями. И целые дни, измученная и злая, бегала и смотрела, все ли на месте. На ночь спускали собак, и они, как волки, шныряли по двору и лаяли на всякий шум. Если лай продолжался, то на двор с ружьем выходил Клюев, а старуха зажигала восковую свечу, чтобы вор видел, что не спят.

Председатель сельсовета не мог считать себя своим среди крестьянства, ибо никогда не пахал и ничего не сеял, считая это занятие недостойным своего высокого положения и, что особенно важно, рискованным. Раскулачивали-то в первую ходку тех, кто имел земельные наделы да скотину. А сад держать кому во вред? Садоводы-то под указ не попадали. На добром десятке гектаров возле дома ровными рядами росли яблони, вишни, разные ягоды, дыни и даже арбузы. Все это приносило Клюеву добрый доход, много больший, чем имели от земли самые работные крестьяне. Как только завязывались яблоки, крыжовник и прочие сочные сладости, Клюев нанимал баб да мужиков для сбора урожая и поворотливую кухарку. Никогда так грязно и скудно не жили мужики, как в это суматошное время. Носили все грязное и отрепанное; жаль было надевать чистое на огород. Ходили немые, нечесанные, в такое время некогда было перед зеркалами засиживаться, хотя перед ними не рассиживались и в другое время.

Ели на ходу, кое-как, и поэтому все были голодные и злые. А кухарка Маришка, чтобы показать, что ей не до красоты и она плевать на нее хочет, нарочно никогда не мыла рук, запачканных огородной землей, и кромсала ими соленые огурцы так, что у нее через пальцы текли грязные потеки на скатерть. В комнатах по той же причине не мыли, не убрали в это время, кроме праздников. И когда к соседям приезжали гости из Шумихи, когда ходили по селу под зонтиками и в перчатках, Маришка ненавидела их жгучей ненавистью за красоту, за чистоту одежды, за то, что они не работают никакой грязной работы и руки у них всегда чистые.

Сама Маришка ела мало и скудно. Большею частью сидя за обедом на краю стола, где кончалась недостающая на весь стол скатерть, она ела сухую картошку и со злобой чистила тупым ножом пустые огурцы. Спала, где попало, не раздеваясь, нарочно на чем-нибудь твердом и неудобном — на сундуке, на стульях, чтобы хоть одна душа человеческая увидела ее и пожалела. В будни все ходила грязная, отрепанная, таская рваную замасленную кофту. И никто не вспоминал даже, что в сундуке у нее дома хранились старинные шелковые платья, которые надевались раз в десять лет на чью-нибудь свадьбу.

И так в будни, пока шла работа в саду, везде был беспорядок и грязь, на столе грязная скатерть, немытая посуда, объедки и обглоданные кости, а сами ходили в рваном старье. Ключев все тревожился и боялся, как чумы, всяких посетителей и гостей, особенно из волости, которые могут увидеть все это и осудить.

3

Снова день стоял не по-осеннему знойный. Солнце уже широко разливалось по горизонту, а навстречу ему тяжелой иноходью двигалась багровая туча. Выйдя из сельсовета, Степан сразу узрел эту ползущую по земле зловещую тень. Еще мгновение, и она накрыла бы его и жадно поглотила отрезвляющей прохладой. Он брел по селу, опустив голову, ничего не замечая вокруг и не ощущая. Куда идти, зачем идти? — эти обычные, казалось, вопросы совсем не задевали его мысли, воспаленно бередящие душу. Шлепая ичигами по пыльной дороге, он чувствовал физическое томление под ложечкой, где у него ныло и щемило от мысли, что вдруг мужики уже узнали о его назначении. И поэтому он шел по селу, стараясь не смотреть по сторонам, чтобы не встретиться с кем-нибудь глазами, с односельчанами, перед которыми он чувствовал теперь низшую и мелкую вину. И ему приходилось, как вору или как человеку, которого вот-вот схватят за рукав и при всем народе уличат в двоедушии и предательстве, шагать мимо домов, где он должен будет завтра обобрать до нитки, а хозяев пустить по миру.

Встрепенулся Степан, только упершись грудью в шаткую калитку, она вела к такой же, как будто покачивающейся, избе с наглухо запахнутыми окошками. Здесь жила Авдотья — двоюродная сестра Степана. Он никогда не испытывал к ней родственных чувств, поэтому виделись они редко и то ненароком. Авдотью знали в Птичьем вечно угрюмой и нелюдимой. Соседи ее побаивались и сторонились, стараясь от греха быть подальше, ибо явно обнаруживался скрытный характер тетки, способной, по слухам, одним взглядом навести порчу. Сама она только посмеивалась, колдуньей себя не считала и вообще пребывала в каком-то своем, огражденном частоколом презрения, мире. Авдотья была богомольная, и религиозностью была проникнута каждая минута ее жизни. Она иссушила себя постом, считала всех, кто не молится так, как она, безбожниками, потерянными людьми. Боялась всякой красоты, не любила ярких цветов, смеха и веселья, всегда ходила в черном и даже печалилась, когда наступали праздники и все надевали выходные светлые платья. И поэтому любила больше покойников, похороны и даже в самовар клала ладану, чтобы пахло покойником. С нетерпением всегда ждала постов и покаянных дней, когда она, ради спасения, могла себя и других морить голодом и плакать о грешниках. Даже ясные солнечные дни были ей неприятны. И когда весной шла в церковь через березняк, где на гнездах пели скворцы и с писком летали за самками, она отвергивалась и плевала. В церкви она становилась в самом углу на коленях и плакала с упоением, со страстью. Она ненавидела всех, у кого были беззаботные, веселые лица. Ненавидела за то, что они грешники и не видят своей погибели.

Оказавшись возле ее избы, Степан почувствовал вдруг неукротимую потребность открыться сестре, понимая, что нет для него в селе более никого другого, перед кем мог бы он опростать свою душу.

В тесной горнице млея самовар, на веревке, от гвоздя в стене — к оконцу, висели только что, видно, постиранные половики. Пахло укропом, ладаном и прелой полынью.

Посидели немного, отхлебывая из кружек горький чай. Молчать дальше было бы еще более мучительно, и Степан заговорил, трудно подбирая слова, стараясь втискивать в каждое из них особое, как ему казалось, значение, однако Авдотья скоро властным жестом остановила его:

— Не надо ничего, не надо, я знаю, что ты хочешь сказать. Вижу, совета от меня ждешь. Ну что же, тогда послушай и не терзайся попусту. Повезло тебе, Степка, сильно повезло. Нельзя упускать удачу, коли она сама нежданно привалила к тебе. Ты на людей-то не смотри, мало ли кто чего думает. Иной человек всю жизнь свою кроит,

перекраивает, а помрет несчастным, нищим и обездоленным. И никто о нем не вспомнит. В голодную пору, бывает, волчица пожирает своих детенышей, чтобы самой не пропасть. Сейчас волчица — это ты, Степа. Понимаешь? Усвой звериные правила: тебе не дают — отбери, силой овладей желаемым, тебе мешают — убей, смети с дороги, принуди встать на колени. Тебе, Степушка, выпала козырная карта, а на кону вся твоя жизнь. Ты умом-то своим раскинь; кулацкое добро само потечет к тебе в руки, лопатой будешь грести. Ты обретишь власть, понимаешь, власть! Это всех денег дороже. Не важно, какой ценой она тебе достанется, ты ее за уздцы, за уздцы хватай. Завтра, Степа, на селе тебя будут бояться даже собаки. Царствуй, восполняй упущенное. Напролом иди, никого не жалей. Поверь, всякий человек ценит только самого себя в себе. Сущность такая, природа.

— Эко ты! Непонятно как говоришь, а умно, раньше я за тобой этого не замечал, — удивленно произнес Степан и вдруг поднялся, налившись откуда-то взявшейся прытью, затряс головой, горячо зашагал по горнице. — Да пропади оно все пропадом! Кто я? Зачем живу, чего жду от такой жизни? Ни угла своего, ни семьи. Так и закончится? Нет, сестра, я еще кое-что могу. Я уже вижу: на облучке сидит Афанасий Никитич, моим кушаком повязанный, а я в карете на его месте с тростью и в яловых сапогах. Каково? Ты знаешь, сестра, завтра я сам Фарковых и Громовых под уздцы брать буду и в район сам свезу. Сам! После спать буду на их пуховой перине, служанку найму. Заживу баринном!

— Никак прозрел, — хмыкнула Авдотья. — Долго же ты в сумерках блуждал. Ты только помни, на носу себе заруби, достаток вечным не бывает, его приумножать надобно, а для этого власть нужна, пусть маленькая, но власть, она и поднять, и утопить может одним махом. Да тебе этого не понять. Даст Бог, со временем уразумеешь.

Заночевав у сестры, рано утром, еще до зари, Степан поднялся, выпил кринку молока, затем долго и старательно брил бороду, уткнувшись носом в мутное зеркальце над умывальником. Он не хотел опаздывать на явление свету своей еще не оформленной, еще не изведенной, расплывчатой, но влекущей жизни.

Процедура раскулачивания продолжалась не более пяти минут. Афанасия с женою и малыми детьми усадили на одну телегу, на другую — Николая и Анну. За ними трясся на подводе сонный, не просохший от ночной попойки, парень с винтовкой. Впереди, на хозяйском коне, Степан в чистой косоворотке Николая. Мертвенное молчание царило в воздухе, в немой тишине только слышен был скрип колес да позвякивание ключей от амбара в кармане Степана. Скоро обогнули рошу, выбрались в поле, на главную дорогу. Здесь села уже не было

видно, только столбики дыма вставали за лесом и как будто слышно было: выгоняют скот на луга, шелкает кнут пастуха и тихо, крадучись, карабкается к небу новорожденное солнце. Утро было пасмурным, мягким и теплым, какие бывают обычно после ночной грозы. В освеженном воздухе пахло теплой влагой и омывшимися цветами. Дорога, несмотря на прошедший дождь, была не грязная. Сухая земля впитала всю воду, и колеса катились мягко, без стука и пыли. Только когда въезжали в лес, лошади начинали шлепать по лужам и сильнее пахло лесной свежестью и зеленью после обильного дождя. Все поляны густо заросли травой, она после грозы была особенно свежа. А придорожные кусты, которые лошади задевали постромками, стряхивали с себя целый дождь капель.

Черная птица просвистела над головой Степана, конь брыкнул, ускорил шаг с косогора. Затрясло, зашумело в голове: Господи, неужели это не сон? Николай сидел, широко расставив ноги, и казалось, так горько и глубоко вздыхал или потряхивало его так на ухабах. Но все явственно обозначалось в его состоянии, что он начал понимать, еще не совсем четко, осознанно, но верно: им уже не вернуться назад, в свое село, в свой дом, в свою прошлую теперь уже жизнь. Да и Анна вдруг, не ясно с чего, с какой-то невольной и шемящей обиды, такой почувствовала себя одинокой, такой несчастной, понапрасну загубленной, обманутой и чужой, что горло тут же забил удушливый комок, и захотелось плакать — горько, опустошительно, навзрыд. Но она сдержалась; плакать было нельзя, даже эта откровенность ей воспрещалась. Природа молодости все же брала свое. Она вдруг почувствовала: тяжело, смутно и в то же время просторно, пусто было на душе — как в доме, из которого вынесли вещи. Теперь можно было распорядиться и так, и этак. И влекла, и заманивала, тянула эта пустота, обнажившая все углы, где каждая мысль отдавалась гулким вопросительным эхом.

4

Тягостной, мутной и вязкой выдалась ночь. Спиридон мотался по хате, бесцельно перекладывая скорб с места на место, что-то бросал в пышущую жаром каменку, падал на табуретку и долго сидел, обхватив голову руками. Каждый выдох его походил на стон, и сам Спиридон казался слабым и опустошенным. Еще вечером, ожидая незваных гостей из сельсовета, он зашил деньги, сколько было, в подкладку пиджака. Старенький, уже без цвета, кисет с пригоршней золотого песка, отданного ему, человеку свойскому, не раз проверенному, на хранение цыганским табором из Шумихи, Спиридон держал в руках, как горячую головешку: «Куда девать, куда? Отберут, ей-богу, отберут!

Не скажешь ведь, что такая плата за краденых лошадей, что сбывал их чужакам в Сосновке Спиридон Громов. Посадят! Это запросто. А на кой черт оно мне, золото, куда я с ним?»

С того дня, как сын отделился от него, не к себе домой молодую жену привел, что испокон веков было непреложным правилом, а съехал к ней, оттолкнув отца, как надоедливую собаку, Спиридон словно потерялся. Он стал чураться людей, хотя там, в таборе, где его ценили за чистую любовь к лошадям, никуда от людей не спрячешься. Но приходя домой, он так дома и пристывал, все реже и реже выбираясь к старикам на скамейку покурить. И даже когда заходили к нему, он все больше отмалчивался. У него появилась привычка в разговоре кивать головой, словно соглашаясь с тем, что говорят, а скорей всего, чтобы меньше говорить самому. Стыд, зло и обида на Николая связывали его. Задумавшись, он мог кивать и совсем один, глядя перед собой неподвижными, безжизненными глазами, и чем в эти минуты была занята его голова, в чем он наедине с собой утверждался, едва ли он знал, но в чем-то неясном еще, надвигающемся и неприятном утверждался, чего-то с уверенностью ждал.

Так, с кисетом в руках, в тягостных раздумьях и застал Спиридона Степан с со товарищами. Поживиться у Громова было нечем, а вот кисет с желтым песочком Степан прибрал, быстро сунув за пазуху. Позже, уже ближе к вечеру, он потрясет им перед холодными, ненавидящими чью-либо радость глазами Авдотьи.

— Не дай Бог тебе кому хвастать этим, — не то зашептала, не то зашипела сестра. — Времечко такое, встретят в темном углу, и пикнуть не успеешь. Ты лучше оставь-ка мешочек-то у меня на сохранение, целее будет. Заберешь, когда надо...

— Не, — почувствовав что-то неладное в словах сестры, отмахнулся Степан. — Мне пригодится, я песочком сам распоряжусь.

— Ну, как знаешь, — просто, будто равнодушно ответила Авдотья. — Как знаешь. Ладно, пошли, я тебя до церкви провожу, а дальше сам доберешься. Темно уже. Ты в землю-то лбом не упираться, иди да оглядывайся, а то не ровен час...

Они нырнули во мрак, даже звезды в небе не мерцали, висели мертво, словно сосульки на карнизе студеной зимой. Уже утихли в селе собаки, не скрипели калитки и птицы засели в кустах. Приотстала немного Авдотья, поправляя платок, рука ее нырнула под передник, сверкнул на мгновение тесак, будто вспыхнула зажженная спичка и погасла...

Наутро сельские парнишки обнаружат на задах разрушившейся церквушки труп Степана. Сначала все решат, что это чья-то месть. Однако ясность в случившееся внесет заявление двоюродной сестры

убитого Авдотьи. Она сообщит, что случайно была свидетелем ссоры брата с председателем сельсовета, который требовал от Степана золото, изъятое во время обыска в доме раскулаченного Спиридона Громова. Степан отдавать золото не хотел, тогда председатель взял и убил его. Еще поговаривали, что, дескать, сама Авдотья расправилась с братом, а всю вину теперь валит на председателя в отместку за то, что когда-то тот обрюхатил ее и бросил. Баба родила ребенка, который скоро помер от какой-то непонятной болезни. Горе и обида стали причиной лютой ненависти, вот и решила отомстить. Да кто разбираться-то будет, время лихое. Приезжал, правда, из Шумихи следователь, всю ночь пили с председателем самогонку в сельсовете, а утром, когда еще темно, отбыл восвояси с актом о несчастном случае, дескать, Степан сам упал спиной на острый предмет. Ну, упал, так упал, поговорили и вскоре забыли. Не велика потеря. Другой повод вызывал тревогу и сумятицу. Полным ходом на окраинах продолжалась лютая, без Божьей милости, травля кулачества. Оправдывали ее тем, что жизнь якобы дошла до тупика и что так жить дальше нельзя, когда одним все, а другим ничего. Все настроились бодро, оживленно, точно рамки однообразной тусклой жизни вдруг раздвинулись и судьба готовилась показать нечто необычайное. Каждая катастрофа, какая бы она ни была, несла в себе надежду на то, что она как-нибудь сбросит неопределенность, переменит среду и проветрит затхлую атмосферу. Говорили о том, что изжиты все идеалы, что нужен какой-нибудь пророк, который пришел бы и сказал новое слово. Упрекали молодое поколение в том, что оно не зажгло никаких идеалов. И хотя грядущие события идеалов тоже пока не зажгли, но было что-то новое, что захватило вдруг всех и всем дало найти какое-то содержание жизни. Так как вопрос о создании колхоза в селе Птичьем был уже решен, а людям доходчиво объяснили, что все нажитое у них переместят в коллективное хозяйство, то делить что-либо и спорить о чем-либо было бессмысленно. И все с удовольствием увидели возможность говорить друг с другом без вражды. Под влиянием этого чувства были даже размягченно-дружелюбны со своими вчерашними врагами и с готовностью и смирением вступили в эту новую полосу жизни, ожидая дальнейших событий.

В ночь на 16-е все время было беспокойно; лаяли собаки, а на рассвете к дому, где суждено было разместиться правлению колхоза, подъехал уполномоченный из Шумихи в новой гимнастерке и с кобурой на поясе. Тут же пронесся слух: коров, лошадей, свиней и птицу начнут забирать в пользу общего хозяйства сразу после собрания. Все онемели. Лишиться в самое горячее время тягловой силы — это означало гибель урожая.

— Чуюло мое сердце! Пропадем теперь, все пропадем! — кричала старуха, стоя во весь свой большой рост и пророчески поднимая палец. — Да что это? Куда? Зачем? — кричала она, спохватившись и взглядывая то на уже освобожденного от должности старосту, стоявшего без шапки, то на мужа, казавшегося, сверх обыкновения, растерянным.

— Колхозу надо, — сказал кто-то.

— Да пропади он пропадом! — снова закричала старуха. — Кто там все выдумывает?! — накинулась на бывшего старосту.

Тот виновато развел руками и сказал:

— Если б наша воля... А нас нешто спрашивают?

— Злодеи! — решила старуха, потом вдруг остановилась и, взглянув на мужа, крикнула, указывая ему в лицо пальцем, как перед страшной догадкой или уликой: — Ты согласиe давал?

— Давал, — сказал мужик, не глядя на нее.

— Ах! — вскрикнула, хлопнув себя руками по могучим бокам. — Так я и знала!

Сойтись на собрание все сразу не могли, потому что стоять во дворе и дожидаться других было скучно. Поэтому каждый, заглянув через забор во двор, где стоял стол с зеленым сукном, и увидев там только двух-трех человек, говорил себе или своему товарищу:

— Э, рано еще, походим немножко, а когда соберутся, тогда придем.

— Что, не собрались там еще? — кричал кто-нибудь с улицы, обращаясь к выходящим.

— Да нет еще почти никого, три человека с половиной.

— Ну что за народ, один раз, как следует, собраться не могут.

Так что собрание открылось только в одиннадцатом часу, когда многие уже стали ворчать, что собрали зачем-то народ с самого утра и держат до поздней ночи. Наконец все собрались. За столом расселись председатель сельсовета, уполномоченный и бывший староста села. Нет, кажется, еще кого-то посадили из мужиков для пущей важности. Уполномоченный, как будто нарочно брякая кобурой о кромку стола, обратился с краткой речью об исторической важности коллективизации, о непримиримой борьбе с кулачеством, которое является классовым врагом пролетариата и всего народа на планете.

— А в заключение предлагаю выбрать председателя вашего колхоза, — сказал уполномоченный, хмурясь и садясь на свой стул.

Тут все заговорили разом, и каждому приходилось кричать, чтобы его голос был услышан. Председателем единогласно выбрали местного ветеринара Егора Поливанова, за что ему осталось растроганно раскланяться на все стороны. Но лицо его даже при этом не потеряло

своей обычной сморщенной выразительности и вечного похмелья. Потом выбрали заместителя — Александра Павловича Самарина, известного любителя охоты и милейшего человека, имеющего обыкновение ломать шапку даже перед встречным столбом.

То, что в колхозе будет все общее, все поняли, а что будет жрать каждый у себя дома — не поняли. Люди, казалось, малограмотные или вовсе безграмотные, когда дошло до дела, вдруг стали такими крючками, что цеплялись за каждую формальность. Кто-то вспомнил однажды услышанное по радио слово и потребовал даже «выработки регламента». Регламент после всяких споров выработали. Но что было значительно труднее — это заставить соблюдать регламент. Только что избранный председателем колхоза Поливанов, уже успевший глотнуть где-то в кустах самогонки, занял без приглашения место за столом президиума. Точно застоявшийся конь, почувывший свободу, он то и дело вскакивал с места и кричал, чтобы не нарушали регламента, а сам нарушал его больше всех, потому что постоянно залезал в чужую область, перебивал уполномоченного и с места возражал оратору, когда никто его не просил об этом. А потом и вовсе закричал, что ну его к черту, этот регламент.

— Мы шире регламента, и нас вы не скрутите никакими регламентами, — крикнул он.

— Ну никакого порядка, — говорили недовольные голоса.

— Призовите их к порядку, чего они орут? — надрываясь, кричал тонким голосом жиденский лавочник в куцем пиджаке.

— Да вы сами-то чего кричите? — сказал раздраженно, глядя на него сверху, сосед.

— Кричу, потому что председатель колхоза пешка, не может восстановить порядка.

И вправду, до собрания все были люди как люди, но как только добирались до суконного стола, за которым можно было публично выражать свое мнение, так и шло все вверх тормашками. Наконец все затихли, когда пришло время поставить свою подпись в бумаге о согласии вступить в колхоз и неукоснительно выполнять его устав. Первыми устремились к столу те, кому нечего было терять, кто уже успел сообразить, как можно легко самому затеряться в коллективе. Под строгим взглядом уполномоченного, невзначай положившего руку на кобурку, нехотя потянулись и другие.

Егор Поливанов, развалившись, держался на телеге, положив одну ногу на мешок с сухарями, специально доставленными из Шумихи в качестве подарка для того, кого изберут председателем нового кол-

хоза. От гордости он чувствовал себя на седьмом небе. Не каждому может привалить такое, чтоб сразу из грязи да в князи. Первый председатель колхоза, который, правда, еще предстояло организовать на совершенно голом месте, это обстоятельство и пугало, и в то же время вызывало ощущение значимости, может быть, даже исторической важности события, уже видел себя в ореоле почета и всеобщего уважения. Лучше бы Егор реально пребывал на седьмом небе, потому как вдруг прямо под окном его дома раздалось громкое и требовательное мычание. «Что это? — нетрезво соображая, подумал Поливанов. — Неужели у меня по дому разгуливают коровы? Чертовщина какая-то! Кто их туда загнал?»

Мгновение спустя его начнет трясти не то от смеха, не то от стыда. Ну, конечно, это был всем известный Мандат — истинный страх и божья кара для деревенских баб, смысленый и хитрый бычок, который без конца бродит по деревне, отыскивая возможность ухватить где-нибудь что-то лакомое. Иногда, удовольствия ради, он начинает бодать любой покосившийся кол в ограде, пока не повалит его, не иначе, чешет пробивающиеся рога. Для угощения годится все, что он посчитает съедобным. Мандат особенно обожает горбушки, за них он иногда позволяет даже почесать себя между рогами, а иначе лучше не трогай. Некоторые деревенские бабы, выходя из дома, постоянно носят в кармане передника про запас для Мандата высушенные корки хлеба. Ни одна веревка его не держит, он отменно наловчился перетирать ее о привязь, а затем рывком обрывать, потому у него всегда, когда он бродит по деревне, словно мочало болтается на шее. Поначалу у дядьки Федора, хозяина бычка, все спрашивали, с чего он нарек животное таким необычным прозвищем. Мужик хитро щурил свой единственный глаз (другой на первой Отечественной потерял) и с готовностью пояснял: «Да, понимаешь, у него отроду паршивый характер, раз уж чего захотел, то ну орать и бодаться, пока не добьется своего. Еще теленком у старухи несколько раз подойник из рук выбивал, когда ему не сразу успевали молочка налить. Ну, я и подумал: вот ведь какой неумный, что твой уполномоченный с мандатом. Сам знаешь, по нынешним временам все кругом запружено всяким разным начальством, у любого в кармане мандат — у одного с такой, у другого с иной печатью, и все шибко командуют: давай то, делай это. А чем же мой бычок хуже? Пусть себе Мандатом будет, хоть на кого-то страху напустит».

Когда Егор остановил лошадь, Мандат эту остановку принял за свою редкую удачу. Сухари в мешке источали такой сладкий аромат, что у него даже закружилась голова. Едва возница опустился на землю, бык, угрожающе наклонив голову, пошел на него. Поливанов

проворно вскочил обратно на телегу и слез с другой стороны. Игра Мандату понравилась. Он развернулся и с готовностью затрусил в обход телеги. Под угрозой наставленных на него рогов Егор не осмеливался шевельнуться и все же еще раз перемахнул через телегу и окончательно убедился, что так быка не проведешь. Мандат стоял возле телеги, по-боевому пригнув голову, и зорким взглядом следил за Егором. Так они оставались некоторое время, уставившись друг на друга. Терпение председателя казалось нескончаемым. И тут он сдался, развязал мешок, выудил большой коричневый сухарь и в сердцах зашвырнул его в подорожник. Мандат удовлетворенно мотнул головой, протрусил к сухарю и губами подобрал его. После чего медлительно пошел прочь, не удостоив Поливанова даже взглядом. Тот выругался ему вслед и погрозил кнутом, однако сделать это он осмелился, когда бык от него уже отвернулся. Сам не зная зачем, Егор стянул с ноги сапог и запустил им вслед наглецу.

Через несколько минут внимание всех, кто еще не успел разойтись после собрания, привлекли приближающийся топот и крики. За изгородью сначала мелькнуло что-то пегое, затем клочок белого и еще что-то черное.

— Стой, проклятуший, отдай сейчас же сапог!

Голос показался знакомым. Когда он еще чуточку приблизился, все узнали надтреснутый тенорок Егора Поливанова. И тут открылась во всем своем разноцветье необычная картина. Пегая продолговатая полоска оказалась не чем иным, как холкой Мандата, белесый кругляш — макушкой председателя, а маленькое черное пятно — сапогом. Однако возвышался он там, где сапоги обычно не держат — повис на бычьем роге. Егор во всю прыть несся босым на одну ногу и орал на него, бык временами приостанавливался, косился глазом на своего преследователя, но как только он приближался, поворачивался и трусил дальше. Отбежав на некоторое расстояние, снова останавливался, игра начиналась снова.

Каким образом сапог оказался на бычьем роге, для всех оставалось загадкой. Очевидным казалось лишь то, что Мандат свою добычу так просто не отдаст. Увидев людей, бык остановился и уставился на них выпученными глазами.

Зампредседателя Самарин первым догадался, что надо делать. Быка нужно было чем-то угостить, на обмен Мандат всегда согласен. Идти в дом за хлебом? За это время он, убегая, окажется на конце деревни. Александр сунул руку в карман и вынул оттуда кисет с табаком. Не отводя глаз от Мандата, насыпал горстку золотисто-коричневой пахучей травки и протянул руку.

— Быче, быче, ну, иди, не бойся, дурачок!

Мандат склонил голову, сплюснутый в гармошку сапог повис, будто кисточка на колпаке у шута. На мгновение недоверчиво замешкался, однако затем природа попрошайки взяла верх. Вытянув шею и раздувая ноздри, Мандат стал постепенно приближаться. В носу щекотало от незнакомого сладкого и пряного запаха. Что-то зашевелилось в буйной головушке Мандата, медвяный дух явно притягивал его. Для вящей предосторожности бык остановился на почтительном отдалении от Самарина и еще больше вытянул шею, пока не слизнул с ладони табак. В тот же миг зампред стрельнул глазами в сторону какого-то паренька, который находился ближе всех к быку, тот все понял и разом сорвал сапог с рога. Мандат вздрогнул, но увидев, что никто ему не угрожает, принялся жевать свою добычу, удовлетворенно зашагав прочь.

6

Повезло мне с соседями. Девять детей! Без лукавства говорю, без ухмылки. По нынешним понятиям явление немислимое, ненормальное даже. Если одного поднять на ноги не умеем, а чаще всего не хотим, то о чем тут может, казалось бы, идти речь? Анна Афанасьевна — хозяйка этакой оравы — человек необычайной доброты, щедрости и простодушия. Кончилась соль, магазин уже на замке, как быть? Сходи к тете Ане — она последнее отдаст. Голоден, заходи — накормит. Домишко у Громовых тесноватый, сегодня в таких одному места мало, а там девять — и хватает, всем хватает. Две совсем маленьких спальни, третья комната чуть-чуть просторнее. В ней четверть площади занимает фикус, он вцепился корневищем в деревянную бочку, уперся в потолок под самую балку верхушкой, согнулся и вроде как с любопытством взирал оттуда, сверху, на все происходящее. Чудно. Девять детей — это ведь не обязательно девять едоков по лавкам, вместе-то они сроду не собирались. Трое в институте учатся, двое в армии, другие семьями обзавелись, в разных городах живут. Николай Спиридонович с утра дотемна на конном дворе. Он там старшим конюхом трудится, поэтому всегда уходит рано, приходит, когда все уже спят, а бывает, что и ночует в конюшне, особенно когда придет пора кобыле жеребеночка принести. Это же дело святое, не одной понюшки табака стоит. Без Николая Спиридоновича не обойтись. Бывал я на конном дворе. В первый же день увидел: одиноко бродит по загону ладный, с одинаковыми подпалинами на боках вороной, сильный, ухоженный, с легкими, крепкими ногами, с лоснящейся от черноты спиной, с подстриженной гривой и челкой. Завидев меня, он степенно подошел к изгороди напротив и, просунув между жердями голову, уставился на меня долгим изучающим взглядом. Не знаю почему, но

я не выдержал его взгляда. Так же было, когда директор нашей школы Яковлев Михаил Андреевич по кличке Яма, отбывший когда-то срок в немецком концлагере, вызывал к себе в кабинет, стучал указкой по столу, замахивался ею и требовал признания, глядя в упор, в глаза: «Курил в туалете? Будешь говорить?» В таких случаях надо признаваться, даже если не курил, иначе существовал риск больно получить указкой по затылку. Примерно то же самое происходило при моей встрече с жеребцом. Он, очевидно, на дух не выносил, когда кто-то посягает на его пространство. Я это понял и поспешил убраться в безопасное место.

Грянула сенокосная пора. Ох уж это предосеннее, жгучее в круговерти времечко. Оно всегда приходит не по распорядку, а как-то неожиданно, врасплох. Узнать о нем можно было, когда поспевало в огородах, в лесах, когда заголубела, по-бабьи вызрев и отгуляв, речка Невлевка, в которой после Ильина дня, как после свадьбы, никто не купался, потому что «олень в воду пописал», нельзя. Отцветало небо и солнечными днями смотрелось тяжелым и мякотным. Погода больше не чудила, стояла в меру солнечная и ветреная, но уже чувствовалось, чувствовалось время; ночами было студено, ярко, блескуче горели звезды и часто срывались, догорая на лету. По утрам, после особенно звонких ночей, наплывали серые мутные туманы, держась возле берегов, а дни, ставшие заметно короче, но не потерявшие силы и мощи, казались до предела полными и тугими, вобравшими в себя больше, чем они могут сvezти. Все, не мешкая, хватайся за литовку и ступай за речку Невлевку. Коси, гребь, стогуй без продыху. У Громовых в стайке корова и бычок, им на зиму надобно минимум десять возов сена. А кто их заготовит, если дома только тетя Аня? Разве мог я отказать в помощи человеку, которого уважаю? Согласился несколько дней покосить, такого отдыха ни в каких курортах не получишь. Это я потом понял, что сено косить — не на пляже валяться.

Иду, держась за кромку телеги. На ней наши узелки, литовки и грабли, еще бидон молока, которое по прибытию на стан превратится в простоквашу. С нами на покос тянутся еще несколько подвод. Там, за речкой, работникам городского хозяйства отведены угодья. Трава, говорят, добротная — пырей вперемежку с цветами и сочный, звенящий хвощ. Коровы такую вкуснятину уплетают за обе щеки.

И вправду места были хороши; река спокойной широкой гладью светила впереди, чуть розовея от заката. По обеим сторонам ее, наклонившись ветвями в воду, рос кудрявый ивняк, от которого берега казались пышными и нарядными, а глубокие, тихие места под кустами — жуткими и таинственными. По обоим берегам тянулись беско-

нечные луга, где сейчас в мокрой от росы траве звонко кричали перепела и сочно кричали коростели.

— Разве что-нибудь подобное в гнилой Европе найдешь? — сказал мужик, шагавший рядом. — Да и то сказать: если ты мне за границей предложишь рай земной, то есть лежать и ничего не делать, да чтоб какие-нибудь там апельсины сами в рот падали, и то наплюю на все это. Потому что тут настоящее все, природное.

Подъехали к стану часов в семь. Летом день долгий, еще и на вечер не похоже, но мы торопливо, суетясь, принялись обустриваться на ночь. Кто-то ладил балаган, другие — шалаш или брезентовую палатку. Мы с тетей Аней соорудили нечто вроде шалаша из березовых веток и тонких осинок. В нем жгуче пахло завялым, подсохшим листом и прутьями. Знакомых у меня на покосе не было, и к ночи я вдруг почувствовал беспросветную тоску. Через реку, через бескрайний луг и лесочек, из города как-то волнисто, то громче, то тише и расплывчатее, доносилась музыка с танцплощадки. Там весело, там сейчас хорошо. От нечего делать я совался от одного балагана к другому. В одном парни играли в карты, в другом кто-то спал, укрыв голову дерюгой, в третьем парень и девушка при виде меня отскочили друг от дружки и захохотали. Чем темнее становилось, тем больше мне хотелось домой. Я ходил взад-вперед по берегу, уныло смотрел на волнистую рябь. Комары откуда-то вдруг насыпали, едва село солнце. Дома я никогда не обращал на них внимания, ну, прищлепнешь одного за вечер, а тут просто звон звоном стоит. Машешь, машешь березовой веткой, стегаешь себя по лицу, по ногам и по рукам, а толку почти никакого — едва остановишься, и уже над головой звенит и поет, и везде колючие, зудящие, щекотливые прикосновения и уколы на шее, на руках, на висках и на лбу — комары не ждут. Я подумал, что если так будет до утра, я сойду с ума, они съедят меня живьем, по капельке выпьют всю кровь. В отчаянии я быстро зашагал к шалашу, возле которого горел костер.

— Что, Саша, комары заели? — посочувствовала тетя Аня. — Ну, это бывает с непривычки. Садись. Давай ближе, здесь от комаров спасение. Дымом-то их отгоняет. Поешь, может?

Я пододвинул к костру березовый чурбак, нырнул в шалаш, принес свой узелок с сухарями и бутылкой кефира. Тетя Аня посмеялась надо мной, дала мне ломоть черного хлеба, кусок сала и еще печеной картошки из костра. Я ел и думал, что нет на свете ничего более вкусного, а чуть позже еще подумал, что нет, пожалуй, и более подходящего момента, чтобы поговорить с Анной Афанасьевной о моей беде, ведь меня из редакции отпустили на целую неделю, чтобы принес в газету очерк о спецпереселенцах. Материал следовало добыть любой ценой.

Полез в карман за блокнотом, заодно выудил огрызок карандаша (с детства ненавижу авторучки, диктофоны и прочую гадость), приготовился, просительным образом уставившись на тетю Аню.

— Ладно, — простодушно согласилась она. — Слушай, коли так сильно надо. Когда надоест, скажи.

Значит, так. Не только нас, еще многих из села увезли тогда в Шумиху. Отец мой всю дорогу молчал, до самого райцентра голову не поднял. Коля тоже, будто в себе утонул, так всю дорогу и проехал уопленником. А Степан-то каким повесой оказался, ведь он нам за родного был. Когда арестовывали, он совсем пьяный явился, никогда я его таким не видела. Обнимать меня потянулся, ага, за ноги хватает, к себе тянет. Сколь лет у нас жил, я близко его вот так не видела. А тут нагнулся ко мне, перегаром дышит, голова белая, нос, глаза, брови и рот на ней словно мелом на черной каменке намалеваны. Решил, наверное, что все теперь в его власти. Я размахнуться даже не успела, Коля ему ведром по затылку. Ага, до сих пор этот звон слышу — бум! Растолкали нас в Шумихе в каком-то бараке, еды никакой, ни одежды, ничего нет. Два с лишним месяца держали, потом кинули на сани и опять в дорогу. Куда, никто не знает. Горькая дума не давала покоя: за что, за какую провинность? Наш конвоир, захмелев от выпитого в дороге, проболтался, что следуем мы в город Тобольск, а там, дескать, начальство решит, кого куда. Ехали, когда уж поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещенской заверти отпустил, утро было прохладное, но ясное и податливое к теплу, чувствовалось, что днем отмякнет еще больше. Конь сразу от Шумихи взял ходку и не терял рыси, сани наши по накатанной дороге скользили, как по льду. От полей, никогда не забуду, тогда еще покрытых снегами, поднималась парная пыль, в воздухе перед окоем мерещились стоячие белесые полосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, оттопыривая их на сторону. Все вокруг дышало свободно и жадно. Тюрьмы Тобольска были переполнены людьми, для спецпереселенцев приспособлялись здание Кремля, храмы, интернаты, школы, больницы, даже Покровский собор. Мы с Колей совсем молодые были, не понимали толком, что происходит. Да и у кого спросишь? Думали, ошибка, разберутся и отправят домой. Да, отправили, только не домой, а в ссылку на веки вечные. За что? Этот вопрос задавали себе, наверное, ни один раз все, кто замерзал тогда в повозках. Страшно, когда осознаешь свое бессилие. Страшно! Мне ведь рожать настало время. Сам понимаешь, природе никто не указ. Еще по дороге в Тобольск говорю конвоиру, мол, остановиться где-то надо, не вмоготу мне. Свернули с тракта, проехали немного. Изба, заброшенная у дороги. Скамейку сломали на дрова, печку растопили.

Конвоиры опрокинули по кружке самогона, горячее заговорили, задвигались, начали подбираться к бабам. Те упираются, брыкаются, да где там. Тут папенька мой не выдержал, схватил одного за грудки, другого за шиворот дернул. Бедою это закончилось. Скрутили его конвоиры, руки связали и на улицу поволокли. И меня тоже. Завели нас за избушку, затворами шелкают, к стене подталкивают. Стоим у стены, я с папой рядышком. Ничего не понять. «Эту не трогать, — скомандовал кто-то. — Мы ее потом в расход пустим». Отталкивают меня от стены прикладами, а ноги меня не слушаются, обмякли. Перед глазами круги. Помню только раскатистый выстрел, дрогнули ветки на деревьях, птицы встрепнулись, загалдели. Обернулась: Боже мой, отец только рукой взмахнул, упал не на колени, а навзничь... Туман в глазах и в сознании. Очнулась в санях, впереди уныло тянулась белая холодная дорога. Отовсюду дует, сверху, снизу. Подо мной солома мокрая, на мне задубевший тюфяк. Кто-то из женщин шаль свою с головы стянул, укрыл меня. Коля дышит мне в лицо, меня согревает, тетки снег в ладонях тают, роды ведь... Господи, упаси нас!!! Вот так и родилась наша дочка. Потом врачиха спрашивала: «Как это вы выжили в таком аду и ребеночка сохранили? Как записать в метрике место рождения?» А чего я скажу?

Тетя Аня потрогала меня за плечо, видно, подумав, что я, уткнувшись в свой блокнот, задремал. Да где там, разве задремлешь, услышав такое? После того, как молча, так положено на поминках, попили чаю, тетя Аня еще поведала мне, как привезли их в Остяко-Вогульск, свалили, будто бревна, на окраине в сугроб. «Устал я от вас, — буркнул конвоир. — Вы мне надоели. Даст Бог выжить, будете жить, не получится — опять же Божья воля — здесь вас и закопают».

— Ладно, — прервала свои воспоминания тетя Аня, — Устал ты меня слушать. Пойдем спать, день завтра будет плотный по всей программе.

Я бы еще посидел у гаснущего костра, ибо мне уже не хотелось спать. Я ведь не просто слушал то, что рассказывала мне тетушка, я это через себя пропускал, чтобы через сердце, через все нутро свое провести ее боль. Врагу не пожелаю такого состояния — скребло, душило, выплескивалось все наружу.

Вдруг зашумел кто-то рядом, зашевелился в траве. Котенок. Маленький, глазенки, как свечки, плачет не жалобно, а как бы винясь в чем-то. Жалко, такая кроха. Взял я его, засунул под мышку. Господи, откуда он тут взялся? Может, прихватил кто из косарей с собой да не уследил. Маленький теплый комочек сопел у меня под мышкой, как ребеночек. Спать мы с ним улеглись вместе прямо у костра, котенок и я.

Утром как-то молодо, сильно светило солнце. На поляне, у нашего шалаша, опять горел костер. Тетя Аня уже снимала с огня котелок. Похлебали чего-то — и на луга. Сперва было весело взмахивать косой, с удовольствием ощущая, как она подсекает, кладет шумливую росную траву: раз-ссс, раз-ссс. Позванивает коса, упруго дрожит рукоятка, полукружием ложится трава. Солнышко нежарко пригревает, и такой сладкий острый запах течет от скошенной травы и цветов, что хочется остановиться и нарочно подышать им. Но останавливаться не приходится — тетя Аня косит и косит, мне видно только ее спину. И я стараюсь попевать. Раз-ссс. Раз-ссс. И уже побаливают руки в предплечьях, поднимать их все тяжелее. По лбу течет пот. И некогда его смахнуть. Я, конечно, двигаюсь. И даже быстро. Но угнаться за тетей Аней никак нельзя. Вдруг я увидел или, скорее, услышал, как в траве, впереди, бегут желтые утята, ловко перебираются между стеблей. Ну и везет же мне на живность! Я бросил косу, начал их ловить, утята были очень маленькие, и я без труда поймал одного из них. Взял его в ладони. Тетя Аня, наверное, тоже утомившись, воткнула черенок литовки в землю, подошла ко мне:

— Не трогай их. Чувствуешь, они теплые, даже горячие, с холодными лапками. Я их тоже в руках держала. Ты отпусти их. Не надо. Мы ведь им не враги.

Вот так. На пятый день сено высохло, начали грести, сначала в валки, потом в копны. Погода стояла по-прежнему сухая, жаркая, и грести мне показалось труднее, чем косить. С утра до вечера дергаешь, дергаешь граблями, ворошишь шуршащую кошенину, а ее будто не убывает — луга огромные, еще в старину здесь были покосы вдоль по речке. Солнце к полудню палит отчаянно, облаков нигде нет. И обливаешься потом, чувствуешь — все в тебе ссыхается, голова гудит, звенит в ушах или начинает мерно стучать, как будто там работает маятник. Но работать надо — не сгребешь сено в такую пору, упустишь ведро, в Ильин день или вскоре после него непременно накатит ненастье. Беды не оберешься.

Слава Богу, обошлось. Стояло ведро. На седьмой день сено метали в стога. Я сразу понял, эта работа на покосе самая тяжелая, самая почетная и самая важная, подавать и укладывать сено надо скоро, поднимать на вилах помногу. Ради такого дела на стан прибыли, словно с неба упали, Николай Спиридонович с сыновьями. Слетелись орлы без команды, по душевному зову и семейной обязанности. Отец на стогу, верховой, пучки сена в три обхвата летят на него слева и справа, а то бывает, что и сверху или все враз. Кипит работа. «Кулацкая закваска», — язвит кто-то. «Да, не твоему мужику ровня, — одернули бабы. — Пойди сама попробуй. Пупок надорвешь».

Девушки на стане, завидев молодых, крепких, рослых ребят, засуетились, подрумянили щеки, заголосили. Как можно упустить таких парней? Я заметил, Громовы тоже на молодухек иногда глаз косили. Но и Николай Спиридонович не слепой, он даже спать ложиться с вожжами в руке.

Последний зарод завершили, когда уже зашумел лес и передний край тучи повис над головами. Еще не капало, но сильно пахло дождем, грозой. Туча быстро тянулась, застилала небо, и все стояли, смотрели на нее и ждали.

Ливень был несильный, с передышками, но в убежище наше текло во все щели, как в решето. Я укрылся рогожей, пытался уснуть, а Громовы преспокойно сидели у котелка, мочили в воде сухари и ели.

Под утро они вплавь преодолеют речку, а там, по мокрой траве, по болоту и кочкам — в город. Кому на сессию в Тюмень, кому на службу, кому к жене, к ребятишкам. Ближе к вечеру я тоже пересеку речку, потом долго буду плестись по болоту, пока не покажутся первые дома.

Где-то, может быть, через два или три дня у Громовых случится большая неприятность. Тетя Аня прибежит ко мне вся взъерошенная, взволнованная и как будто напуганная чем-то.

— Беда у нас! Пришел милиционер Вовку в тюрьму забирать.

— Как это в тюрьму? За что в тюрьму? — удивился я.

— Допрос с Вовки снимает, протокол пишет. Все, говорит, пару лет в зоне тебе, парень, обеспечены по статье за злостное хулиганство. Это в лучшем случае, а то, может, и по полной срок отмотаешь за покушение на убийство. Эх ты, — говорит, — партизан недоделанный, ты же в настоящего изменника Родины стрелял! И не попал!

— Да объясните вы мне толком. Кто стрелял? Зачем стрелял? Откуда тут взялся изменник Родины?

Короче, дело было так. Приусадебный участок Громовых соседствует с огородом инвалида Луки Рявкина. На меже, подле забора, росла рябина, здоровая, метров пять высоты. Никто не знает, когда она тут появилась. Когда строиться начали, она еще молодая была. Забор как раз через нее проходил. Рубить рябину не стали не только потому, что жалко было валить такую красавицу, она в заборе служила как бы столбом. Вот и получилось: одна часть куста на половине Громовых, другая — на участке Луки Рявкина. Как только куст начал цвести и появились крупные сочные гроздья, встал вопрос о праве собственности на него. «Вас, кулаков, не перевоспитать, — сказал милиционер. — Все, что можно, под себя гребете. Частнособственническая привычка. На кой черт она вам сдалась, эта рябина?»

Ягоды на рябине сладкие, рыжие, как солнце, весь куст усыпан сверху донизу. Посмотришь: кажется, горит ярким огнем, а ночью светится будто. Сорвешь гроздь — полная пригоршня ягод, словно раскаленных камушков. В голодное время ребятишки лучшего лакомства не знали. Под осень нарвут ягод, рассыпят на чердаке, первый морозец ягоды слегка прихватит, размягчит, подвялит, они обретают совсем иной, сладкий с легкой горчинкой вкус. Для голодного желудка, не знавшего витаминов, необыкновенная вкуснятина. Рявкину все это сильно не нравилось. Сам он рябину по причине полного отсутствия зубов и ног не потреблял, но ему было очень плохо, когда другим было хорошо, пусть даже от какого-то там щедрого, доброго и в то же время злополучного куста, половина которого вроде как законно принадлежала Луке. В наглom пользовании своей долей чужими людьми Лука усматривал грубое нарушение прав. Ползая по огороду на руках, таская за собой мешок навоза, который раскладывал по грядкам, он громко кричал на ребятишек, обирающих рябину, матерился, посылал на них всех чертей и вообще грозился подать на Громовых в суд. Даже ночью, бывало, он выносил себя на огород, усаживал под рябиной и сторожил. А потом и вовсе, чтоб никому плодоносящий куст не достался, притащил ножовку и взялся его пилить под самый корень. Вот Вовка, сын Громовых, и метнулся в кладовку, схватил старую, уже не годную почти берданку, зарядил ее самодельным патроном и бабахнул однажды вечером поверх рябины. Рявкин подумал, что стреляли в него, взял и позвонил в милицию. Факт, он и в Ханты-Мансийске факт. Пришел сержант, берданку изъясил, составил длинный протокол, добросовестно изложив все детали инцидента.

— Саша, помоги! — слезно просила меня тетя Аня. — Ты все же в газете работаешь, у тебя авторитет, тебя все знают. Поговори там с кем надо, чтоб Вовку в тюрьму не посадили.

Ну какой же из меня помощник в таком деле, обычный рядовой газетчик. За любую ошибку в статье меня самого могут без всякого суда и следствия упрятать в тюрьму. Ну, в тюрьму-то, может, и не посадят, а с работы попрут, это как пить дать. Мы, журналисты, вообще чем-то похожи на воздушных акробатов. Полез без страховки на трапецию под купол цирка, рука сорвалась, бултых на арену — и поминай, как звали.

Опять, конечно, отказать тете Ане я не мог. Начал копать под вредного Рявкина. И неожиданно прояснилась вскоре прелюбопытная картина. Лука Ефстифеевич по причине природной трусости своей шибко не хотел идти на войну с немцами. Перед самым призывом выменял у кого-то на мешок картошки бензопилу, укрылся в стай-

ке, задумав отпилить себе ногу. Без ноги-то на фронт точно не пошлют. Пусть инвалид, зато живой, решил он. Не знаю, что уж там, в стайке, не получилось, но бензопила то ли соскользнула, то ли дрогнула, только отхватил себе Лука сразу обе ноги. Заорал, как белуга. Соседи прибежали, смотрят, пила валяется в крови, Лука отдельно и ноги отдельно, кому-то показалось, что пальцы даже какое-то время шевелились. Все всем стало понятно. В военное время за такое дело положена высшая мера или вечная тюрьма. Но кто будет стрелять в обрубок, хоть и лютое время, а сердце-то у людей никуда не денешь. Да и в тюрьму даже инвалидов не берут. На кой черт он там нужен, безногий? В тюрьму берут сильных и здоровых, для того берут, чтоб на свободу потом выпустить больных и немощных. Может, без рук или без ног и даже, бывает, без ума. Нести наказание — дело нештучное. После переворота в 17-ом оно стало своего рода жанром большого искусства и государственной политики.

Махнули на Рявкина: пусть живет, сам скоро сгинет. А он и не думал уползть в мир иной. Гнал самогонку, продавал, накопил денег, бабу молодую в дом взял. Сделал ему кто-то инвалидную коляску. Приноровился Лука на ней разъезжать по городу сноровистой иногo пешехода. Помер уже стариком, свалился в стайке лицом в навозную жижу и захлебнулся. Жenuшка его молодая как раз корову доила. Все видела. Другая баба бросилась бы выручать мужа. А ей что, сама себе на уме; ногой голову-то еще глубже в жижу. Закопали обрубок за казенный счет где-то за оградой кладбища. И креста не поставили. Забыли, наверно, впопыхах...

Вовку поругали, конечно. Отец, кажется, пару раз стегнул его кнутom по загривку. Вовка потом смеялся, говорил: «У меня как раз там чесалось».

Глава вторая

1

В 1930–40-е годы Остяко-Вогульский (с 1940 года — Ханты-Мансийский) национальный округ стал местом ссылки тысяч крестьян — жертв политического произвола советского тоталитарного режима. Волна раскулачивания, лишения гражданских, политических прав прошла по всей стране, как тиф или чума. «Лишенцами» становились не только люди, ранее выступавшие против советской власти, но и бывшие служители культа, мелкие торговцы, зажиточные крестьяне, их дети. Необоснованные обвинения и последовавшие за ними суровые меры (высылка с прежнего места жительства, полная конфи-

скация имущества), естественно, вызывали недовольство. Местами возникали бунты. В начале 1930-х годов в округ прибыли спецпереселенцы, объявленные в ходе сплошной коллективизации «кулаками», «элементами социально вредными и опасными для социалистических преобразований в деревне».

Все было так. В 30-е годы в деревне появились сельсоветчики и милиционеры, выбрасывали на улицу людей, хватили вещи и тут же продавали, изображая аукцион, круша постройки, угоняя скот. Ночами пылали костры. Кулаков арестовывали, членов их семей увозили, девушек насильовали. Некоторые, чтобы не попасть под арест, бросали свои семьи и бежали куда глаза глядят. Батраки и бедняки были материально заинтересованы в раскулачивании, поскольку часть конфискованного имущества распределялась между ними, в том числе и дома. Естественный социальный антагонизм между бедняцкой частью крестьянства и его эксплуататорскими элементами искусственно разжигался сталинским административно-командным, партийным и советским аппаратом. Хотя политика насилия и репрессий исходила от центра, от Сталина и его окружения, ее непосредственное проведение возлагалось на местные партийные и советские органы, поэтому гнев крестьянства в первую очередь был направлен против местных работников. Это признавалось в закрытом письме ЦК от 2 апреля 1930 г. Продолжение такой политики в неизменном виде могло привести к тому, что местные партработники были бы просто перебиты крестьянами. Сталинская «ошибка» поставила страну на грань гражданской войны, которая фактически уже развернулась, ведь в ходе коллективизации было раскулачено не менее одного миллиона крестьянских хозяйств с населением в пять-шесть миллионов человек, между тем только незначительная часть их принадлежала к действительно эксплуататорскому слою деревни.

Проведение в начале 30-х годов жестокой, репрессивной акции, скажут потом историки, не могло быть оправдано. Оно не вызывалось ни политической, ни социально-экономической обстановкой того времени, более того, привело к резкому обострению положения не только в деревне, но и в стране вообще, вызвало решительное сопротивление крестьянства, вылившееся в массовое антисоветское движение.

Внушительная стопка документов лежит передо мной. В каждом приговор, свидетельство чудовищного разбоя. «Зимой, в один из вечеров, без всякого предупреждения к нашей избушке подъехала подвода. Нам приказали собираться в дальнюю дорогу. В семье в это время не было ни одного взрослого мужчины, отца посадили в тюрьму за то, что он не сдал излишки хлеба, которых не было, двух старших

братьев отправили на лесозаготовки. Взять нам с собой ничего не разрешили и повезли только в том, что мы на себя надели. С нас же все требовали золото, серебро, ценные вещи. А откуда они у нас?» Это и многие другие похожие по содержанию письма потерпевших я показал Анне и Николаю Громовым. Они не удивились, согласно кивали и говорили в один голос: «Да, все так и было».

Долгим, тяжелым, а для многих трагичным был путь на Север, путь в неизвестность. Раскулаченных тьма; обозы в несколько десятков лошадей под конвоем тянулись по зимней дороге. Дети плакали от голода и холода и, не вынося всего этого, умирали. Останавливаться и хоронить их не разрешали, оставляли в снегу вдоль дороги. Стояли лютые морозы. На некоторых полустанках делали проверку: нет ли чего лишнего — отнимали последнее. «Мой дед, — говорится в одном письме, — одел в дорогу старые валенки, а новые взял с собой — отобрали. Были случаи, когда из саней выкидывали сверток в снег. Это был мертвый младенец. В Тобольске переселенцев расположили в церкви на двух трехъярусных стеллажах. Какие-то из них ночью рухнули — было много жертв, особенно среди детей». Не нашел я в документах ничего о пожаре в той самой церкви. Видно, документ утеряли, а может, и просто наплевать на него было тогдашним чиновникам от Советов. Наплевать на бумагу, на людей — тем более. А тетя Аня про тот пожар никогда не забудет. Мужиков тогда угнали лес валить под Тобольском. В церкви остались одни бабы да ребятишки. Ночь лютая была, ледяной ветер гудел в куполах. Крохотная печурка одна на всех. Прислонись к ней — тепло, отвиннешься — не греет. Крыша полыхнула ночью, будто грозой ударило. Побежали во двор, хватая детей, а дверь подперта снаружи. Бабы кучкой собрались, дверь вышибли. Вылетали во двор, падали, наступали друг на дружку, двух или трех младенцев насмерть затоптали. Тетя Аня говорит: «Выбежала в одной рубахе, ничего понять не могу. Крик стоит, все бегают, машут руками. За что такое наказание, за что? Люди в Тобольске в большинстве своем относились к нам хорошо, бывало, хлеба давали, картошки. О причине пожара мы потом узнали, это тамошние комсомольцы постарались. Облили купола керосином и...»

В апреле 1932 года, по данным ОГПУ, в Остяко-Вогульском национальном округе находилось 6459 семей спецпереселенцев. Это 30 243 человека, среди них 9456 женщин, 11 402 человека — дети до 16 лет. Их расселили в 56 новых поселках округа, в основном находившихся на территории Березовского, Сургутского, Самаровского районов. Потом основались Высокий Мыс, Банное, Нагорный, Песчаное, Утрем, Кама, Горный, Перековка и другие. «Высадили нас на

луговую сторону (остров) и сказали: «Здесь будете жить». Мужчины сразу начали рыть землянки, потом приказали строить дома. Лес был на другом берегу реки. Пилили, рубили, плавил — все вручную, без единой лошади. Началась ужасная, страшная жизнь. Потолки засыпали землей, когда пошли дожди, они потекли, было очень сыро, люди начали болеть... Нас, девушек, вскоре отправили в лес заготавливать древесину. Носили бревна на плечах. Старались, но вскоре плечи сбили, работать не могли, нам не стали давать паек», — это из воспоминаний сосланной жены кулака.

Спецпереселенцы рассматривались властью прежде всего как бесплатная рабочая сила, как рабы, которые, несмотря на ужасающие условия существования, должны были выполнять установленные сверху планы и нормы. Люди рубили, корчевали лес зимой и летом. Паек был настолько мал, что пухли дети, на ходу умирали взрослые. Ежедневно кого-то везли на санках хоронить. К куче мха, заготовленного для строительства, зимой пришлось ставить охрану, люди воровали мох, чтобы добавлять его к горстке муки. Стоило заболеть кормильцу — и все — это означало смерть в семье, ибо прекращалась выдача пайка.

Невинно сосланные люди постоянно испытывали не только трудности физического выживания, но и оскорбления, моральное унижение, порой принимающее формы нечеловеческой жестокости. Слуги НКВД, бывало, среди бела дня, никого не боясь и не стыдясь, затаскивали девушку в барак и насиловали ее всем взводом.

Невероятными усилиями ссыльных, ценою многих жизней обустроивалась северная земля. Можно сказать, именно на плечах спецпереселенцев проходило становление в Югре лесной промышленности, сельскохозяйственного производства. На базе переселенческих поселков организовались Самаровский, Сургутский леспромхозы, рыбокомбинат и другие хозяйства. К началу 1940 года за ссыльными числилось 5,6 тыс. га пашни, то есть половина от общего количества земли по округу, четверть от общего поголовья крупного рогатого скота. Нет, конечно, не потому, что репрессированные вновь заделались кулаками. Это были земли колхозные, где все общее: пахотные наделы, скот, сельхозинвентарь. Общее — значит ничье!

Жернова репрессий работали без остановки. По состоянию на 5 марта 1930 г. через Тюмень было пропущено 16 эшелонов, в коих находилось восемь тысяч подвод, 4424 семьи, 22 103 человека. Кроме крестьян Уральской области, в округ сосланы в 1930 г. 25 тысяч семей из центральных и южных областей России. Нечеловеческие условия транспортировки, холод и неустроенность на местах расселения обрекали тысячи людей на вымирание. Местные власти не были готовы

принять такое количество народа, да и не очень-то стремились демонстрировать свое гостеприимство. С началом навигации переселенцев высаживали на берега многочисленных притоков Оби. Первое, что делали люди, — сооружали нечто похожее на жилище: полог, шалаш, затем рыли землянки, в которых жили до глубокой осени. Везде стояла глухая тайга. Лес раскорчевывали вручную. Главные орудия труда — поперечная пила и топор. Не было кирпича, первые дома в поселках не имели печей, стекол. В избышках стоял жуткий холод. Рядом с холодом шли голод и цинга. Умиравали целыми семьями. Ели лягушек, мякину, мох, толкли лист. Отмечались случаи людоедства. Особенно спросом пользовались умершие дети. Пока тело младенца еще не остыло, одичавшие от голода люди заталкивали его в мешок, несли в лес рядом с поселением, надевали на палку и жарили на костре, как шашлык. И ели, вырывая друг у друга из рук куски кровотокающего мяса.

Установить точно, сколько всего спецпереселенцев было в округе, очень сложно. Имеющиеся архивные данные отличаются разноречивостью. По данным статистики, на 1 января 1932 г. население округа составляло 106 592 человека, из них спецпереселенцев — 31 723. Они осваивали Север, являясь по сути подневольной, рабской рабочей силой, быстро погибали, но сразу заменялись новой массой репрессированных. Раскулачивание носило характер конфискации всего имущества вплоть до предметов быта. Г. Г. Ягода в записке Сталину приводил выступление одной коммунистки, которая говорила: «Работа по конфискации у кулаков развернута и идет на всех парах. Сейчас мы ее развернули так, что аж душа радуется. Мы с кулаком расправляемся по всем правилам современной политики: забираем не только скот, мясо, инвентарь, но и семена, продовольствие и остальное имущество. Оставляем кулака в чем мать родила». Сигналы о безобразиях при раскулачивании шли и шли в центр, но положение не менялось — грабеж и насилие продолжались. К примеру, повсюду стоимость имущества, конфискованного у кулаков, при описи без всякой опаски занижалась. Так, корова оценивалась в три рубля при ее реальной стоимости 30–40 руб., лошадь в 5 руб. вместо 60–70. Отбирались и оценивались предметы домашнего обихода: швейная ручная машина — 1 руб., ботинки — 35 коп., сундук — 1 руб., одеяло — 30 коп., платье — 50–60 коп. По отчетам, в Татарской АССР, например, колхозам было передано конфискованного имущества на сумму 3369,2 тыс. руб. На самом же деле колхозы получили имущества почти в три раза больше. Получается, что Советы грабили награбленное друг у друга. Кошмар! В целом по СССР к лету 1930 г. колхозы получили в результате раскулачивания орудий производства на сумму свыше 400 миллионов рублей.

Проводя массовое уничтожение зажиточной части деревни, советское руководство, главным образом, преследовало цель — стимулировать сплошную коллективизацию, которая, как известно, позорно провалилась. Отправив в ссылку самую трудолюбивую и дееспособную часть крестьянства, которая в основном своим трудом достигла крепкого экономического положения в деревне, государство как бы обескровило колхозы. В них согнали всех оставшихся на селе, которые не умели и не хотели работать коллективно. Результат — голод 1932–1933 гг., унесший только за один год 7,7 миллиона человеческих жизней. Авантюристическая коллективизация, направленная, главным образом, против середняцких и бедняцких масс деревни, привела страну к глубочайшему кризису, чудовищному обнищанию масс. Всякая личная заинтересованность к ведению сельского хозяйства была убита, труд держался на голом принуждении и репрессиях. Все молодое и здоровое из деревни бежало, миллионы людей, оторванных от производительного труда, кочевали по стране, переселяясь в города, оставшиеся в деревне голодали. Пришли лютые времена одиночания и запустения.

Начало реабилитации положил принятый 18 октября 1991 года закон, похожий на лицемерное покаяние, дескать, не виноваты мы, это Сталин, Берия и еще кто-то виноват, товарищи руководители просто перегнули палку. В том законе была дана не только правовая, но и как бы нравственная оценка государственного геноцида, подчеркнута необходимость ликвидации его последствий: установлены правовые и социальные гарантии реабилитированным. Обычный, нормальный человек посмеется над предоставленными ему вдруг правами: ходить свободно на избирательный участок, голосовать за личность, для которой уже загодя уготовлено теплое место, за власть, которая тебя изначально предала. Вот и думается: украв сегодня бублик в лавке, ты угодишь за решетку лет на пять. Запросто! Сотни тысяч людей, составляющих не только аграрную, но и социально-экономическую основу государства, были практически уничтожены. Как это надо расценивать? Застрелили где-то в подвале Берия, убрали Когановича и еще кого-то. А кто заплатит за жизнь тысяч убитых, растерзанных, уморенных голодом? «Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющих в мире, самым ценным являются люди». Знаете, кто это сказал? Сталин! Как у него только язык-то повернулся?

Вот такую по содержанию и стилю статью я написал для газеты за неделю сенокосного отпуска. Редактор прочитал ее быстро и так же быстро вынес вердикт: «Не пойдет. Слишком умно. И, сам понимаешь, не хорошо критиковать власть. Во власти ведь тоже люди, а людям свойственно ошибаться. Пусть на ошибки им указывают полито-

логи, а мы с тобой кто? Обычные газетчики. Пусть материал полежит у меня в столе». До сих пор лежит. Три редактора в газете сменились, и ни один из них так и не рискнул поставить статью на полосу — боялись.

2

Конечно, в Остяко-Вогульске Громовых никто не ждал. Отметились в комендатуре, и все — живите, как хотите. Ни денег, ни одежды, ни крыши над головой.

— Первое время, — рассказывала Анна Афанасьевна, — мы жили в шалаше, еду готовили на костре, потом построили избушку на две семьи, одним-то это было не под силу. К зиме перебрались в нее, хотя там еще не было ни пола, ни печи. Колю кто-то научил делать кирпичи, соорудили большую русскую каменку. Вот так по одну сторону печи поселилась одна семья, по другую — другая. Вместо мебели через всю стену располагались нары, где и спали.

Был я в этих жилищах, все своими глазами видел. Не дома это — клетки. Дикие эфиопы в подобных условиях даже зверей не держат. Девять детей у Громовых ютились в таких условиях. Девять!

* * *

Мое раннее детство прошло на Перековке. Это просто улица, которая основана была в тридцатые годы спецпереселенцами в блаженствующем ныне Ханты-Мансийске. И кулаки, и подкулачники давно реабилитированы, современная молодежь даже не знает о том, что были когда-то репрессии, самая страшная, циничная акция в истории нашего многострадального Отечества. Одного только боюсь, чтоб геноцид народа не обернулся в новом облике. Ошибаюсь — обернулся уже. Одна часть жирует, другая — в нищете. Никто никого никуда не ссылает, вся страна — ссылка.

Если родители мои — враги народа, «мироеды», или еще кто-то там, изгнанные в Сибирь, будучи совсем молодыми (и маме, и отцу было по 20 лет отроду) и плохо понимающими, в чем они провинились перед народом и Отечеством, то кто же мы — подкулачники? Я этот вопрос задавал себе, когда мы всем классом по строгому велению директора школы шли на собрание, где нас должны были принимать в комсомол. На сцену вызывали по одному, как на расстрел. Надобно было подробно рассказать биографию родителей, потому как о своей биографии рассказывать еще было нечего. Докладывали честно: отец и мать из кулаков, ссыльные. Только двое мальчишек из нашего класса, один был ханты, другой — манси, прошли без унижений. Сказали, что биографий родителей не знают, что родились в тундре,

где нет никаких биографий, а есть только чум, олени и бескрайнее снежное пространство. Когда возникли волнения коренных народов Севера, возмущенных грабежами, издевательствами красноармейцев и белогвардейцев, у них отняли охотничьи ружья и из этих же ружей расстреливали. Этих ребят приняли в комсомол единогласно. А мы долго томимся в коридоре, ожидая вердикта бюро. «Ну, смотри! — невесть за что пригрозил мне секретарь. — Отныне ты — носитель коммунистической идеологии, а если вредить будешь — осудим по всей строгости, как врага». Сие напутствие получили братья мои и сестры, когда поступали в училища и техникумы, в институты и даже на курсы водителей. Да что там, вся Перековка жила под гнетом этого первобытного, унижительного и бесправного ярлыка. В официальной литературе советского периода значит, что на самых трудных участках находились коммунисты и комсомольцы. Неудивительно, если в КПСС и в ВЛКСМ молодежь гнали скопом, как стадо лошадей на водопой. Моей знакомой, чтобы поступить в вуз, понадобилось в срочном порядке вступить в партию, иначе не допускали до вступительных экзаменов. Так постепенно дичала, деградировала изначально обреченная на крах коммунистическая мораль, превратившаяся в некий символ, пропуск к образованию, карьере, к сытой жизни.

Был я недавно на Перековке, встретил знакомого, разговорились. Многие дети кулаков и подкулачников занимают сегодня высокие посты во властных структурах, иные закрепились в окружном, областном центрах и даже в столице. Нормальные, образованные люди. Это качество, мне думается, наследственное, ведь отцы, матушки и деды их приучали к добру и труду.

И вот я вновь иду по Перековке, сохранивший в памяти не только всех, кого встречал на своем пути, но и помнивший, чья калитка, какого цвета и даже куда, в какую сторону падает тень от любого из деревьев, стоявших вдоль дороги. Хотя и избушек многих нет уже, и деревья, которые не пошли под топор, постарели, похилились, опустив слабые ветви. Клочок колхозного поля, кусок неба или просто глоток воздуха из этого сумбурного, кошмарного видения бесчисленное число раз будет являться мне во снах. Он будет, изнемогая, карабкаться вверх, выбираясь из глубокой темноты леса, где я когда-то собирал грибы, а теперь он стоит надо мной в легком тумане грустно и скорбно, словно палач, занесший топор над головой.

Тот, кто какое-то время жил в окружном центре, наверное, заметил, что осень здесь закатывается на Перековке. Не в сосновом бору, не на холмах, а именно в бывшем кулацком поселке, где в пышных палисадах жгучим огнем полыхала рябина. Пара улиц, упирающихся в колхозное поле, обочины, плотно затянутые лебедой и мокрицей,

и ветхие избы, вросшие в землю по самые окна. А еще белесый дымок из труб над крышами и божественная тишина. Мама будила меня рано. Солнце выгребалось откуда-то из глухого урмана, светлело, источая тепло. Все было покрыто пышной, распутившейся зеленью. Это не летняя, уже грубая и жесткая, кудрявая зелень, когда листья еще нежны, слабы, и если после дождя растереть между пальцами клейкий березовый листок, он полон аромата березы. Трава на выпасах поднялась ровной густой щеткой и пошла в трубку. И в мягкие зори, когда в лощинах начинало темнеть, в ней звонко били перепела. Вода в лесных речках, настоявшаяся от корней и прелых прошлогодних листьев, стала темно-желтая, как крепкий чай. Луговые озера все густо заросли хрустким коленчатым хвощом, в котором прятались дикие утки, севшие на яйца.

Не я сопровождал нашу буренку в стадо, она вела меня, полусонного, за собой, шла неторопливо, чтоб не отстал. Пьяный с утра пастух делал в тетрадке пометку, это означало, что наша Пестрянка в общественное стадо сдана, и теперь пастух несет за нее полную ответственность. Я брел домой. О, Боже, как пахло на Перековке черемухой и рябиною. Может, где-нибудь на большом дереве, на самой его верхушке, на ветке, до которой не дотянуться, уцелели не склеванные птицами ягоды? А может, запах являл собой чудную протечь земной благодати, которая исходила не от ягод, а от самих деревьев, истерзанных, измученных, с ободранной листвой и поломанными ветвями, они стонали от боли, наказанные за хрупкость свою и нежность. И запах этот был запахом их беды...

Осень умирала. На небе поубавилось света, звезды были пока на месте, но уже меркли, мутнея, словно яркое расправленное их нутро вытекало, слившись с голубоватой жижей неба. Казалось, звезды медленно погружаются в его глубины. Луна же, напротив, поднялась еще выше, и пятна на ней все больше темнели и набухали.

Отец мой поднимался раньше всех, быстро брился, крупными глотками, торопко пил чай и мчался на службу. Он работал без выходных и праздников. Пожалуй, все деревянные мосты в окружном центре, которые сохранило время, слажены его плотницкой бригадой с Перековки. По мостам этим громыхали груженные телеги и сани с возами сена, ползли трактора, самосвалы. Мост, бывало, скрипел, прогибался, но выдерживал, словно навьюченный конь, которому очень не хочется бесславно пасть на дороге, а хочется выжить. Отец собирался на работу, а мама хлопотала на кухне. Все свое детство я видел свою маму только на кухне. Сижу тихонько на табуретке, у двери, возле бочки с квашеной капустой, маленький, меня не видно. Смотрю. Мама картошку чистит, полешки подбрасывает в каменку. Нет. Не это главное,

что я видел: глаза мамы, темно-синие, темнее, чем небо. Подходит ко мне, гладит шершавой теплой ладонью по голове. О, как хотелось, чтобы мамина рука подольше лежала на моем затылке. Каюсь, видел пару раз: по вечерам, покончив с делами, когда никого нет, мама любила переодеться в чистое. Хотя бы немножко, две-три минуточки побыть в девичьем наряде, что невольно тогда являлось ощущением своей былой и настоящей в почти полной сохранности молодости и красоты — того капризного богатства, которое чем дальше прячешь, тем меньше помнишь, тем быстрее оно убывает. А переодевшись, мама и ступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить. И улыбалась ласковой и теплой, оберегая свою, ее одну касающуюся тайну, для которой еще не наступило время.

Кулацкий поселок пробуждался почти одновременно. Враз, словно по сговору, начинали лаять собаки и кричать петухи. На улице Колхозной маячили фигуры — люди шли отмечаться в комендатуре; не убер, не умер, речей антисоветских не вел. Как бы ни жили люди на Перековке дружно, как бы ни помогали друг другу в суровой и бедной по тем временам жизни, всегда находился кто-то, кто бегал под покровом темноты к коменданту и докладывал, о чем мужики говорят; кого поругивают, как о товарище Сталине отзываются. Наша Пестрянка — не просто кормилица, она, можно сказать, самый настоящий антисоветский элемент. Однажды проникла в огород коменданта и съела почти всю растущую там капусту, напоследок оставила, будь она неладная, большую парную кучу прямо у крылечка. Наказали, конечно, штраф выписали. Отец хотел Пестрянку вожжами побить, но мама уговорила его не делать этого, ибо пропадет молоко, а без него всему семейству — погибель. Да разве молоко только? Любила мама Пестрянку так, как только мама одна и умеет любить...

Проводил я нашу хулиганку на пастбище, устроился на сеновале, укрылся телогрейкой. Спать уже не хотелось, да и не было смысла засыпать — до рассвета всего ничего. На небе рядом с седым облаком возникла вдруг большая серебристая звезда. От ее сияния радостно билось сердце, вновь избавило меня от земного притяжения и воздушного, невесомого перенесло в сказочный мир, где все такое легкое и чистое.

Спецпереселенцы на Перековке не любили вспоминать о прошлом. Поставив какой-никакой дом и нарожав ребятишек, о прошлом просто не хотелось думать, ибо надо было жить настоящим, которое затягивало своими заботами настолько плотно, что каждый удачный день казался праздником. Плохо, когда ты оторван от родины. Но второй родиной скоро становится та земля, где ты поставил дом, посадил дерево, где появились на свет твои дети. Вот и для меня

Перековка стала чем-то очень близким, волнующим и бередящим душу.

3

Приезжая в Ханты, первым делом иду сюда, брожу меж унылых пятиэтажек и офисов, вставших на месте избушек, и грустно, и то-скливо становится, будто потерял я что-то очень важное для меня и до боли родное. Нет, не по землянкам тоскую, не по убогому быту прошлого, я тоскую по украденному детству. Не та нынче Перековка, совсем не та. Вошло в ее судьбу времечко со своими изуверскими переменами, со своей расцветкой жизни. Только на старом, теперь уже заброшенном кладбище, совсем рядом, за бывшим колхозным полем, покоятся выбеленные солнцем и дождями кресты на могилках основателей поселка и так же, как много лет назад, кричат неутешные вороны.

Задремав на мягком и душистом сенном ложе, я не заметил, как погасли звезды. Лишь та одна, самая близкая и самая яркая, все еще виднелась, светлая, как серебряная пуговица на истертом добела воротнике небосвода. Чем прозрачнее становился воздух, тем выше и выше поднималось небо. Вершины сосен уже не упирались в него, теперь они взирали на небо снизу. И чем дальше уходило ввысь небо, тем, казалось, быстрее спускались на Перековку его чистота и прохлада. А еще виделось мне, будто на пегой лошади промчался по улице помощник коменданта. Стуча палкой по калиткам, кричал громко и сердито: «Всем велено собраться у колхозного правления! Работать надо, бездельники!»

С утра от него несло самогонкой, а на телогрейке совсем не к месту болтался красный грязный бант. Это он в 32-м конвоировал из Челябинского округа сосланных, среди которых были мои родители. Позже в служебной записке областной прокурор напишет: «Начальник эшелона пьянствовал, имел половую связь с группой женщин, набранных из кулацких семей. Отнимал деньги, расходовал их на свои нужды, небрежно обращался с оружием...»

В 1935 году закончился пятилетний срок ссылки бывших кулаков. Все обездоленные и члены их семей были объявлены восстановленными в избирательных правах. Это восстановление отнюдь не означало освобождение от опеки ОГПУ — НКВД; выезжать по-прежнему не разрешалось. Партийные органы настаивали на дальнейшем «перевоспитании» бывших кулаков. Для партийных органов поселенцы и члены их семей, даже восстановленные в правах, продолжали оставаться врагами советской власти. 6 ноября 1946 года выйдет Указ об уголовной ответственности за побег из мест ссылки, согласно кото-

рому предусматривалась высшая мера наказания — 20 лет каторжных работ. Почему 20? Писали бы привычно — пожизненно.

* * *

Поздним осенним вечером к нам на огонек заглянул закадычный друг отца, земляк, тоже из сосланных, дядя Ваня Ярославцев. Сели мужики на кухне, на столе тарелка вареной картошки в мундирах, квашеная капуста, грибочки, банка бражки, все как положено. Я — на печке, замер, слушаю разговор взрослых, мне почти не понятный, но именно этим и интересный, захватывающий даже.

Ох, как любил я ненастье! Тогда целый день дома и отец, и мама, целый день топится печь, на шестке стопки блинов, олады, а то и пирожки с рыбой. В кухне хорошо, тепло, а на улице все занесло, обложило, сеет и сеет, кадушки полны водой. Выскочишь в огород за луком, за морковью, ежишься, с радостью глядишь на тучи. «Нет, не разветрит, еще и завтра дождь!» — и скорее в сени. Вечером в ненастье долго сидели с лампой, отец рассказывает побывальщины, мама слушает, чего-нибудь вяжет. Мы забиваемся на печь, тоже слушаем, хотя давным-давно из слова в слово знаем все эти присказки. Почему-то в такой вечер снова хочется их слушать. Вскоре кто-нибудь из нас засопит, уснет, и я засыпаю под тихий говор взрослых, под шорох дождя о стекло...

Только здесь, на кухне, мужики могли говорить открыто, не шепотом и не оглядываясь, ибо все еще тяготел над людьми страх: не сказал ли что-то лишнее, не донесли ли на меня коменданту. Если видели, что в поселке появлялись милиционеры — ждали беды, кого-то на этот раз заберут. Забирали группами и поодиночке и где-то за что-то судили, лишая права переписки, а нередко — жизни. Только за два года в округе было арестовано по ложным обвинениям и расстреляно более 900 человек.

Час говорили отец с дядей Ваней или два, я не помню. Помню только, что совсем не жаловались на судьбу и невзгоды, не ворошили обиды на бесчинства начальства. Они вообще никогда ни на что друг другу не жаловались, просто жили, покорно принимая отведенную им долю, жили каждым днем, своими мужицкими заботами и надеждой. Дядя Ваня тогда пришел к нам не просто так: оба, как раз осенью, уходили на войну. Отец мой попал в трудовое ополчение, а дядя Ваня сходу на передовую. Комендант сказал: «Вам повезло, появилась возможность искупить свою вину».

Сколько лет-то уже прошло, а я по сей день помню друга отца. С войны дядя Ваня вернулся весь израненный. Вместо ноги — де-

ревянная колода, он сам выстрогал ее из полена, ремни крепежные наладил из старой сбруи. Поначалу натирало под коленом до крови, а потом ничего — привык. Двигался медленно, тяжело, зато без костыля. Жена Ивана нарадоваться не могла: какой-никакой, а мужик в доме. И в стайке уберет, и навоз выгребет, и сена корове набросает, и валенки, кому надо, подошьет. На фронте-то дядя Ваня снайпером был. Двадцать две насечки на прикладе. За ранения позволили ему вернуться в родную деревню. А что его там ждет? Дом родительский отобрали, хозяйство с молотка пустили. Вернулся на Север, на место ссылки. Здесь и нашел себе жену из местных. Не ахти какая красавица, зато добрая и тихая, не побрезговала инвалидом. Так и жили в маленькой избышке на Перековке. Никому дядя Ваня слова худого не сказал, зла не принес, а его все одно кулаком звали, без зла, без умысла, скорее по привычке. Иван не обижался, свыкся с ярлыком. Ничего себе, думалось мне, ну какой же он враг народа? Вон сколько фрицев завалил! А у него ни ордена, ни медали. Видать, не побольшевицки было раскулаченных награждать, даже если вели себя по-геройски, кровь свою проливали. Дядя Ваня говорить об этом не хотел. Он вообще говорил мало. И отец мой тоже. Бывало, сидят друг против дружки и молчат. Так они разговаривают — молча, без слов понимая друг друга

Дядя Ваня из старейшего купеческого рода Ярославцевых, за что и упрятали в Сибирь. Отец его вершил большие и доходные дела, ходили обозы с товаром чуть ли не по всей России. Ивана до больших серьезных дел отец не допускал: пускай умишка сначала наберется, поймет, что к чему, а там, мол, посмотрим. Ваня оказался сноровистым парнем. Пока отца не было дома, наладил собственное дело, по нынешним понятиям — что-то вроде малого предприятия. Катал валенки, освоил сапожное, кожевенное ремесло. То, что производил, продавал на базаре. Так, потихоньку, без чужой подсказки познавал науку торговли и вскоре уже владел ею ничуть не хуже уездных купчихек.

Когда Иван въезжал на главную площадь, то сразу раскидывалось перед его глазами необозримое море телег, стоявших с поднятыми вверх оглоблями и привязанными к ним отпряженными лошадьми, жевавшими овес. Это — базар.

Вдоль всей площади стояли рядами лавки, сколоченные из потемневшего теса, в них продавались кадки, калачи, белый хлеб, рыболовные сети, валенки и тулупы. А на столиках перед ними были разложены замки с воткнутыми ключами, привязанными на ниточке, ножи и всякое старое железо. Визжали в закрытых плетушках поросята, слышался крик и зазывание продавцов, и надо всем стоял шумный

бестолковый говор мужиков, которые толкались между телегами и лавками, торговались, спорили, уверяли в доброкачественности товара и хлопали рука об руку в знак слаженного дела.

— Эй, хлопец, хлопец, посторонись маленько! — кричал торопливо какой-то мужичок в зимней шапке, поспешно проводя в узком проходе лошадь с телегой, и, держась за узду, беспокойно оглядывался, чтобы не зацепить за что-нибудь колесом.

— Хорошо! — говорил Иван, оглядывая всю эту пеструю копошащуюся толпу.

Около мучных лавок, где садились и вдруг шумно взлетали сытые голуби, висели на наружной стене в сеточных клетках перепела и звонко били на всю площадь. А за лавками на широком, мягком — без мостовой — пространстве были расставлены на соломе глиняные горшки, миски с глянцевой поливкой внутри, около которых сидели торговки и наперебой расхваливали свой товар, когда какой-нибудь человек в засаленной поддевке и с кнутом подходил и начинал стучать по горшкам палочкой кнута, пробуя звук.

— Ну, ты даешь! — смеется дядя Ваня. — Будто сам там был, вон, как все расписал. Правда, в наше-то время на базар ходили не обязательно, чтобы купить что-то. Ходили, чтоб себя показать, на людей посмотреть, а там, мало ли, может, какая вещь и поглянется. Сейчас-то там, наверное, пусто, попал торговый народ в опалу.

Помню, уже отходил последний снег в низинах, сверху пробивались лучи солнца, а в лесу, что темной опушкой прижимался к избе дяди Вани, было сумрачно и сыро. Бурелом, валежник, засохшие на корню деревья, покрытые косматым серым мхом, трухлявые пни, ни куста, ни цветка, только местами пожелтевшая прошлогодняя травка, и всюду следы гари, будто свирепствовал здесь неукротимый лесной пожар. Тайга без края, унылая, однообразная. Лиственница, сосна, кедр, ель, иногда береза или осина. Жизнь угадывалась только в кронах высоких деревьев, шумел там ветерок, слышалось тиканье синичек, прыгали с дерева на дерево белки, шуршали шишками. Дядя Ваня стал часто болеть и не мог, как прежде, радоваться прелестям природы. Иногда он днями лежал пластом и не мог подняться, но все-таки старался поддерживать и двор, и дом. Из-за коровьих лепех Иван не мог открывать свои ворота и лазил на улицу через дырку в заборе. В тяжелые послевоенные годы он ухитрился вырастить на крохотную пенсию по инвалидности пять дочерей и сына. Как им с женой удалось это, одному богу известно, но удалось. Дети никогда не стеснялись бедности и выросли гордыми, самостоятельными людьми, знающими цену и куску хлеба, и копейке, и материнской ласке, и суровой отцовской доброте. Когда болезнь чуточку отступила, дядя

Ваня, на удивление всех, кто его знал, а в особенности своего друга, отказался от пенсии и пошел работать в колхоз, где, вспомнив молодость, занялся вопросами реализации сельхозпродукции. Мой отец никак не мог понять этот поступок друга, ведь именно колхоз послужил косвенной причиной, искалечившей его судьбу. И вдруг сам добровольно головою в омут, да еще на самую бедовую должность. Все это как-то не укладывалось в устойчивом характере Ивана, но что тут поделаешь, времена меняются, а вместе с ними перестраиваются и убеждения.

— Видишь ли, умные люди толкуют, что земля вроде бы большую цену имеет и больше даст, если ее обрабатывать сообща, — горячо принялся объяснять Иван, — в крупной коллективной коммуне, где все равные хозяева. Тогда под силу будет и машины, и удобрения покупать, чего не в состоянии сделать единоличник. Примерно как на фабрике, где работа всегда эффективнее получается, нежели человек один у верстака в мастерской.

О мелкобуржуазной стихии при таких речах дяди Вани лучше было не заикаться, для него это сушая китайская грамота, тем более о частнособственнических инстинктах — зачем дразнить! Он ведь не колхоз в его примитивной форме пытался выгородить, для колхоза скорее подходит поговорка, что де перед смертью не надышишься. Дядя Ваня толковал о коммуне, имея в виду современное, свободное, самостоятельное фермерское хозяйство — вот где широта купеческой предприимчивости!

— Так ведь не дадут же дорогу. Понятно, такой власти на земле нет, каждый, знай, грабастает себе. По Библии тоже положено бедных оделять, но до сих пор никто ничем не одарил. А я-то надеялся, что авось с революцией жизнь наладится, отдадут мне навечно участок земли, не будет ни аренды, ни договора, вот тогда можно было бы хозяйство наладить! Хорошее коллективное хозяйство тоже ведь принесет доход, что хватит на всех. Надо только, чтобы не давили его планами сверху, чтоб не совали нос в его дела, а дали больше свободы, самостоятельности. Батраки ведь теперь перевелись, кто пойдет к кому в услужение, когда будет возможность работать на себя? Да вот скажи, например, нужна тебе, частнику, молотилка или то же химическое удобрение? Откуда взять такие бешеные деньги? А сообща запросто наберется, еще останется.

— Ты мне, снайпер, зубы-то не заговаривай, — отбивается отец. — Я в твою коммуну ни за какие калачи не пойду. Хочу остаться на своем огороде хозяином. И хорошо знаю; получал управляющий со своими батраками на одно зернышко три, и тебе со своей коммуной не взять больше. Поставишь ты меня на пару работать с каким-нибудь пья-

ницей или недотепой — что я, за него надрывать стану? Да любой мужик тебе, Ваня, то же самое скажет. На своей земле другое дело, там я отвечаю за каждый колосок, туда я ни одного бездельника и близко не подпущу. Если мне землю не дадут, так и останется урожай несобраным. Или, может, у коммуны хлеба в излишках? В городе вон распределяют по осьмушкам. Хочешь, чтобы так оно и осталось? Сроду ведь никто за крестьянскую правду не стоял!

Ничего дядя Ваня не сказал, только рукой махнул, ведь он же по доброту своей стал в последнее время думать, что для того революции совершили, чтобы горой стоять за права каждого, кто трудится, и верил, что скоро жизнь начнет меняться.

Домой пришел темнее, чем ночь. Сразу отправился спать. Лукерья чувствовала, что он чем-то раздосадован, но не решалась заводить разговор. Так и лежали каждый в своей постели, привычно свернувшись калачиком, тихо, чтобы не потревожить друг дружку, ворочаясь с боку на бок или тяжелым вздохом. Каждый старался дышать ровней, каждый щадил другого больше, чем самого себя. На этом держалась их совместная жизнь и сейчас, и в те дни испытаний, когда одному было не выстоять, не выдержать под холодной тяжестью невзгод и лишений, громоздившихся, словно сугробы на вьюжной Перековке.

Что и говорить, повезло дяде Ване с женой, хорошая была она женщина — тихая, прямая, никакой работы не чуралась и, что особенно нравилось Ивану, слушалась его во всем. Может, это неправильно, вроде как муж — деспот, бабу свою ни во что не ставит, но в доме должен быть порядок и дисциплина, а это значит, что кто-то должен этим домом управлять, а кто-то подчиняться управленческому началу, иначе хана. Жить семьей и одним домом — что тесто месить, дело это вовсе не легкое. «Что это вдруг я о тесте вспомнила? — встрепенулась и открыла глаза Лукерья. — Видно, не к добру. Да кто его знает, может, наоборот, счастье привалит».

Сколько себя помнит Лукерья, так вот всю жизнь свою и отдала Ивану да пекарне. Ну, Иван, слава Богу, рядышком, а хлебная работа как бы за калиткой осталась. Когда родителей большевики расстреляли на Самаровской горе, она еще совсем молоденькой была. Другие по баракам ходили, под солдат ложились, под начальников — кусок зарабатывали — кому пропадать-то охота. Грешным делом, и Лукерья думала: одна дорога. Спасибо, случай помог, дитя врагов советской власти отправили отбывать наказание подсобной работницей в пекарню. Такая выдалась трудовая повинность. У какого-то дикого племени то ли в Африке, то ли в Азии, Лукерья не помнит, казнь была лютая. Привязывали человека к дереву где-нибудь в жаркой пустыне. Сутки бедняга держится, двое — пить ужас как хочется, жажда души.

Тогда ставили перед ним кувшин с водой. Глаза видят, а не попьешь. Даже представить страшно. Скоро человек от такой пытки лишался рассудка и отдавал Богу душу. С Лукерьей то же самое было: хлеб в руках, хлеб вокруг, много хлеба, а не откусишь. Не выдержишь — убьют.

Здесь, в пекарне, девчонка узнала, что труд тестомеса приравнивается по тяжести к труду молотобойца. «Это так, точно так, — как бы соглашаясь с собственным утверждением, подумала Лукерья. — Бывало, только зашумят, закудахчут во дворах куры, а я уже встаю с постели, встаю тяжело, переваливаясь с ноги на ногу. Дою соседскую корову, а маленький ее телок все норовит взять свое, торопится припасть к вымени, я его отгоняю, а у самой слезы на глазах — жалко. Кипячу молоко, получаю за труды пол стакана и бегом в пекарню. Тесто, поставленное с вечера, уже поднялось и вот-вот вывалится за край фанерной бочки. Закатываю рукава и начинаю месить. Старшая, зверь-тетка была, следит за горячей печью. Замесив, быстро раскладываю тесто по формам, убираю золу из печи и ставлю эти формы в ее огнедышащую пасть. На минуту выскакиваю из пекарни, чтобы сполоснуть водой разгоряченное лицо, отдышаться, и снова ныряю в этот пропахший хлебным духом то ли ад, то ли рай. И начинаю готовить тесто для завтрашней выпечки. По норме мы должны были выпекать в день сто килограммов хлеба. И выпекали». Лукерья горько вздохнула, натянула до подбородка одеяло, уткнулась лицом в подушку, поймав себя на мысли, что вспоминала сейчас, прокручивая в голове те черные годы так, будто говорила на допросе в комендатуре, где каждое неосторожное слово могло стать роковым. Но круговорот памяти остановить уже было невозможно, память крепко держалась где-то внутри, в самом сердце, отдаваясь неукротимой болью. «Беременность подходила к концу, и каждый новый день давался все трудней и трудней. Однажды колола во дворе пекарни дрова, потом посадила хлеба в печь, ног от усталости не чувала, примостилась на лавку полежать минуточку да и уснула таким мертвым сном, что даже и не почувствовала, как весь мой хлеб сгорел в печи дотла. Старшая напарница орала до посинения, обозвала гадюкой и в довесок ко всему записала на меня пятьдесят кило хлеба, но с работы не выгнала. Глупо выгонять невольницу, это вроде того, что заключенного выгнать из тюрьмы за какую-то провинность. Потом директор явился. Вот кто гадюка-то! Он на меня давно глаз положил, все выжидал момент, чтоб в кровать затащить. А живот мой его приводил в бешенство, я ему не такая нужна была, все торопил: «Рожай скорей. Надоело ждать». Мой решительный отказ бесил его еще больше, вот он и решил отомстить, чтоб я на колени перед ним упала, сама к нему в постель полезла сразу после родов. Ночи не спал, все думал, как бы меня уличить в во-

ровстве. Через несколько дней после того, как я сожгла хлеб, темным вечером я возвращалась из пекарни домой с ведром сосновых углей, которые обычно выгребала из печки, чтобы они не пропадали даром, а согревали еще и нас с Иваном, наш старенький самовар. Директор подкараулил за углом, выскочил, едва не стоптав конем.

— Эй, ведьма, стой!

Соскочив с коня, вырвал у меня из рук ведро, перевернул его вверх дном посреди дороги, высыпал угли и долго тыкал в них черенком плети.

— Ведьма, я так надеялся накрыть тебя на хищении социалистической собственности, да вижу, ты сегодня поостереглась!

— Что я украла у тебя!? — голос мой охрип, сердце, казалось, билось в самой глотке.

— Ты не прикидывайся. Есть сигналы, что таскаешь под кофтой на брюхе муку и соль. Оттого оно у тебя такое большое. Ха-ха-ха... Бдительность с вами нужна, бдительность. Вот и проверил, а вдруг под угли спрятала. Ха-ха-ха!

Ване дома рассказала. Он только и молвил: «Убью эту сволочь!»

Доложив себе о прошлом, Лукерья уснула, собравшись калачиком, как ребенок. Она не знала, что вспоминала вслух, бывает такое. А еще она не заметила, что все это время рядом стоял Иван и слушал, и глаза его блестели как-то странно, необычно для него.

Натер глаза-то ладонью, наверное...

Тетушка еще о Сеньке рассказать не забыла. Чудной был парень, этот Сенька. С детства у него не все в порядке с головой. Мать, прости ее, Господи, пила сильно, просто не просыхала. Денег на водку не напасешься, тогда ее в лавках в обмен на что-нибудь продавали. Принесешь вязанку березовых дров — шкалик, считай, заработал. Или тащи литровую банку сметаны, или мяса кусок. Ни того, ни другого у Сенькиной матери не имелось, у нее вообще ничего не имелось, а стакан опрокинуть хотелось всегда. Однажды поспорила с соседом — партийным работником, что за бутылку водки ребенка своего в полынье утопит. Тому бы посмеяться над ее бредовыми шутками, а еще лучше — пригрозить чем-нибудь за такие разговорчики, а он возьми да и согласись. Ему стало интересно посмотреть, как баба запросто будет толкать младенца в полынье. Пошли вечером к Иртышу. Партерработник дыру во льду выдолбил пешней. «Бросай, — говорит, — чего ждешь?» Баба пьяная была, из ума совсем вышла, взяла да и кинула Сеньку в воду, как полешко. Дядька опомнился, рванулся к полынье, поскользнулся на ледяных крошках, завалился на бок, брюхо большое, подняться никак не может. Пока возился, Сенька коркой покрываться начал. Уже вдвоем потом пешней отковыряли мальчиш-

ку, вытащили. Думали, конец ему. А он, бывает же чудо, оклемался. Целый год тяжело болел, кое-как выкарабкался. Вот только с тех пор стали у него проявляться какие-то завихрения в голове. Бывало, говорит что-то долго, а главное — складно, как секретарь горкома. Складно, хоть и непонятно.

Хлеб Сенька развозил по магазинам на лошади. На телеге стоял жестяной короб, покрытый мешковиной. Буханки еще горячие, видно, как из-под мешковины струится душистый парок. Примет возница свои законные двести, едет по городу, поет во всю головушку. А то остановится перед случайным прохожим и окатит его мудреной речью. За сорок с лишним лет своей жизни Сенька никому не перешел дорогу. Сознательно никому не сделал плохого. Почему же так беспощадны к нему люди!? Ведь сколько раз и плевали в него, и били зазря. Хотя зачем путать людей и Сеньку? Сенька сам по себе, а люди сами по себе — так будет правильно. «Но все-таки, — ворочается в Сенькиной голове мысль, — наверное, неслучайно Добро и Зло идут в этом мире бок о бок и подстерегают друг друга на каждом шагу. Но только кажется, что они готовы стереть одно другого с лица земли. Не в силах победить, они изнуряют себя борьбой вот уже тысячи лет, хотя и знают прекрасно: умри сегодня Зло, завтра Добру будет нечего делать на белом свете, не с кем бороться, — такое построение мысли Сеньке явно по душе, и он еще бодрее продолжает: — Так и шагают эти заклятые друзья, эти неразлучные враги в одной упряжке и волокут за собой огромную телегу Жизни, а в ней полным-полно наших маленьких судеб, наших маленьких судеб, наших маленьких судеб...»

Браво! Этак не каждый философ скажет. Не такой уж Сенька пологий, среди вроде здоровых людей бывают хуже...

Сенька мог прервать речь на полуслове. В нем вдруг прорывалась какая-то внутренняя запруда, и он еще охотнее продолжал выплескивать словесный поток, будто опасаясь, что его не выслушают или он сам передумает и прервет себя.

Молитвенно вскинув руки, Сенька с почти драматическим пафосом продолжал: «По какому праву вы, красные, всеми в России распоряжаетесь?! Хорошо бы только единоверцами, а то ведь и рабами Божьими! Оглянитесь в смятении, что вы сделали со святой Русью! Повсюду одно зло, нет больше братолюбия, лучи солнца, и те багровеют на церковных крестах, будто в зареве пожара горят! Все рушится и гибнет, ни милости, ни пощады. Это и есть торжество вашего всеобщего братства? Святая Русь погибнет, будущее обернется хуже ига татарского, истинной геенной огненной, и быть в ней гибели невинных детей, плачу и скрежету зубовному».

Тот, кто слушает Сеньку, принимается укорять его, дескать, очень уж ты мрачный прорицатель, нечего сказать. А слова-то его все одно в душу западают, ты этого не хочешь, всячески противишься, а они уже там, внутри. В чьем-то представлении грядущее, конечно, может казаться и таким, но так ли все страшно? А может, сейчас рушится и погибает всего лишь осененная золотом крестов, разбитая на вотчины дворянская Русь, тюрьма народов, на развалинах которой все доселе угнетенные только еще начнут строить себе новое отечество, для которого и не сыщешь примера в священном Писании? Кто знает? Кто знает? Бедный Сенька, не дожил он до наших дней, а то бы такое сказал...

Ехал Сенька вечером по мосту возле старой бани в Ханты-Мансийске, то ли голова закружилась, то ли нарочно кто спихнул — упал в смрадную лужу со сточной водой из бани. Только утром его оттуда выудили...

4

Дядя Ваня взял меня с собой в тайгу. Запряг лошадь, мы уместились в розвальни и поехали куда-то вглубь леса проверять силки да капканы, которые Иван Васильевич расставил еще зимой и аккуратно, пару раз в неделю, осматривал их. Однажды захворал, не поехал проверять, так в капканах остались только клочки шерсти — волки поработали. Я все думал: как же дядя Ваня управляет в тайге один на деревянной ноге? Тут и здоровому человеку не каждому по силам. Дорога, протоптанная когда-то санями, неожиданно оборвалась, разлучившись ветвями следов от полозьев влево и вправо, и мы покатили по снежной, еще не тронутой весной, целине. Все глуше становилась тайга. Те же заросшие густым сплошным лесом холмы и низины, птичий гомон в кронах деревьев, сумрак, пропитанный сыростью. Мелькнул раз в березняке громадный длинноногий лось и скрылся, треща сучьями.

На привал остановились в полдень возле зимовья, крохотной лесной избушки с темными прокопченными стенами, без потолка, без окон, без печи, с земляным утоптаным и прокаленным полом — зимой тут раскладывают костер, дым выходит через отверстие в крыше. Лежала в углу охапка сухих сучьев — уходящий оставляет топливо тому, кто придет за ним, кто может прийти в мороз, снег, метель, не добудет хвороста, не разожжет костер и замерзнет на утоптанном полу. Хороший человек оставит не только сучья, но и запрячет в сухом месте коробок спичек. Дядя Ваня, кроме всего прочего, оставляет в уголке мешочек с сухарями и соль. Мало ли что, может, кому-то это жизнь спасет. Сучьев уже можно было набрать в лесу сухих, и мы

решили не трогать тех, что лежали в зимовье. Дядя Ваня дал мне ружье стрельнуть в рябчика. Не попал, конечно.

— Дядь Вань, а тебе на медведя ходить случалось?

— Ходил три раза. Я медведя в берлоге беру. Как собаки учуют зверя, так срубаю слегу, затыкаю берлогу, он начинает выдираться, я и стреляю. Есть мужики, которые ходят с рогатиной, а то и с ножом. Медведь — зверь хитрый, на человека вылетает, а на лошадь или там скотину — тихонечко, крадучись.

Капканы оказались пустыми. Только в одном застряла лисица. Облезлая, как дворовая кошка, худущая. Иван ее высвободил, толкнул под зад в кусты — пушай бежит, ранку зализывает, на что она мне такая?

— Дядя Ваня, расскажи, как ногу на фронте потерял, — вновь пристал я с вопросами, как только вернулись в избушку, попили чаю и улеглись спать.

— Так ведь обычное дело. Лежу я в укрытии, тихо, морозно, немец тоже в окопах залег, изредка, правда, высунется кто-нибудь, пальнет в темноту. Я его по выстрелу на мушку. Ну вот, а перед рассветом бомбежка началась, батальон начал отступать. Мне отходить приказа не было. Снаряд, будь он неладен, возьми да и рвани рядышком. В медсанбат меня волокли уже без ноги. Подумал, все — отжил свое. Но вот, как видишь, Бог миловал. Без ноги или без руки жить можно, без души, без совести жить нельзя. Я хоть и кулак и кто там еще — враг народа, но живу на родной земле, ее защищал, как мог. Вот тебе и враг!

Дядя Ваня отвернулся, натянул на себя тулуп и сразу захрапел. Из-под тулупа выглядывала только жилистая рука. Узловатые пальцы иногда сжимались и походили на крепкое сплетение в кулак. А я долго не мог уснуть. Казалось, мне слышались взрывы и стоны раненых, свист снарядов и еще какие-то странные, расплывчатые звуки той роковой для дяди Вани ночи. Я жалел и одновременно боготворил его, видя на большом, мраморном пьедестале почета, выше даже памятника самому Ленину. Откуда мне было знать тогда, что процесс реабилитации, который начнется после смерти Сталина, будет носить избирательный характер, затрагивая ограниченный круг лиц. В первую очередь реабилитация распространится на партийно-государственных деятелей и их родственников, а также тех граждан, против которых «компрометирующих данных не обнаружено». Участников Великой Отечественной войны, раненых и погибших на фронте в этом списке не значилось.

Все редкие поселки Нарымского округа, окутанные вечным туманом и смердящим духом бескрайних болот, лепились по берегам Васюгана, единственной дороги, связывающей район с Большой землей, равняемой ссыльными с волей и отчим домом. Того и другого они были лишены, и только ненарочный вздох в холодной тишине барака, мрачный взгляд, брошенный в небо, выдавали горькую тоску по прошлому. Протяженность реки от ее истоков в непролазных болотах до устья, где торфянистая, коричневая, как чай, вода, еще малое время, не смешиваясь с зеленоватой обской, тянется темной полосой на север, — полторы тысячи километров с гаком. По обе стороны тайга и болота, у которых не было начала и у которых не было конца. Центр Западной Сибири, печально известный некогда Васюган, куда «ворон костей не заносил». Неверно это, заносил, только не ворон, а «воронок», и не своих костей, а людских. В 1930-м году на Нарымской территории числилось четыре села и 38 малочисленных остяцких поселений. Население — чуть больше двух тысяч. Так и держались бы, затерянные в дыму от костров, неказистые юрты. Но в социалистической стране начался «великий перелом», вместе с массовым раскулачиванием давший толчок тотальному опустошению деревень. Потянулись сюда переполненные баржи, разгружаясь на безлюдных, поросших мелколесьем берегах. Более сорока тысяч крестьян, лишенных всего, что имели, с Прииртышья, Алтая, Енисея, подлежащих уничтожению как класс. Скоро грянул повальный мор. Не было сил копать могилы каждому, копали братские впрок. Это потом, через пару лет, оставшиеся в живых спецпереселенцы начнут с горем пополам косить сено на затопляемых половодьем топких речных поймах, вырабатывать пихтовое масло, смолу и деготь, заготавливать дранку. Пытались выжить, как могли. Многие кинулись в бега. Срывались обычно зимой в верховье Васюгана, оттуда через застывшее болото на Большую землю. Это была единственная дорога, по которой можно было уйти, не зря лагерное начальство именно здесь понатыкало застав чуть ли ни через версту.

Спиридон знал: каждый шаг в трясину равен самоубийству; получится ухватиться за ветку или корягу, зависшую в тине, стражи на обходе учуют возню, добьют одним выстрелом. Или постоят, покурят, лениво наблюдая, пока над головою беглого не сойдутся булькающие круги трясины. Даже думать про свою затею, держать ее в мыслях Спиридону было страшно, поэтому он вынашивал ее по круплицам, просчитывая все до мелочей, словно скупой бухгалтер. Побег не су-

лил ничего, кроме смерти, только крошечная надежда, не видимая даже в воображении, то возникала вдруг, то растворялась в сознании, не оставляя следа. Не редко возникала мысль отречься от задуманного, ведь по лагерным меркам Спиридон устроился здесь не так уж и плохо. Место на нарах в углу барака, в глаза не бросается, паек с гулькин нос, но если местные братки не отнимут, можно свести концы с концами. А главное — сходу повезло: взяли работать на конный двор, где держались лошади служащих комендатуры и охраны. Кто-то, видимо, шепнул начальству, что на свободе Громов путался с цыганами, угонял да продавал лошадей, что толк в конях знает. И вправду, начальник зоны не видел больше никого, кто бы так жалел и уважал скотину, потому и велел ему идти на конный двор. Раньше бывало, чуть дело касается коней, Спиридон, обычно спокойный, даже вялый, никому не спускал. Однажды, еще в первое колхозное время, он на глазах у мужиков отодрал чересседельником Нестора, тогдашнего зама председателя, когда тот пригнал откуда-то всего в мыле, с разорванными в кровь губами запаленного жеребца, отодрал, как миленького, и никто не посмел его остановить. Спиридон сердился на людей, которые брезговали есть конину, доказывал, что из всех животных эта — самая чистая, однако сам он ее тоже не ел; не мог. Из любви к коню, из сострадания к нему, пусть даже и мертвому, не мог. Он говорил: «Умирать с голода стану, а коня в рот не возьму».

Именно по конным делам Громова часто вызывали в комендатуру, а иногда сам лично начальник зоны заглядывал в барак, чтобы отдать какое-то распоряжение. Вот и сегодня его появление в дверях заставило Спиридона мгновенно забыть все, о чем он только что думал, сжаться в комочек, собрать внимание. Начальник был с причудами. Есть такие мужики: все вроде на месте, а не мужик, одна затея... Вот и этот такой — ему только водку пить да кулаками махать, зная, что сдачи не получит. Он обычно не говорит, а всхлипывает. И лицо, как застиранное; сколько раз за жизнь умывался — все, будто на материи, осталось на нем, вот-вот местами покажутся дырки. Передвигался он, как хромая корова, словно сейчас упадет, уткнется носом в грязь, но успевает в последний момент выставить вперед ногу, замирает, сосредоточенно пытаясь подтянуть другую ногу — так и ходил.

Начальник упал на табуретку, смахнул рукавом пот со лба и только потом начал что-то говорить, мыча после каждого слова. О чем мычал, Спиридон не помнит, а папку из свиной кожи, забытую начальником на табуретке, заметил сразу и, посмотрев, нет ли кого рядом, не видит ли кто, быстро сунул ее под тюфяк. Ночью, выскользнув из барака будто по нужде, полюбостествовал содержимым папки. Вечерний туман немного рассеялся, в небе местами проклюнулись

звезды, видно было без свечки. Среди бумаг в папке лежали отчеты, докладные, справки, но Спиридона заинтересовала только одна с грифом в верхнем левом углу: «Совершенно секретно! Только для служебного пользования», чуть ниже название документа — «Инструкция НКГБ СССР «О порядке проведения операции по выселению антисоветского элемента». Машинально перелистав страницы, увидел размашистую подпись заместителя наркома Госбезопасности СССР И. Серова. Спина похолодела, руки задрожали, мысли лихорадочно закружили голову; надо немедленно пойти в комендатуру и отдать. Отдать, значит, подписать себе смертельный приговор. Сделать вид, что никакой папки не видел, не поверят. Что же делать? Спиридон метнулся в барак, положил папку на табуретку, затаил на нарах, мысленно прощаясь со всеми, кто был в его жизни: «Господи, помилуй, спаси меня, сохрани! Все в силах твоих, Боже! Не дай мне ни за что ни про что сложить здесь свою грешную голову!»

В бреду и молитвах Спиридон не слышал, как кто-то влетел в барак и быстро удалился, хлопнув дверью, с папкой под мышкой.

А инструкцию Громов все же прочитал и, как часто бывает в минуты высокого нервного напряжения, запомнил ее почти наизусть. Зачем? В самом деле, зачем надо было запоминать описание того, что происходило с ним лично, наяву, что до последнего дня будет стоять перед глазами? Зачем, свернув бумагу солдатским треугольником, на свой страх и риск сунул ее за пазуху? Раскулачивание для начальника зоны — прошлый этап, на что ему эта инструкция? Хранил на память о лихой службе в чине уполномоченного? Но теперь его обязанности состояли в большем, теперь он исполнял предписание по надзору за исполнением наказания, перевоспитанию врагов народа. Пропажу бумаги начальник даже не заметил, а если и обнаружил, то не придал этому значения, ибо никакого секрета она уже не содержала; сотни тысяч людей испытали действие этой инструкции на себе. А говорилось в ней, что...

«Выселение антисоветского элемента представляет собой задачу большой политической важности. Успешное разрешение ее зависит от того, насколько уездные оперативные тройки и оперативные штабы сумеют тщательно разработать план проведения операции и предусмотреть заранее все необходимое. При этом надо исходить из того, чтобы операция прошла без шума и паники, так, чтобы не допустить никаких выступлений и других эксцессов не только со стороны выселяемых, но и со стороны известной части населения — враждебно настроенного по отношению к Советской власти.

Операция будет начата с наступлением рассвета. Войдя в дом выселяемого, старший оперативный группы собирает всю семью высе-

ляемого в одну комнату, принимая при этом необходимые меры предосторожности против возможных каких-либо эксцессов, предлагает сдать оружие. В независимости от того, будет сдано оружие или нет, проводится личный обыск, а затем и обыск всего помещения. Если выселяемый откажется открыть дверь своего дома, несмотря на то, что ему будет известно, что прибыли сотрудники НКГБ, дверь необходимо взломать. В отдельных случаях привлекаются на помощь соседние оперативные группы. Действовать во время операции во всех случаях необходимо твердо и решительно, без малейшей суеты, шума и паники. Если потребуются, то никаких предупредительных выстрелов не делать, стрелять сразу на поражение.

В день операции начальник пункта погрузки вместе с начальником эшелона осматривают представленные железной дорогой вагоны с точки зрения обеспечения их всем необходимым (нары, фонари, решетки). После того как вагон заполнен необходимым количеством семей, он закрывается».

Спиридону Громову редкостно повезло. Историю с папкой спустили на тормозах, тем более ведь ничего из нее не пропало... Никто в бараке папку в руках не держал и никто ее не видел.

2

Бежать в сговоре с кем-то Громов не планировал, этот губительный, по его разумению, вариант он отсек решительно и бесповоротно. Даже вдвоем идти — совершенно пропащее дело. Беглецов схватят на первой же заставе. Оставалось одно — ждать подходящего и как можно менее опасного момента. И такой момент подвернулся совсем неожиданно. Личного коня начальника укусила какая-то тварь. Вздулась шишка с куриное яйцо, она не давала покоя коню ни днем, ни ночью. Серко бился копытами о перегородку, бесился, кусал хозяина, не прикасался к сену и овсу.

— Я здесь ничего сделать не могу, — говорил Спиридон. — Надо его в райцентр вести, к ветеринару, а то пропадет.

— Вот ты и поведешь. Конечно, под присмотром нашего человека. Одного, думаю, хватит, свободных у меня нет, все при деле. А ты, вроде, не совсем глупый. Смотри, не вздумай дурить, — замычал начальник. — Если что, я с тебя три шкуры спущу.

Осень стояла ни вперед — к заморозкам, ни назад — к теплу. Застряла где-то посередине. Дождь то примолкал, переходя на мутную, стоящую в намокшем воздухе морось, то припускал опять, с новой силой принимаясь хлестать землю. Все вокруг вымокло, набухло, потяжелело и уже не впитывало воду, наполнившись до краев. Несколько дней подряд держалась редкая тишь, наверху тяжелое, взду-

тое небо находило еще порой силы шевелиться, будто отставляя в сторону отработанные, опроставшиеся тучи. После первых трех дней начала прибывать река, замолкло, захлебнулось ее бормотание. По Васюгану понесло мусор, заметней вздулась, пенясь, проносная вода, собираясь в белые клочковатые вихры, и снова выбиралась на быстрину и куда-то устремлялась, что-то показывала из себя.

Двигались по берегу, чтобы не заблудиться и не угодить в болото. Серко так и не дался оседлать его, капризничал, словно чуял что-то неладное. Спиридон вел его за уздцы, шлепая разбитыми ичигами по раскисшей земле. На второй день далеко впереди стали виднеться крыши домов, но это была обманчивая видимость, еще шагать да шагать. Кони устали, сам Спиридон едва передвигал ноги. Уговорил охранника передохнуть часок-другой. Тот согласился. Разложили костер, намокшие прутья горели плохо, пуская черный, густой дым, тонкие, слабые струйки огня задыхались в этом дыму, захлебывались и не давали тепла. Тучи с неба опустились так низко, что казалось, можно было затронуть их рукой. Укутавшись в брезентовый плащ, сопровождающий, похоже, задремал, согретый кружкой самогона, припасенного в дальнюю дорогу. «Пора, — решил Спиридон, — другого подходящего момента не будет». Винтовка брошена у костра, нож неосторожно оставлен рядом. Как специально. Беги, Громов! Конь охранника дрогнул, однако покорно пустил на себя седока, сохранившего запах родной конюшни, стало быть, не чужого. Серко прощально потянулся к Спиридону. Кто знает, может, он понимал все, что происходит сейчас и что произойдет потом. Надо бы пустить коня галопом, нельзя медлить. Однако, мелькнула мысль, сначала винтовку в воду и лишь затем медленно, тихо, даже не дыша, отправляться в рискованный путь, в мокрое, темное месиво ночи. Отдалившись немного, Спиридон обернулся. Одинокая фигура Серко была уже почти не видна, туман окутал ее, а вскоре и вовсе поглотил своей тягучей массой. «Прощай, родной. Не поминай меня лихом. Бог даст, еще побегаешь. Я вот уже бегу».

Заходить в деревню было нельзя, сидеть в лесу или гарцевать на коне тоже опасно. Оставалось одно, самое верное — идти. И он, отпустив коня, пошел. Судьба на сей раз была милостива к нему, оберегая от ошибок, служа поводырем, замечая за ним следы. Без еды и воды в тайге долго не протянешь, от кислой клюквы жгло в горле, сводило зубы. Днем приходилось таиться в ложбинах или чащобах, прятаться в густом сосняке, укрываясь ветками. Порой, забывшись, он не понимал, как, почему здесь очутился, что его сюда привело, затем вдруг начинал видеть каждый свой шаг и каждый свой час до того близко и ясно, что скребло, надрывая душу. Он все еще был не в состоянии

прийти в себя от случившегося и то подолгу сидел неподвижно, с пустым лицом, уставившись в одну точку, то срывался и принимался вышагивать меж кустов, как загнанный волк. Первые дни свободы, сама свобода оказались не такими уж сладкими, но все это проходящее, полная неизвестность ждала впереди. Как встретит беглеца тот мир, от которого закрыли его? Жалостью, прощением, пониманием, сочувствием, или этот мир холодно повернется спиной, ответит отчуждением?

Осторожничать приходилось изо всех сил. Показываться среди бела дня в деревнях он себе запретил; мало ли кто может повстречаться? Отсиживался на заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, глухо матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, пускался в путь. Хорошо еще, что дни стояли короткие. В одну из ночей Спиридон наткнулся в лесу на избушку. Около домика горел костер. Решив рискнуть, иначе до утра от голода не дотянуть, он шагнул в круг света весело трещавшего костра. Это была заимка лесничего, который оказался несколько полным, еще молодым, добродушным малым в русской вышитой кофоротке и в тужурке. Он смотрел заспанными глазами на костер и улыбался.

— Я уже седьмой сон видел, — сказал он, — обошел весь лес пешком, думал, до обеда посплю, а вы разбудили.

Жена его, молодая женщина с густыми темными волосами, стояла в накинутой вязаной кофточке у костра и, придерживая ее руками на высокой груди у подбородка, как бы согреваясь от ночной сырости, смотрела не проснувшимися еще глазами на огонь и тоже улыбалась. Но когда она медленно поднимала свои длинные ресницы, как бы украдкой взглядывая на незнакомого человека, в глазах ее мелькало любопытство женщины, давно не бывшей в обществе мужчин.

Минут через десять начистили рыбы, достали из мешка соль и стали варить уху. Женщина доверчиво говорила о чем-то не очень важном, подсыпала в котелок соль, пряную траву. Что бы ни говорил гость, она со всем охотно соглашалась, ловя себя на мысли, толчком отзывающейся в сердце: может быть, у этого человека какая-то глубокая внутренняя жизнь. И, может быть, она, забыв о себе, о своем самолюбии, должна его принять кротко. В самом деле, если бы этого не было, то почему же душа ее так неожиданно вдруг остановилась на нем, когда в его внешности не было ничего, что могло бы поразить воображение молодой женщины? Они встретились глазами, и было в этом скрещении взглядов что-то такое, что невозможно передать на словах. Тюрьма, голод, смерть, невзгоды, мытарства — все ушло куда-то за пределы сознания, как мелочь, не достойная внимания. Только

Богу известно, что они думали в эту минуту. Два сердца, два человека, которые понимали и чувствовали друг друга, сливаясь воедино во что-то светлое и чистое.

Так, где пешком, где попутчиком на перекладных, Громов добрался до родного села Птичьего, остановился перед его верхним краем и усталым, изможденным взглядом окинул расходящиеся на две стороны серые крыши домов. Село показалось ему еще меньше, чем было. Он смотрел на низкие, будто и не стоящие, а лежащие вдоль улицы избы с присевшими, похожими на заплатки окнами, с чуть не достигающими до земли крышами, неуклюжими заборами, и едва узнавал их. Громов наизусть помнил, где чья постройка, и все же, взглядываясь в них сейчас, чуть не перед каждой терялся: вроде та и не та — по месту, конечно, та, а по виду не понять. Столько годков минуло, но никаких чувств от этой встречи он не испытывал — не в состоянии был испытать. Здесь все было чужое: земля, дом, люди, даже небо. Чужое не потому, что теперь не принадлежало ему, чужое потому, что как бы вырвано из сердца и осквернено прилюдно, среди бела дня. Не было никакого желания снова быть на месте расправы, но он не мог пройти мимо могилки на погосте, где еще до революции похоронил жену Пелагею. Кольку родила, а сама вот померла, повитуха молодая была, вертлявая, сделала что-то не так. Может, и могилки-то нет уже, погромили. Уж если из кулацкого рода, то советская власть и мертвым не прощает. Ночью сходил на кладбище, с трудом нашел то место, посидел у холмика немного. Крест покосился от времени, могилка прогнулась, просела — некому было поправить. Сделал Спиридон свою нехлопотную работу, пригладил ладонями бугорок, пробормотал что-то на прощание и побрел прочь. Надо было зайти, пока темно, к Настасье, давней знакомой. Домик ее, теперь обшитый тесом и крытый шифером, стоял на самом краю села, как отшельник. Сельчане здесь бывали редко; чего тут делать-то без надобности? У Спиридона надобность была — хлебом запастись, сальца бы немного, табаку, спичек. Если все еще баба одна, может, и... теплом, и лаской поделится. Подумав об этом, Спиридон даже отчетливо представил, как это может произойти, но сразу же отбросил дурную мысль, укорив себя в бесстыдных намерениях. Не встретил Громов большой радости в доме Настасьи. За пособничество беглому ссыльному по голвке не поглядят.

Спиридон будто не услышал этого предостережения. Его рука, жесткая и сильная, обхватила Настасью за талию, прижала так плотно, что она притворно ойкнула, но и сама проворно обняла его, всем своим упругим телом источая жар женского тела, давно не знавшего мужской ласки и силы и почти забывшего ее сладость. Спиридон

задышал быстро и тяжело, словно кто-то гнался за ним, сграбастал Настю, повалил на пол, дрожащей рукою неумело хватаясь за маленькие, скользкие пуговицы на халате. Он вдруг почувствовал то горячее, то вялое, слабеющее сопротивление ее рук, так было тогда, в сосновой роще, где они, не замечая ничего и никого на свете, предавались бессознательному единению душ. Надо было что-то говорить, не останавливаясь, потому что, как только он умолкал, поглощенный борьбой с ее рукой, которая каждый раз встречала его руку на полдороги и не давала ей ходу, Настасья начинала беспокойно метаться и говорить, что не надо, что она боится и что, не дай Бог, их кто-нибудь застанет. Спиридон уже начинал чувствовать расстройство от невозможности сладить с ней. С одной стороны, было, положим, хорошо тем, что здесь не требовалось ни настоящей пылающей страсти, как при первой любовной встрече, то есть ни чистой молодой любви. И только нужно было силой своего чисто животного желания побороть естественное сопротивление как будто бы целомудрия и стыдливости, которые боролись с проснувшимся в ней инстинктом. И Настасья ждала только проявления покоряющей мужской силы, которая помогла бы ей преодолеть преграду стыдливости. А тут она сама нектати была такая сильная, что Спиридон вдруг со страхом подумал, что даже при ее согласии все могло расстроиться...

Потом они торопливо пили теплый, так и не успевший вскипеть на остывающей плите чай. Глаза Настасьи так же были чуть-чуть сощурены, а на губах скользила хитрая усмешка, как будто она смотрела на него независимо от его и своих слов. Широкие рукава ее ситцевого халатика то свободно спадали вниз, то далеко обнажали ее красивые руки, когда она поднимала их. И Спиридон никак не мог сладить с глазами, которые против воли останавливались на ее обнаженной руке, особенно белой и округлой у локтя, где с внутренней стороны изгиба в пухлой ложбинке виднелась синеватая жилка. И он не знал, быть ли ему скромным и спокойным и делать вид, что он не замечает обнаженной руки, или, наоборот, быть дерзким и прямо, не скрывая, смотреть на далеко обнажающуюся руку уже не молодой женщины. Тем более что он не знал, чего она от него хочет.

Еды Настасья не пожалела, собрала узелок и быстро, то и дело оглядываясь, повела Спиридона огородами к лесу. Густо пахло прелой ботвой и мокрицей, воробьи в кустах шумно возились, неожиданно поднимались стайкой и рассыпались в темноте, как горох.

Шагать вот так, молча, крадучись, после долгой разлуки, было неправильно, и Спиридон, только для того чтобы снова завязать разговор, спросил первое, что пришло в голову:

— Все одна живешь?

— Почему одна? Дочка у меня. В Шумихе у тетки гостит, на будущий год в школу пойдет.

— Дочка?!

— Ну да, дочка.

— Извини, конечно, я не должен тебя спрашивать об этом, да ты можешь и не говорить: кто отец-то ее?

— Ты, Спиридон, ты! Тебя как забрали, я от беды чуть руки на себя не наложила, ребеночек-то уже во мне шевелился. Все думала, куда я с ним в такое лихолетье. Ничего, притерпелось, выжили, как видишь. Но ты не бойся, я в лепешку расшибусь, а на ноги ее поставлю. Ладно, хватит об этом. В селе тебе больше показываться нельзя. На прошлой неделе был колхозный сход, из сельсовета приходили, милиционер из Шумихи приезжал — тебя поминали. Говорят, из лагеря сбежал опасный преступник Спиридон Громов. Еще говорили, что ты охранника камнем насмерть... Велено, если кто что-то знает о тебе, слышал или видел, немедля сообщить начальству. Ищут тебя.

Ни Спиридон, ни Настасья, конечно, и духом не ведали о том, что на самом деле случилось там, откуда бежал Громов.

Проснувшись, сопровождавший охранник обнаружил, что ни его коня, ни Спиридона нет, пропала винтовка и нож. Только от одной мысли о том, чем обернется для него сие происшествие, у милиционера похолодели руки, застучало в висках и вдруг намокли штаны. Серко, чмокая губами, мирно держался в сторонке, хвостом отгонял мух и, кажется, был доволен тем, что его никуда не ведут, не тянут за уздцы. В сердцах, матерясь и проклиная все на свете, охранник хрястнул коня кулаком в бок, хотел еще, но Серко вдруг резко и проворно, как жеребенок, увернулся и с силой брыкнул задними ногами. Пудовые копыта развалили грудь обидчика.

— Я тебе вот что скажу, — зашептала Настасья. — В лесу здесь мужики хоронятся, те, что колхоз на дух не принимают. Ты к ним иди. Тебя они приютят. По дороге в Шумиху, слева, на обочине большой крест стоит, помнишь?

— Как же не помнить.

— Дойдешь до него, сворачивай в чащобу, там скоро встретится лог, по нему и шагай. Остановят, скажешь, от Настасьи. Они знают. Понял?

— Понял, чего тут не понять-то?

— Все, ступай, ко мне больше не ходи. Надо будет, сама дам знать.

Заночевав в роще, которая, как и прежде, тесно прижималась к избам, Спиридон под утро еще раз, последний, издали глянет на родное село, вздохнет горько и безысходно и зашагает в пустоту. Несмотря

на долгое время отсутствия, первый же встречный узнал бы его: та же корявая, слегка вывернутая вправо фигура и все то же широкое, по-азиатски приплюснутое курносое лицо, заросшее черной клочковатой бородой. По шее беспокойно взад-вперед, как челнок, ходит острый кадык. И похудел, осунулся, поджался, а не надломился — видно, что сила и крепость еще остались в нем, казалось, тронь — и зазвенит от любого удара.

3

Волнения крестьян охватили страну. В Киргизии, в Базар-Курганском районе, толпа в 400 человек потребовала отмены коллективизации и конфискации нажитого добра. В ходе этого выступления были убиты два активиста, ранен милиционер и избит председатель хлопкового товарищества. В Азербайджане в отряде восставших под командованием участника гражданской войны, награжденного орденом Красного Знамени, было 250–300 штыков. В Нахичеванской автономной республике число организованных восставших доходило до 400. В боях с регулярными войсками повстанцы потеряли 218 человек убитыми, 218 — арестованы, захвачено 250 винтовок, 12 револьверов, две тысячи патронов. Побывав в Закавказье, в других республиках и регионах страны, кто-то из посланников ГПУ сообщил в Москву: «Активность бандитизма возрастает, продолжает действовать целый ряд организованных повстанческих групп, значительно обрастающих за счет контрреволюционных кулаков и спровоцированного населения. До сих пор серьезных разгромов банд не зафиксировано».

В результате привлечения регулярных частей Красной Армии и войск ОГПУ для подавления повстанческого движения было убито 2689 восставших, тысячи крестьян ранены и 7310 взяты в плен. Кроме того, многие тысячи недовольных коллективизацией и раскулачиванием арестованы и осуждены, 1266 приговорены к расстрелу. Только в Нижне-Волжском крае к середине февраля 1930 года арестовано 5048 человек, решением тройки ОГПУ 20 процентов из них расстреляны.

Крестьяне выступали не только против насильственной коллективизации, раскулачивания и других беззаконий, творимых в деревне, но и против огульного закрытия и осквернения церквей, ареста и преследования священнослужителей. Особенно болезненно это воспринималось в национальных районах, где влияние религии было велико. Закрытие церквей, превращение их в склады под зерно, красные уголки и клубы, глумление над религиозными чувствами верующих наблюдались повсеместно. Это вынужден был признать и

ЦК ВКП(б) в закрытом письме от 2 апреля 1930 г. «Головотяпство с административным закрытием церквей, доходящее до грубого издевательства над религиозными чувствами крестьян, зачастую подменяло необходимую и умело организованную работу в массах против религиозных предрассудков». Но именно Политбюро в постановлении от 30 января 1930 г. давало указания о закрытии церквей и молитвенных домов.

Вскоре после того, как была превращена в кучу пепла церковь в Кургане, бедняки по приказу начальства разгромили церквушку в селе Птичьем, которая и без того дышала на ладан. Убоявшись расправы, отец Прокопий вновь вынужден был бежать, на сей раз из Шумихи, и скрываться в лесу с десятком ожесточенных, униженных и ограбленных крестьян, поклявшихся мстить советской власти. К ним и привела судьба Спиридона Громова по подсказке бывшей возлюбленной Анастасии Егоровой. Масштабы мести были настолько велики, что появились указания не освещать их широко в печати. В письме Л. М. Когановича еще в январе 1930 г. предлагалось партийным комитетам «...избегать раздувания в печати и слишком частого помещения сообщений о террористических актах кулачества, давать эти сообщения с одновременным опубликованием репрессий за эти акты».

Колхоз «Большевик» в селе Птичьем — один из первых образовавшихся на территории Шумихинского района. Создали его в ударные сроки — за три дня. Согнали крестьян на собрание, составили список, зачитали резолюцию сельсовета о сдаче скота, плугов и прочего инвентаря в общественное пользование, то есть на колхозный двор. В отдельный список заносили тех, кто вступать в колхоз не захотел. Так скоренько, без лишних слов, прошла в селе всеобщая коллективизация. С самого начала дела в колхозе не ладилось. Плуги оказались старые, ржавые, в зазубринах, коровы недоильные из-за худобы. Сено косили в ненастье, и оно почти все сгнило в валках. Ни денег, ни кормов, ни техники. Председатель то и дело мотался в район, там руками разводили: сами, дескать, выбирайтесь из нужды, ничем помочь не можем. Едва перебивались с горем пополам. Люди посмеивались, понимали: не свое — значит колхозное, только глупый будет работать на общий котел. Хлеб убирать надо, а сыпать зерно некуда, сусеки просушить забыли, вот они и прогнили насквозь, затянулись плесенью. В своих-то дворах хозяева позаботились, все лето погребка держали нараспашку и сусеки, подпорки известкой проморили, чтоб червь не ел. Помчался председатель в райцентр на лесопилку за горбылем, надо же сусеки чинить. Не дали ничего, ни одной даже худой доски не дали — пилорама сломалась. Побег в райком. А в райкоме тоже не волшебники сидят. С пустыми руками, правда, не

отпустили — выделили из резервного склада десять мешков импортных химических удобрений. На что они деревне, где испокон веку навоз — одно удобрение? Чего удобрять, когда убирать надо. Свалили мешки за конюшней, осенью они раскисли от дождей, расплылись, над кучей поднялось парное ядовитое облако. Жуть! Скидали химию кое-как в короба да и свезли от усадьбы подальше, в речку Щучью, что неподалеку от дороги в Шумиху. Хорошая была речка, рыбешка в ней — мелочь одна, но кишела, хоть ведром черпай. Удобрения сделали свое дело, желтые круги окрасили воду, словно мухоморы на лесной лужайке. Рыбешка скоро всплыла вверх брюхом, берега похилились, трава на них почернела, а вода словно рассосалась, убралась с устья по ручейкам да заливчикам. Умерла речка, опростав глубокий, хлюпающий грязью ров. Осторожно, не слышно ступая по схваченному тонкой коркой льда насту, Спиридон плелся по ложине в указанное Настасьей место. И с каждым шагом, уже на исходе пути, ему начинало казаться, что в густой зелени кустов, по краям рва, что-то шелестит, происходит какое-то движение и оттуда на него кто-то застенчиво и тяжело смотрит. Он ощутил этот взгляд — пристальный, далекий, настоженный...

— Стой! — приказ прозвучал, как выстрел. — Чей будешь, куда путь держим?

— От Настасьи я.

— Какой Настасьи?

— Обыкновенной, какой же еще...

— Оружие есть?

— Есть.

— Покажи.

— Вот, смотри, — Спиридон вынул из кармана телогрейки кулак, криво усмехнулся: — Обыскивать будешь?

— Ладно, иди за мной.

Лагерь мятежников был почти не заметен в тени густых сосен и кустарника. Ни избышки, ни шалаша. Только хорошо приглядевшись, можно было усмотреть небольшие холмики, крытые дерном, и тонкие струйки дыма, просачивающиеся сквозь них. Землянки, вырытые на довольно большом расстоянии друг от друга, хранили в себе незатейливую партизанскую хитрость; будь они рядом, при облаве взять их пустышное дело — всех разом. А здесь пойдешь сообрази, где кто.

— Вот что, Громов, — сказал отец Прокопий с какой-то ласковой вкрадчивостью, — ты, конечно, больше моего на свете протопал. Видел больше, нам друг у друга занимать не к чему. Хороший совет слушаешь? Так мало надо нам, слугам Божьим, для покоя и счастья; всего лишь верить в праведность того, на что идешь.

Уставившись куда-то в земляную стену, Спиридон молча курил; разговорчивость батюшки была далеко не случайна, сквозь его тихие, обтекаемые слова нет-нет и проступала звериная, мертвая хватка, и теперь Спиридон твердо знал, что то, что шепотом, оглядываясь, говорили об этом человеке, все правда, да еще, по всему видать, самая ее маленькая часть, которая каким-то образом пробивалась наружу. Обдумывая положение, Громов сыпал пепел под ноги, все было ясно: и то, зачем его позвал Прокопий, и то, что он хотел от него. Взять бы и сказать попросту, что зря он замысловатые петли вокруг вяжет, но как скажешь? Брякнешь что-то невпопад, пристукнут в этой глухомани, не выберешься. У него добрый десяток вооруженных мужиков, что хочешь, по его слову сделают.

В этот момент между ними что-то намертво и замкнулось; батюшка, чуткий, привыкший хоть и к негласному, но немедленному подчинению, натолкнулся на глухую, непримиримую волю; это было так непривычно и ново для него, что он засмеялся, вздрагивая породистыми, тонкими ноздрями.

— Знаешь, Громов, мы ведь здесь не в куклы играем, вопреки Божьей воле вынуждены убивать, жечь ради жизни простых людей, над которыми надругались Советы. Господь простит все твои и наши грехи, ибо содеяны они во благо. Слышал, ты по лошадям большой знаток, подумай хорошенько, надо бы колхоз в Птичьем одним махом, но тихонько заделать безлошадным. Сам знаешь, как это можно. Настасья тебе поможет, если надо, могу дать пару ребят в помощь. Будешь готов, скажи.

— Ну, нет, я на такое дело не пойду, — решил Спиридон, выбравшись из землянки и закуривая. Он уже корил себя за то, что, поддавшись темному минутному чувству, совершил, видимо, крупный промах, сразу не отказавшись от задания. — Что ж теперь, травить коней мне, Спиридону Громову? Они-то, бедные, тут причем? Ах, волчок! Не на того нарвался, всю жизнь людям в глаза прямо глядел, а теперь что? Нет уж, сам не дамся и коней не дам!

Мшистые, пологие холмики землянок в густых соснах начали слегка, почти незаметно для глаза, подергиваться зеленоватой дымкой. Спиридон не зло, скорее, с горьким сожалением посмотрел на них. Его в эти минуты задевало другое. Он жадно вдохнул еле угадываемый знакомый запах зелени и впервые за все последние годы ощутил, что это скудное, утопающее на все четыре стороны пространство — это его земля и что ее у него никто не сможет отнять, ни при жизни, ни в смерти, и ему стало невыносимо больно. Острыми, уставшими глазами он обежал зубчатый далекий горизонт.

Отец Прокопий от замыслов своих отказываться, похоже, не собирался. Когда-то в молодости, будучи учеником духовной семинарии, он прикипел к изучению мудреной науки — химии. Ночами просиживал над книгами, собирал в лесу разные травы и корешки, келья всегда была заполнена кислотовато-горькими запахами отваров и настоев. Были среди них лечебные, а были и такие, что одной капли хватало, чтобы убить любое живое существо. Почему вдруг вспомнилось это батюшке? Неожиданная мысль уже не давала ему покоя, заставляла действовать, не откладывая задуманное на завтра. Разных трав в лесу полно, найти нужную среди них не составляло труда. К утру яд был готов. Вечером посыльный передаст флакончик Анастасии, а там уже дело техники. Прокопий мысленно представлял себе, как тащат бабы на коромыслах воду из отравленного колодца, как валится потом с ног один, другой, третий... И некому пахать и сеять, поставят черный крест «Большевику», и будет этим самым ему заслуженное возмездие за все лишения.

Беда пришла в село, народ обуяла паника. В одной избе лежало двое в жару и беспмятстве, в другой — четверо, а в иных избах даже напиться подать было некому.

— Вот всегда это время вредное какое-то подойдет и пошло косить, — говорили мужики. — Роса, что ли, такая падает, а может, напскает кто.

Председатель колхоза, вспомнив свою полезную профессию, забросил дела по хозяйству, ходил по дворам, мазал всех подряд мазью, от которой больные дня по два лезли на стену, клал ногами на восток и брызгал какой-то водой. Так как он за это ничего не брал и делал только в силу непреодолимой страсти к лечению, то ему не препятствовали делать что угодно. И только просили, чтобы мазал немного.

— Чем злей берет, тем лучше, — говорил довольно председатель, важно одергивая свой замасленный ветеринарный халат. — Нежные очень стали.

В своем лечении он придерживался исключительно собственного усмотрения, докторов презирал и почти ненавидел за то, что они пишут что-то непонятное на бумажках, требуют чистоты и дают лекарства, которые приготавливаются в городе у всех на виду в аптеке. И когда из города приехал доктор, которого прислало начальство, председатель обиделся и засел дома.

— Пусть теперь хоть все подохнут, — сказал он себе и прибавил: — Еще больше напушу. Хоть это чужих рук дело, а я еще и от своих рук прибавлю.

Приехавший доктор осмотрел больных, сказал, что прежде всего надо бояться заразы и соблюдать чистоту.

— А то у вас тут бог знает что развели...

Мужики тоже оглянулись, обвели глазами стены и потолки, но ничего не увидели и не поняли, что они развели.

Привезенные лекарства долго болтали и смотрели на свет, сомневаясь относительно того, что они какие-то бурые, а не светлые, как вода, которую дают все знахарки. И когда со страхом давали больному, то сейчас же спрашивали, едва только он успевал проглотить, лучше ему или нет. А когда тот слабеющим языком говорил, что не лучше, опасливо отставляли лекарство подальше и, махнув на него рукой, говорили: «Бог с ним...»

Но если микстуру пробовали пить, то порошки высыпали от греха подальше на улицу да еще закладывали это место камнем, чтобы скотина не подлизала. Мази ветеринара хоть и драли до живого мяса, зато действие их было на глазах: помаялся дня два — и ладно. Здесь было все ясно и потому нестрашно. А многие старички даже отказывались от помощи, так как считали грехом всякое лечение из соображения, что, может быть, Господь хочет пред лицо свое светлое их взять, а они будут тут упираться и мазями мазаться.

Войне, объявленной «лесными братьями» советской власти, не суждено было стать долгой. Силы были явно не равны, да и власть, крепко получив по загривку, вдруг запоздало начала понимать, что сборища этаких ущербных романтиков, выступающих под флагом народных мстителей, довольно быстро превратились в обычные банды, собравшие в себе уголовников. Истинные борцы за справедливость и права крестьян скоро разуверились в успехах своего движения и вернулись в мирную жизнь, продолжая обреченно подчиняться произволу и насилию со стороны власть предержащих. Пропал всякий смысл вредить колхозам и убивать сельсоветчиков. Создаваемые наспех, в угоду вышестоящему начальству, коллективные хозяйства сами по себе лопались, как мыльный пузырь. Что же касемо партийных и советских чиновников, то для них в одночасье пришла пора самим сушить сухари. Уничтожив середняцкий класс на селе, сталинская клика, засучив рукава, взялась за истребление самих экспроприаторов. Непрекращаемо текли эшелоны арестантов в Сибирь-матушку. На одних нарах коротали дни председатели колхозов и убийцы, государственные деятели, простые колхозники и доктора наук, писатели и насильники.

Десяток мужиков в урочище подле мелкого по всем измерениям села — разве это сила, способная противостоять армии, НКВД, милиции, тоталитарному режиму? По доносу жительницы села некоей Настасьи, в урочище неподалеку от села Птичьего лютой декабрьской ночью прибыл спецотряд по борьбе с бандитизмом. Дюжие ребята с автоматами за несколько минут окружили лагерь мстителей и

без всякого предупреждения открыли огонь. Четверо были убиты, остальные сдались. Отец Прокопий так и не выбрался из своей землянки. Его нашли с дыркой во лбу на коленях перед иконой Николы Спасителя. Видать, молился батюшка напоследок, перед тем, как отправить себя в мир иной.

Суд в ту пору скорый был — тройка во всех ипостасях. Приговор стандартный — расстрел. А Громова вдруг пожалели: в убийствах не участвовал, в грабежах — тоже, так, исполнял кое-что по мелочам. «А, черт с ним, пускай посидит, подумает». Приговорили к десятке без права переписки. Трясая на полу в вагоне Спиридон, и мысли разные лезли в голову: «Настасья-то — вот гнида, «лесных братьев» заложила, общие денежки в мешок, и не поминайте лихом. Деньжат и ценностей там было — на сто жизней хватит. Отец Прокопий тоже умный был, а бабу не раскусил, разве можно доверять бабе? Сейчас где-нибудь в теплых краях прохладается. Дочку у тетки в Шумихе бросила. Ну да, зачем она ей теперь, при деньгах-то?»

Думай — не думай, а десять лет на нарах — это не малое времечко, хотя для сильного человека — нормальный срок для того, чтобы, не спрашивая паспорта или справки, понять сходу, кто перед тобой. По глазам понять, по цвету лица, по движению головы. Я шесть с лишним месяцев, до сих пор думаю, что по ошибке, а хуже того, по чьему-то недоброму желанию, пробыл в окружной больнице (это там, где легкие лечат), замечательно себя чувствуя и ни на что не жалуясь. Скажу не в укор тамошнему медперсоналу (врачи, медсестры и санитарки в большинстве своем замечательные люди). Так сложилось, что стационарное отделение постепенно превратилось там в приют для парней, освободившихся из зоны, все почти — образец открытого туберкулеза, с симптомами неизлечимой наркомании, алкоголизма и целого букета венерических штучек. В палате со мной было трое: убийца, грабитель и насильник. Да и я тоже пока только просто журналист. На всю говорильню врачей о соблюдении больничного порядка никто, конечно, всерьез не реагировал. Целый день вход и выход свободный. Одно название магазина «Пикник», который находился на соседней улице, наводило на вольную мысль о том, что жизнь прекрасна и удивительна. Бери пол-литра, влезай в покои через окно в туалете, где тебя уже ждут собутыльники, и никаких проблем. Кормят в больнице как на убой, причем неплохо; раз в неделю одевают во все чистое, дают шампунь, зубные щетки, свежие полотенца. И таблетки, другого лекарства здесь нет, горстями всем подряд, одни и те же, без разбору. Кто по-честному пилюли принимает, чтобы выздороветь, кто глотает, чтобы закусить... Результат время покажет. Частенько охолодевшие трупы выносили во двор со второго этажа в

катафалк, называемый здесь «трупоборочной машиной». Больные, кто еще имел силы, в брезентовом мешке с застежкой-молнией волкли покойника по крутым ступенькам вниз. Голова по ступенькам брякала, словно полено: бум, бум...

Пока мы ели манную кашу, рожали детей и внуков, на свободу из тюрьмы вышел Спиридон Громов. Нельзя в общем-то говорить вот так: зашел, вышел. Надо, наверное, говорить освободился. Поезд трещит, как лесопилка, трясет. Спиридон ехал в Ханты-Мансийск к сыну. Зачем?

— Ты не рассердишься, если я усну? — слабым голосом спросила соседа внизу обитательница верхней полки.

— Спи, спи.

Он приподнялся на локте, чтобы видеть ее. Она уже спала. Красное от зимнего загара круглое лицо обмякло и светилось сквозь сон вольной улыбкой. «Боже! Неужели Настасья?!» — обожгло Спиридона. Ее лицо за эти годы чуть огрубело, с него исчезло совсем девическое нетерпение и удивление, которые вечно были на виду: ой, как интересно! А что дальше? Сказка скоро кончилась, все тайны открыты. А если и выпадало иной раз что-то еще удивительное, то оно догоняло, казалось, из прошлого, из того, что в спешке было пропущено по пути. Не выдал себя Спиридон, все в себе уложил — в душе. Выгрёбся из вагона в Тюмени, потом по реке, по Иртышу. За годы перестройки окружной центр перестал быть городом, который можно полюбить с первого взгляда, утратил свой первозданный вид. Все вижу, словно наяву. Дошатаые тротуары, идешь, бывало, они где-то под ногой прогибаются. Так ведь это здорово, когда не ты, а под тобой прогибается. Словно в какой-то звериной злобе вырублено в черте города все, что приняло тупое насилие топора. Новый город, подавивший живое в себе, поглотивший некогда пышное убранство улиц и переулков, способен вызвать теперь, скорее, горестное сострадание.

Невыразимое это чувство, когда идешь по вьевшемуся с детства в память и в душу городу, который утопал в березах и тополях, затем постепенно менял облик, как молодящаяся старуха под толстым слоем пудры, расплзался из центра хмурыми высотками и безвкусно одетыми в бетон конторами. Приметы вроде бы знакомые, ждешь привычных видов, но то, что открывается взору, на самом деле чужое. Мучительно напрягая память, пытаешься перекинуть мост из города своей памяти в сегодняшний день, но это никак не удается. Насквозь прогнившие убогие избушки, словно смердящие останки прошлого, словно обманчивый болотный светлячок, слабо держатся за клочки земли по дороге в Самарово. Все это в издевательском соседстве с дологими бетонными, бестолковыми строениями.

Нет теперь ни старого доброго кинотеатра, ни деревянного Дома культуры, универмага тоже нет — стоят на их месте бездарно скованные сооружения: офисы, банки, конторы. Под ними холодный бетон: все в каменном охвате. Как в склепе.

Поймет ли кто-нибудь, что новый город не должен быть непременно лучше или хуже старого, на самом деле это почти что все равно, он просто-напросто иной и может запечатлеться в памяти кого-то другого, для кого он не был с самого начала родным. До какой степени должен быть разрушен старый город, обращен в прах, чтобы он навсегда утратил свое дыхание и душу?..

Люди на улицах шевелятся угрюмые, темные, без следов радости, лица, словно остывающие болванки из-под пресса. Бесчисленные учреждения; бледные, делающие из себя значимость, худосочные чиновники в замусоленных галстуках. Но вот что, пожалуй, больше всего приводит в полное уныние — это женщины. Они какие-то одинаковые, словно из инкубатора, плоские, как плаха, и будто всегда побитые, вываленные в известке. Могут ли позволить себе красавицы, коими испокон веков славилась Югра, искать свое счастье здесь, где каждый второй — смуглолицый азиатский «брат» с холодными, жадными, темными глазами? Где — и это в столице самого богатейшего в стране автономного округа — самая паршивая отечественная парфюмерия в цене шедевров матушки Шанель? Печальный город не подвластен разуму равнодушного человека. Радоваться надо бы, что на месте кулацкой Перековки торчат глухонемыми изваяниями высотные дома — время такое, что поделаешь. Нет. Не укладывается в мозг. Тяготит: горестно и неудобоваримо для сердца — принимать то, что несогласно с разумом и доброй памятью.

4

Николая приезд отца, похоже, не обрадовал. Конечно, он на этот счет и виду не подавал, суетился, говорил что-то смешное, помогал Анне таскать на стол тарелки.

— Давай, папа, оставайся у нас, места всем хватит, по хозяйству присмотришь за внуками. Проживем как-нибудь. Даже в такой обстановке, уготовленной нам Россией-матушкой, можно вертеться и жить.

Можно было возмутиться; какое право он взял, поднявшись и став здесь человеком, говорить так о своей родине, но Спиридон не возмутился, он для того, казалось, и начал этот разговор, чтобы слышать, что имеет ответить сын, что нажил он за последние годы самостоятельной жизни, чем дышит и какими правилами руководится. И что бы сейчас не ответил Николай, все следовало принимать спокойно и

раздумчиво. А почему, правда, и не поискать в его словах разумный смысл, ведь он как-никак взрослый и вроде неплохой человек, и это он заменит скоро отца на земле — нет, лучше сказать, не на земле, а на свете. От земли он отошел и, похоже, никогда к ней не вернется. И если Спиридон продолжал говорить что-то о своих судимостях, сомнительной репутации, так не для того, чтобы разуверить в себе сына, а чтобы знать его ответы.

— Это ты зря. У нас не так уж и плохо. Это не старая деревня, где мы с тобой сидели, — Спиридон покосился на Анну, боясь ненароком обидеть ее; к новому колхозному селу он и сам не испытывал любви, но что верно, то верно. — У нас там будет, как в городе, к тому дело идет. Ты бы видел, что вокруг творится.

У них не существовало каких-то особых отношений — ни плохих, ни хороших, каждый, можно сказать, жил сам по себе. В детстве, правда, отец приглядывал за ним, но только приглядывал, почти не вмешиваясь в его занятия и заботы. Сыт, обут, одет — справлен во всем, что требуется от родителя, — и достаточно, а к жизни пусть приучается самостоятельно, на то он и дал ему голову и руки. Он не поучал сына и не воспитывал, он и не знал, что такое воспитание, с чем его едят. Жизнь, считал он, любого воспитает, сделает из него то, на что он годится. Надо было — одергивал, нет — оставлял в покое. Если Николай спрашивал что-то, объяснял, причем объяснял обстоятельно, толково, радуясь, что сын интересуется, а он может показать и рассказать. Если видел, что тот тянется к чему-то полезному, по-такал, подмечал, что умеет, но насильно никогда не подталкивал, не имел такой манеры. Сам пусть до всего доходит, сам, крепче выйдет учение. Лишь однажды, сколько Николай помнил, отец помог ему разобраться, что хорошо и что плохо; когда провинившись, свалил вину на соседского мальчишку. Отец снял с крюка ременные вожжи и поучил — лишь однажды. А сейчас, как быть сейчас? Дочь — учительница, сын — большой человек в нефтяной компании, другие дети тоже на хорошем счету, их любят, ценят, уважают, ими гордятся. И вот родной дед — судимый за бандитизм, бывший кулак, убийца. Конечно, Николай и с себя не снимал вины, ведь не случайно он теперь в Ханты-Мансийске, а не в селе Птичьем, не случайно и дети его страдали от этого. Надо ли снова осложнять жизнь?

Угадал Спиридон мысли сына, заговорил расплывчато, но можно было понять ход его размышлений:

— Пересудов людских боишься... Что они тебе? Люди, как собаки: кто где не так пошевелится — они в шум. Полаяли и перестали — и опять ждут, кто бы себя чем выдал. Конечно, на тебя напустятся — не без этого. Помоют языки, постараются. О хлебе забудут, дай им толь-

ко тебе косточки перемыть. Ну и пускай славят, пускай чесотку свою чешут, это ж у людей чесотка, зуд, обязательно надо кому-то косточки перебирать. Они без этого не могут. А ты знай помалкивай, делай свое дело и не дразни их — скорей уймутся. А потом и до кого другого очередь дойдет, и ты уже вместе с людьми окажешься. В первый раз так, что ли? За то же самое, за что они осуждали, они тебя потом похваливать начнут. Да случись такое у них, неизвестно, кто себя как бы повел. Не людей — себя слушай. Ты знаешь, как было, что ни перед кем ты не виноват. Этим себя охраняй, этим спасайся, этим. Конечно, не сладко тебе придется. А сейчас-то сладко разве?

— Я не жалею.

— Что жаловаться — так видно.

Они не заметили, как затихла звякавшая в окне стеклина, как в доме сначала посветлело, а потом стали настаиваться спокойные сумерки. Ветер пронесло, и только отбившиеся от него, закружившие где-то порывы изредка бестолково налетали и опадали то у одной, то у другой стены. Печка протопилась и почернела. Никто не знает, когда еще выдастся Спиридону погреться возле нее.

5

И дернул же нас черт сунуться в этакую глушь. Это Петрович можно не переживать; здесь каждый кустик, каждое деревце ему знакомо, при надобности могут послужить и крыши, и постелью. Он ведь и рыбинспекцию-то в свое время принял под начало исключительно из полюбовных побуждений к природному раздолью. В анкете честно написал: образование высшее, дурных привычек не имею, социальное происхождение — потомственный враг народа, сын кулака, сосланного в Кондинский район ХМАО без штанов. В отделе кадров только посмеялись. Кабинетная работа Петровича угнетала, а здесь, в тайге, на реке или озере, он чувствовал себя вольной птицей. За добрый десяток лет не единожды шагами измерил здешние урочища. Мое страстное желание поохотиться, причем не важно на кого, будь то белка или селезень, инспектор не понимал, не находил в нем сколько-нибудь объяснимого смысла, кроме баловства и совершенной ненужности. А взял меня с собой с тайной надеждой, что, соприкоснувшись с еще нетронутой первозданностью таежного мира, я изменю свои намерения, отдав предпочтение природным красотам, добру. Природа, человек и добро — такая совокупность показалась мне сначала немного странной, и Петрович долго, немного путано пытался мне объяснить:

— Ни в какие времена люди не приближались, вероятно, к подавляющей доброжелательности, и всегда на одного склонного при-

ходило двое-трое уклонных. Но добро и зло отличались, имели собственный четкий образ. Не говорили: зло — это обратная сторона добра с тем же самым лицом, косящим не вправо, а влево, а считалось, что зло — это еще не обращенная, вроде язычества, в лучшую нравственную религию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной натуры, которая не понимает, что она делает дурно. Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что одна толпа людей эту черту уже переступила, а другая часть — еще нет. Но все направлены в одну сторону — к добру. И с каждым поколением число их увеличивается.

Что такое теперь хороший или плохой человек, я, признаться, понимал смутно. Устаревшие слова, оставшиеся в языке как воспоминание о дедовских временах, когда с простотой и наивностью человека оценивали по его душевным жестам, по способности или неспособности чувствовать, как свое собственное, чужое страдание. В житейской же практике уже тот ныне хороший человек, кто не делает зла, кто без спросу ни во что не вмешивается и ничему не мешает. Не естественная склонность к добру стала мерилем хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души.

Вертолет плюхнулся в жухлый мох, в самую середку большого болота, усеянного темно-багровой клюквой. Именно здесь через пару дней мы должны ждать «восьмерку», которая подберет нас по пути домой.

Трудно, проваливаясь в холодную мутную жижу, мы добрались до подступившего к самому краю болота сосняка, кулями рухнули на мокрую траву. Жарко. Даже не верится, что октябрь. Впрочем, осень с ним всегда подкрадывается неслышно. Странная, задумчивая пора. Больше томит одно ожидание ее. В городе, бывало, замечаешь — попрятались птички, не стало в одну ночь, и опустело небо, загрузило вдруг, иная обозначилась в нем глубь и ширина. И вздохнешь: осень. Глянешь — лист в тополях огрубел, сохнет. По асфальту — что ни день — больше этих крупных желтых свалившихся листов. Случается, хватит ветром, понесет, заметет, закружит, Тут она — осень. Вот и женщины вроде б ласковой стали, смягчились взгляды, округлились бедра. Женщин тоже тревожит октябрь...

Петрович толкает в бок. Надо подниматься. Где-то должно быть озеро, там сладим шалаш, костерок, а утром, на зорьке, засядем в кустах. Утка, она хитрая, на любое движение, на любой шум настораживается.

Ну, вот и озеро. Располагаемся. Петрович сказал: «рассупониваемся». Я такого слова не знаю, но оно мне сразу понравилось. Звучит

красиво, загадочно и романтично. Итак, рассупониваемся. Вскоре из шалаша начинает доноситься могучий храп Петровича. Стынет на схлынувших углях котелок, как-то сразу, в считанные мгновения все вокруг поглощает липкая, тугая ночь. Но я еще успел заметить, как копилась в небе широкая осенняя грусть, и звезды, понимая ее, вдруг начинали светить с остатней, умеренной ясностью. Тихие, будто одетые в позолоту, в алой паутине, в сиреневой дымке тлели на озере волны. Любо было мне в этой вселенской тишине смотреть, как тянут все вправо на север небесные знамения созвездий — вечный круговорот времени. И ощущалось так, будто я уже не принадлежал себе, тому же времени, входил в его суть и двигался вместе с ним, растворялся в нем, и звезды хороводили меня, увлекая в том запредельном неосознанном движении.

Утро встретило недобро. В небе еще держались тучи, подсохшие и сморенные, словно надоевшие сами себе, но восточная, утренняя сторона была чистой, и солнце выкатывалось без помех. И пока оно поднималось, тучи, рассыпаясь и сквозя, все отступали от него и отступали — и наконец, как льдины, растаяли совсем. Петрович, сунувшийся к костру, сразу обнаружил мой в ключья разорванный рюкзак, который я, кажется, забыл впопыхах повесить на сук, как тому учил меня Петрович перед отправкой на охоту. Весь запас провианта оказался похищенным, а скорее всего, съеденным неизвестным четвероногим злоумышленником. Но не это сильнее всего огорчило меня — разбросанные вокруг пачки сигарет были варварски растоптаны и являли собой печальную картину полнейшей непригодности. Чем больше я казнил себя за случившееся, тем нестерпимее мне хотелось курить. Не дождавшись привычной порции никотина, легкие принялись жадно наполняться воздухом, от этого начинала кружиться голова. Стараясь утешить меня, Петрович горько вздыхал, покачивал головой, потом вдруг сорвался с места и, не проронив ни слова, нырнул в лениво вызревающий рассвет. Вернулся скоро, представ передо мной с охапкой жухлого лишайника. Потом все это около часа сохло на костре, источая запах залежалого прошлогоднего сена.

— Сам-то я к табаку отношусь очень отрицательно, — молвил Петрович. — А вот старые таежники сказывали, будто такая трава не хуже самого дорогого заморского табака. Ее только хорошенько просушить надобно, — с усмешкой глянул на меня. — Ты хоть «козью ножку»-то скрутить сумеешь?

«Козью ножку» я, конечно, крутить не умел, поэтому Петрович со знанием дела раскрыл листок из моего блокнота на узкие полоски и, посплюнявив один из них, принялся что-то ловко мастерить на выпяченной коленке. При первой затяжке густой едкий дым ударил в мои

ноздри настолько свирепо, что я едва не потерял сознание. Но скоро свыкся, и мне уже начинало казаться, что ничего более ароматного, чем сигарка, на белом свете нет.

Правильно говорят: беда в одиночку не приходит. Не дав нам залечь в устроенные из веток укрытия, заморосил мелкий и вредный из-за своей настырности дождь. Сеять занялся, похоже, надолго, не суля и минутных просветов. Иногда, правда, казалось, что в бегущей рвани косых, мокрых, растянутых с запада облаков проглядывало такое же мокрое, бледное, бегучее и бессильное солнце, но оно сразу же терялось в мороке, и дождь снова сеял прямо и густо, не оставляя нам никаких надежд.

— Идем в шалаш, чего мокнуть-то? — чему-то радуясь, предложил Петрович. — Пошли, все одно об охоте в такую непогоду не может быть и речи.

Немного согревшись из фляжки, инспектор закинул руки за голову, вытянулся во весь свой могучий рост так, что ноги оказались за пределами шалаша.

— Давай, Александр, поговорим о бабах, что ли...

— А чего о них говорить? Все известно, — отмахиваюсь я.

— Все, да не все, — не унимается он. — Никто еще не разгадал до конца женскую тайну. Вот у нас в инспекции был один. Во — ходок!.. В годах, а все по молодым масть держал, холера. Поговорку любил: не оставляй, дескать, работу на завтра, а бабу — на старость. Хо-хо-хо! — смеется. — Смекай. Он, повеса, ни одну бабу — девку мимо не пропускал. Ага. Ту хватит, эту щипнет. Они от него отбиваются, плюются, как от козла, а он все одно лезет. Все заглядывал, какая толще. Таких больно уважал. А ведь любили его. И любить-то вроде не за что, а любили. Вот и пойми их.

Петрович снова прикладывался к фляжке и все будто оценивал меня с обычным своим превосходством. Меж спутанных ресниц, как небо сквозь осенний бурьян, проглядывал веселый, знающий глаз.

— Про золотую-то бабу слышал?

— Приходилось.

— Вот разлеглись мы тут с тобой, словно телята на мякине, а она, Божья посланница, может, где рядом держится, сверлит нас глазами огненными и слушает. Сказывали мне манси, будто когда-то спрятали местные жители золотого идола с бабьим обликом где-то в тайге от опричников, которые налетали в здешние края, как черные вороны на добычу, ясак собирали: пушнину, рыбу, дикоросы — все хватали, что под руку попадет. Обирали здешний народ до нитки. Наших с тобой родителей тоже грабили, только не опричники, а Советы. Так вот, спрятали, значит, идола, где, никто не знает.

Может, и не было никакой бабы, а люди в нее верят. Стала она как бы символом веры, что ли, знаком надежды, правды и справедливости. Жило убеждение у людей, что благость от нее исходит неземная к тем, кто верует в ее могущество, в ее божественную силу.

Ни в назначенное время, ни на следующий день вертолет не прилетел. То ли забыли о нас, то ли ненастье мешало — не знаю. Только остались мы в дремучей тайге без куска хлеба и всякой надежды выбраться отсюда. Я предался беспросветному унынию, а Петрович хранил угрюмое молчание, ничем не выдавая своих, должно быть, тоже невеселых мыслей. Мокрые и голодные, от брусники сводило живот, мы, уткою качаясь, уныло брели неведомо куда. В один момент Петрович вдруг склонился влево и твердо, словно лось, зашагал вглубь сосняка.

— Ты куда?

— Не куда, надо говорить, а далеко ли. Так спрашивай. Тут верст пять будет, если напрямиком, через урман. Деда Спиридона навестим. Раньше у него на заимке рация была, хотя кто знает, может, ни избушки, ни его самого давно уже нет. Сборщики живицы долго на одном месте не задерживаются.

Шли и вправду недолго. Внезапно лес оборвался, оставив нас на краю небольшого озерка, затянутого матовой с рыжеватыми отблесками тиной. Петрович заметно насторожился, замер, чутко вслушиваясь в неясный шум, доносившийся из густых зарослей осоки. Там что-то булькало, хлопало, словно возился медведь. Так неожиданно и громко было это бульканье, прерываемое протяжным, жутким и незнакомым мне звуком, что начинало казаться, будто кто-то захлебывался там и пытался кричать коснеющим языком. С нашим появлением шум то стихал, то нарастал вновь, как бы испытывая наше любопытство, и мы осторожно раздвинули ветки кустов. Безумная голова с расставленными ушами, именно голова, глядела на нас вытаращенными в последней жути глазами, потому что все туловище олененка, а это был он — насмерть перепуганный, оцепеневший в своем бессилии — уже было засосано жижей, погрузилось в нее. Наверное, он захотел пить, полез к воде, оступился и сразу начал оседать в жидкий торфяной кисель между узкими свесами берега. Выбраться не было никакой возможности, и топь вот-вот должна была скрыть его, и каждое шевеление животного лишь отягощало его положение. Олененок задирает голову, хрипел и тарашился. А я не переставал терзать Петровича за рукав: «Спасать его надо, Петрович! Ну что же ты, давай немедленно что-то делать, ведь погибнет он, погибнет!» Словно повинувшись строгому указанию откуда-то из глубин подсознания, мы принялись тащить несчастного за уши. Однако это не по-

могало. Тогда Петрович сбросил с себя куртку, встал на четвереньки, сунул руки в кофейную жижу и ухватил страдальца за переднюю ногу. Головы их по-братски столкнулись. Петрович напрягся так, что, наверное, трещали его жилы. Мало-помалу общими усилиями нам все же удалось вызволить беднягу до основания передних ног. Силы быстро оставляли нас, и вдруг будто откуда-то из-под земли возник невысокого росточка человек в драной фуфайке с пестрыми в крапинку заплатами на локтях. Я успел заметить эти локти, потому что они мелькнули перед моими глазами, властно, бесцеремонно отталкивая нас. Мужичок сграбастал утопающего огромными руками за бока, шумно выдохнул, прижался грудью к его шее и одним рывком, надсадно фыркая и сопя, выдернул его из трясины. Олененок вскочил, ошарашено повел смоляным глазом и что есть прыти кинулся в чащобу, оставляя за собой коричневатые, веером разлетающиеся парные лепешки.

Так состоялось мое знакомство с любопытнейшим человеком, о котором еще до встречи с ним я знал от его сына, наверное, больше, чем он сам знал о себе. Спиридон Громов нашел свое пристанище далеко от людей и, кажется, не жалел об этом. Здесь, обитая наедине с первозданной окружающей средой, он почувствовал себя живой, независимой частичкой этой среды. Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, работа, люди, с кем вместе в праздники и в будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важнее другой. Захромает одна — весь свет в наклон. Это только в детских глазах мир выглядит как чудесный подарок, сияющий солнцем и наполненный людским доброжелательством. Чем дальше от рождения, тем больше поднимающееся солнце высвечивает его разнობой. В младых летах Спиридону казалось, что эта незаконченность в долгой и тяжелой работе, требующей продолжения, но затем стало видно, что, не будучи достроенным, он расшатался и на старых основаниях, а люди торопливо возводят все новые и новые, раскачивающиеся на незакрепленных низах.

В долгих и обрывистых раздумьях перебирая жизнь во всем ее раскладе и обороте, пришел Громов к одному итогу: чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот: дома! Поперед всего — дома, а не на постое, в себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве, где все имеет определенное, издавна заведенное место и службу. Нигде не получалось у него быть дома. В себе полный тарарам, как на разбитом и переворошенном возу. А коль нет приюта ни там, ни там, не будет его, как ни старайся, и посередине. Страшное разорение чувствовал в себе Спиридон — будто прошла в нем иноземная рать и все вытоптала, оставив едкий дым, оплавленные череп-

ки и бесформенные острые куски от того, что было как-никак устоявшейся жизнью. Не сказать, что он и раньше жил в полном согласии с собой, во всяком даже и совсем довольном человеке всегда что-то выходит из повиновения и принимается то ли скулить, то ли требовать. Спиридон знал, чем поправляется это нездоровье — работой или добрым делом. Он не делал доброе дело только ради того, чтобы, как зельем, смазать им ноющую рану, оно делалось само, и боль постепенно утихала. Он понимал, что не потерял способности чувствовать и болеть. Вопреки желанию, поперек воле, не спрашивая согласия, судьба выбросила его на обочину, и, что удивительно, именно здесь он нашел свой приют, отдохновение душе.

Лицо его сильно заострилось и высохло, даже сквозь бороду видно было, как обвисли на нем щеки. Глаза застыли и смотрели из глубины с пристальной мукой. Борода казалась уже не черной, а грязно-пегой, завитки на ней делали ее и того более неряшливой. Голову он держал, подав вперед, словно постоянно всматриваясь или вслушиваясь во что-то перед собой. Волосы на голове он недавно подбирал и остриг на ощупь, они висели неровными обрезками. Держался Спиридон прямо, откидывая при ходьбе голову назад, но едва садился, сразу опускал голову, прикрывая глаза, и заходил в гулком утробном кашле, бухая всем своим прокуренным нутром.

Подле крыльца, ведущего в ладно срубленную избушку, томился в ожидании хозяина облепленный серым облаком гнуса пес. Иногда он взбрыкивал, мотал кроткой головой, передергивался всей кожей и тщетно пытался достать хвостом овода на нежном месте под брюхом. Завидев Спиридона, доверчиво метнулся к нему, горестно округлив обведенные мукой глаза. Я, еще не остывший от только что случившегося на озере, принялся неумело жалеть его, оглаживать иссеченную оводом лобастую голову, шею и уши. В большом чугушке на каменке доходило мясо, фыркало на сковороде сало. Все это вскоре перекочевало на стол, где уже стояли почерневшие от чая алюминиевые кружки, о которые взволнованно позвякивала фляжка Петровича.

— С утра на сердце беспокойно было, — признался Спиридон. — Так и думал: что-то должно произойти, хотя что может войти в покой этого сонного царства? Давеча, правда, почудилось, будто стучится кто-то в дверь...

— Это к тебе, дед, золотая баба ломилась, не иначе. Неужто не пустил бы? — посмеивается Петрович.

Спиридон не обижается. Напротив, течение его заветных мыслей, охотно разделенное инспектором, заставляло выговориться, отвести душу за долгое время одиночества, от которого порой начинают лезть

в голову всякие причудливые, неестественные образы, способные помутить рассудок даже такого привыкшего к жизни наособицу человека, как Спиридон Громов.

— А что, — серьезно продолжал хозяин, — окажись она рядом, обеими руками уцепился бы за нее. Я ведь часто вижу во сне, что стоит лесная богиня на порожке, очи огнем горят, грудь белая высоко вздымается, и тихо так, неслышно почти, молвит: «Благодарю тебя, Спиридон, за то, что живешь ты великою думой обо мне, что желаешь через меня принести людям покой, счастье и добро многое. Пойди утром к озеру лихому, помоги странникам — такая у меня к тебе просьба простая».

Старик немного помолчал, решительно отвернулся от Петровича, дав тем самым знать, что утратил к нему всякий интерес. Прищурившись, глянул на меня. Без всякой связи, будто обрубив, сменил тему разговора:

— Ты, мил-человек, на руки мои посмотри. Видишь, что с ними стало? Горячий был, дурной, вот и совался, куда не надо... Пилой пальцы-то съело. Сначала ни испуга, ни боли не почувствовал. Да и понятно, ведь того малость был, «каштанки» дернул. У нас, в Кондинском, я перед тем, как сюда убраться, пару месяцев в райцентре на шабашки ходил. Шибко я после того занемог, заражение пошло, язвы его. Думал, помру. Привели ко мне шамана, да-да, самого настоящего, сердешный мужик оказался, взялся выходить меня. Ты, говорил мне, пусти в душу свою тепло золотого идола, то есть веру и надежду, великою целительной силой оно обладает. Посмеялся я тогда, не поверил шаману. А как убрался после в тайгу, на подсочку — так у нас называется сбор живицы, отвары разные начал пить да молиться. И почувствовал вдруг, надломилось во мне что-то, жить захотелось долго, без бед, без глупостей. Я что в жизни-то видал? Одни проблемы. Помотала меня судьба, врагу не пожелаю. Тот самый идол и стал для меня спасением, веря в него, я как бы по-новому ощутил себя. Владимир Петрович вон все посмеивается, а зря...

Слушал я Спиридона, и думалось мне: сколь времечка потрачено, сколь судеб выправлено верою не в людей даже, а в мифическую силу божества, в надежде дотронуться до него, ощутить пульс вечности и сладость бессмертия. Где, какой древний кедр хранит мансийскую святыню? А может, и нет ее вовсе, потому что легенда — это всего лишь неживое отражение мироздания? Нет ответа. Есть только неразгаданная тайна. Она вне нас. Чем ближе мы подступаем к ней, тем больше она отдаляется. Но ведь Громов верит, что бог в обличье золотой бабы есть, что он неотступно следует за ним в его новой жизни, как солнце, как небо, как некое знамение, без чего жизнь на этой

земле теряет всякий смысл. Вот Спиридон и счастлив, и свят тем, что верует. Нельзя, выходит, человеку без веры. Во всех словах деда, в мыслях его я видел ясную устремленность и осмысленность.

Разомлевшие в тепле, мы скоро улеглись спать. И виделось мне, как низкая, словно бы дымная с испода туча зависла над северными увалами, над дальними лесами, и все мертвело, твердело под ней, дышало холодом. Тотчас, тревожно, негодуя, заколыхались березы, рванулись было прочь, пытаясь бежать в теплую сторону, но крепко, навсегда держала их затвердевшая земля, и, точно одумавшись, отпрянули они и зашептались в ветровом смятении. Где-то, казалось, ухнуло неустоявшее, сломившееся дерево. Лист метельно летал, щелкая по кустам, плюхался в коленки и в лицо. Ветер нарастал, и уже торопливо, словно предчувствуя что-то, скидывали осины последний яркий лист и, будто вздрогнув крупной летней дрожью, отряхнувшись, зеленели редкими, нагими сучьями, утверждали горькую крепость грядущему снегу, морозам, зиме. Да, я как в воду глядел — ночью выпал снег. К утру сделалась совершенная зима. Несло, мело, кружило даже снеговыми вихрями. Все побелело. А холод, когда я вышел на крыльцо, и запах устойчиво дующего севера яснее всего говорили мне, что лето и осень кончились и вряд ли уж теперь хоть что-нибудь отгадет. Поодаль держался с непокрытой головой Спиридон. Ветер трепал его рубаху, ворошил волосы, ударял в грудь. А он стоял, вскинув глаза к замутненному небу, словно старался рассмотреть там что-то очень важное.

Ночь отдана была под разговор. Точнее сказать, разговора не было, была исповедь, в ключья рвущие душу воспоминания, будто многими годами назревающий нарыв вдруг прорвало, вытолкнуло наружу все, из чего сложилась горемычная жизнь Спиридона Громова. Заново переосмысливая все, что задержалось во мне из его рассказа, я неожиданно пришел к заключению, которого дольше всего боялся: Громов неизлечимо болен. Нет, на здоровье он как будто не жаловался. Болезнь же называлась одним горьким словом — одиночество. В нем, и только в нем, состояла расплата за прошлое. Как непрочна жизнь. Неужели он прожил свой срок? Так мало. И для чего прожил? Для того, чтобы уйти без положенных человеку проводов, когда некому закрыть за тобой дверь, некому вздохнуть и бросить в могилу горсточку земли? Судьба исполнила возложенную на нее обязанность, она перековала человека, сделав из него тень, смутное отражение чего-то уже не существующего. Откуда эти мысли? Это самоуничтожение, кажется, совсем не свойственно характеру Громова. Неужели вот так умирают? Не физически, а духовно? Приходит неудержимая сердечная боль, и вместе со страхом смерти приходит другой, невы-

носимый страх — страх одиночества. Все кажется ненужным, пустым, ты наконец-то остаешься один на один с самим собой, вокруг тебя бурлящая жизнь, а ты ей не нужен, безразличен, толпы людей обтекают тебя, как фонарный столб. Ты один в гремящей, суетливой живой пустоте. «Какая бесплодная судьба», — я чувствую, что именно так сейчас подумал Спиридон, ощутив свое одиночество. Нет-нет, в таком состоянии он не должен показывать свою слабость, ведь к одиночеству он шел обдуманно, это, казалось ему, есть единственный и последний шанс избавиться от проблем, всю жизнь преследующих его. Человек ищет нечто, что называется счастьем, но не знает, что это такое. Но, судя по всему, счастье — это бегство от жизненного беспокойства, стремление к покою, который недостижим. Судьба смеется над человеком, она знает: ничто не способно остановить этого жалкого, никчемного муравья, человека, копошащегося во тьме Вселенной, грызущего стену, разделяющую тот и этот мир. И вновь я пытаюсь представить себе ход мыслей Громова, которые не могут обойти сейчас стороной его растревоженную душу: «Чего же достиг я, чему научился я, стоящий под этим седеющим небом? Стою... со всеми дуростями, какие только мог натворить, ни одной меньше, некоторые еще не оплачены, а платить придется за все! Жизнь проходит мимо меня и без меня, а ведь я как будто должен был что-то сделать, что-то сказать, в чем-то признаться, дать показания, свидетельствовать. Не о мелких невзгодах быта, а от имени века, от имени моего времени, которое убегает, скользит, сыплется, как песок между пальцев, словно я здесь чужой, из другой эпохи». Ох уж это самобичевание. Будто подметаешь в комнате, а потом со спокойной душой ждешь, пока снова накопится мусор для новой генеральной уборки. И все-таки что же дальше? Куда влечет нас рок событий?

Почему исход жизни репрессированных делится как бы на три категории: одни продолжают жить, как могут, другие кончают, по своей воле наложив на себя руки, а третьи спасаются затворничеством, жертвоприношением одиночеству? Кажется, я ставлю вопрос, заранее зная ответ на него. Спиридон Громов — отнюдь не первый отшельник, с которыми свели меня журналистские тропы. Удивительно то, что всех их объединяет общая боль — безысходность, некая безграничная болванка, ставшая печальным результатом перековки судьбы.

На карте района есть одно излюбленное аборигенами место — озеро Алексеевское. По здешним особым меркам не очень обширное, но и не малое. Считай, не один день и не одна ночь понадобятся, чтоб обогнуть его округу. Места здесь дикие, нехоженые, девственно-трепетные и тихие. Неровные берега встали плотным, темным часто-

колом сосняка. Над ошетилившимися рядами деревьев недвижимо держится солнце. Снег на озере, пронизанный его острыми, стремительными лучами, занялся каким-то внутренним радостным огнем.

Проводник — до слез любимый Петрович — говорит, что в озере навалом рыбы, а лоси ходят по урману чуть ли не косяками. Слова его — проверено печальным опытом — надо понимать так: рыбалка, как и прежде, будет неудачной, а об охоте лучше вообще не думать.

Добирались до озера долго и трудно, приняв на себя нещадную тряску дороги, пробитой «Бураном» по унылой снежной целине. Вездеход, как и следовало ожидать в путешествии с Петровичем, скоро гулко зафыркал, а чуть позже и вовсе заглох, оставив нас «безлошадными» посреди белой необъятной пустыни. Дальше пошли пешком, до колена проваливаясь в хрусткое крошево, стараясь ступать след в след. Не сразу я понял, что происходит; откуда-то из глубины искрящегося белесого пространства сначала неясно, обрывками, потом все отчетливее и напористее доносились странные звуки: «А-я-я-я, о-о-о...» Острый глаз Петровича первым узрел медленно плывущую нам навстречу темную, расплывающуюся в морозном воздухе тоску. «А-а-а...»

— Кто это?

— Катька, Ксенофонтова баба. Видать, в Урай подалась по какой-нибудь надобности.

— В город пешком? В такую даль? Шутишь, Петрович?

— А чему тут удивляться? Она ведь из местных, из остяков. День пройдет, два пройдет — хоть бы хны. Затянет только ей известную песню и шагает себе. У Катьки дочь в городе. Ксенофонт-то ее с дитем взял. Вот она и бегаёт к дочке.

— Это сколько же ей идти надо?

— Дня два, а может, три. Все от погоды зависит.

— Так ведь замерзнуть может. А если волки, не дай Бог..

— Не-е, волки ее не трогают, потому как шибко тощая, — смеется Петрович. — У нее с собой всегда фляжка самогона имеется, крепче спирта. Глотнет немного, и аж пар от спины валит. А спит в сугробе. Ага. Надо только хорошенько в снегу зарыться. Чем глубже зароешься, тем теплее. Правда, не долго — часа два или три. Подремлет чуток и снова в путь. Да ты не пугайся, ей это не впервой.

Так потихоньку, за разговорами, мы встретились с отважной путницей, действительно, как и расписывал ее Петрович, худой, невысокого росточка, женщиной в длиннополой хантыйской малице, туго перепоюсанной веревкой. Острые, слегка порозовевшие от мороза скулы выступали на гладком, как колено, лице. Прорезьями-закрылками тлели у переносицы угольки маленьких пытливых глаз. От всей

угловатой, будто наскоро сложенной фигуры излучался едва заметный, почти неуловимый теплый свет.

— Здорово, Катерина! — зашумел Петрович. — Далеко ли путь держишь?

— Так в город, однако...

— Понятно. Ксенофонт дома ли?

— Однако, дома. Где же ему быть? Сам ведь знаешь: этот Бука людей пуще смерти боится, — и вдруг шепотом, с горьким самогонным выдохом, добавила: — Никак, к нему?

— К нему, — кивнул Петрович. — Корреспондент вот напросился. Прослышал где-то про мужа твоего, отшельника. Сведи, говорит, с ним непременно, больно уж личность неординарная.

— Ну и зря. Злой он сегодня. Утром на соболя ходил, пустой пришел. Снег-то, будь он неладный, следы захоронил. Мужик шибко ругается.

— Ничего, оттаёт, — успокоил Петрович, хорошо, видно, знавший отходчивый характер охотника. — Ну, ладно, Катерина, ты ступай своей дорогой, а уж мы как-нибудь. Вертаться не будем, коли столько верст протопали, — глянул на меня, — не печалься, парень, все будет нормально. Ксенофонт мне по гроб жизни обязан. Я ведь его в прошлом году едва тепленького от волков отбил. Ладно, что случайно неподалеку оказался — я тут иногда охочусь. Слышу, орет кто-то: «Помогите!» Вот чудак, кто ему в этой глухомани поможет? От людей наособицу держится, а как в беду попал, не к Богу, к людям взывать начал.

Скоро перед нами открылась узкая, шириной в санный след, вырубка. В дальнем ее конце неохотно разбегались по сторонам могучие сосны, уступив место разве что только по крышу вросшим в снег строениям. Где-то среди них пробивалась из заносов заимка Ксенофонта.

— Погодь пока, — остановил Петрович. — Дальше я один пойду, а то мало ли что... Бука, он дурной, и пальнуть может. Это у него не заржавеет. В общем, как только все улажу — знак подам, значит, можно двигать к избе.

— А почему вы его Букой зовете?

— Станный он какой-то, слова из него порой не вытянешь. И от людей прячется. Может, какой грех на душу взял по молодости — не знаю. А Бука — потому что всегда угрюм, его ставни на вечном запоре. Одно слово — отшельник. Он же из спецпереселенцев. Раньше коменданта боялся, а теперь-то что?

Я остался на просеке, а Петрович, закинув ружье за спину, неспешно зашагал к избе, то и дело, будто парламентар, размахивая над

головой шапкой. Казалось, ждать его придется вечность, настолько томительным было торчать столбом средь угрюмой сонной тайги, окутанной загадным безмолвием.

Наконец, Петрович, подняв облако морозной пыли, вывалился на крыльцо, и я понял, что Бука, должно быть, не сразу, не податливо, но все же дал согласие принять непрошеного гостя. Позже мне представится, скольких трудов и сомнений стоило ему это решение.

Исключая Петровича и Катерину, я оказался первым за долгие годы затворничества Ксенофонта вторгнувшимся в его уединение напоянием о внешнем мире, чуждом ему и ненавистном, а потому старательно забываемом или уже забытом.

Широко расставив ноги, обутые в высокие грубо катаные пимы, старик восседал на скамье, привалившись спиной к пылающей жаром печи, даже не взглянув в мою сторону, принялся неловкими движениями узловатых пальцев свертывать сигарку. Долго, тщательно раскуривал трескучую махорку, затягивался так, что щеки делались ямами. Игольчатая серая щетина вздыбилась на затылке неровно, ступеньками.

Молча, как на поминках, сели обедать. Гляжу на хозяина — он и в этом деле нетороплив; ест раздумчиво, степенно, шумно хлебает суп с жирными разводами. Хлеб берет осторожно, даже крошки боится потерять — сметает в тарелку. Посередине стола вязанка вяленых чебаков. Они желтые, просоленные насквозь и засохшие, но Бука, видимо, рыбу любит, потому что вслед за похлебкой снимает с раскаленной плиты чугунок с рассыпчатой картошкой. Ест так, что, глядя на него, есть хочется. Вот берет с блюда картофелину, не торопясь разламывает, солит из щепоти — соль скрипит в пальцах, макает в тарелку, где налито зеленое, невесть где добытое конопляное масло. Ест.

Разговор наш завязывается вяло, с явной со стороны Буки неохотой. Понадобилось какое-то время, чтобы выяснить, что родился он в маленькой, ныне уже не существующей, деревушке. До революции семья имела крепкое хозяйство: две коровы, телята, куры — все, как у нормальных людей. Рыбу ловили, брали ягоду, благо болот в этом краю видимо-невидимо. Потом грянул кулацкий мятеж. Пришли белые — забрали лошадь, за ними красные — увели корову, зарезали телят, выгребли из кладовки рыбу, которую хозяева завялили для продажи, проломил отцу голову и ушли, пригрозив, что скоро придут еще. Было у Ксенофонта два брата, оба не вернулись с войны. Отец промышлял рыбалкой на Турсунтском Тумане. Никто не знает, то ли сам утопился, то ли убил да утопил кто. Матушка с горя запыла, пошла по рукам за кусок хлеба. Одним словом, через край хлебнул

горюшка. Много раз был бит, кровью захлебывался. И в голодном детстве, и потом, в армии. Однажды в колхозе, где поставили его сторожем, кто-то подпалил звероферму — так ограбленные под маркой борьбы с кулачеством люди мстили советской власти. От сотни лисиц-чернобурок остались только обугленные скелеты. Пожар свалили на Ксенофонта, хотя в деревне-то его в ту злосчастную ночь не было вовсе — на охоту ходил. А раз дома отсутствовал, значит, ферму жег, решил следователь, и велел парню собираться на суд в село Кондинское. Сейчас, разбежался, только тюрьмы еще не хватало мужику. Прихватил кое-что из скарба и огородами, задами махнул в тайгу, поклявшись себе никогда больше не показываться на людях, так, чтобы ничего более не связывало его с этим проклятым миром.

— Волки и то добрее, — молвит Бука. — Они же если невзлюбят кого из выводка, не мучают, не истязают, а сразу перегрызут горло. У меня с этими волками всегда истории случаются. Как-то за лосем пошел, впотьмах налетел на корягу. Сломал ногу у самой щиколотки. Лежу во мху, как чурбан, шевельнуться не могу. Под утро распахнул глаза-то, а вокруг меня целая стая. Урчат, скалятся, глазища огнем горят.

Видимо, устав от долгих фраз, Ксенофонт умолк, потянулся за кисетом. Заметно повеселевший от стакана самогонки Петрович нескладно продолжил, тыкая пальцем в мой блокнот:

— Записывай. Волки его не тронули. Это ему только кажется, что они пожалели его по доброте душевной. Да ты сам посуди, какой зверь такого трогать будет, от него же табаком несет, как от попа ладаном. Мне сказывали, будто волки его до самой займки заставили ползти. Брешут, конечно.

— Помалкивай, коль не веришь, — осердился Бука. — А только оно и впрямь так было. Человек, знаю, не стал бы со мной возиться.

Если Петрович в благодушном расположении духа, если заговорил, то остановить его уже невозможно. Причем говорил он, по обыкновению, так, что мысли его прыгали, чередовались в хаотическом беспорядке, поэтому, начиная говорить об одном, он заканчивал монолог фразой, не имевшей никакого отношения к сказанному ранее. Вот и на сей раз неожиданное предложение Петровича прозвучало как гром среди ясного неба: «Ксенофонт, а не пойти ли тебе на службу ко мне в инспекцию? А что, местную флору и фауну знаешь хорошо, нам как раз такие люди нужны. Пенсию ты не получаешь, так что зарплата лишней не будет».

— Нет уж, милый мой, сам своих браконьеров лови, я на людей не охочусь, мне другого, таежного зверя хватает. Ты вот о пенсии помянул. Извини, подвинься, я с таким государством ничего общего

иметь не хочу, и подачки его мне не нужны, сам как-нибудь проживу. Здесь-то, в тайге, на кой черт они мне нужны, деньги. Только на соль и надо. Так это Каткина забота. Деньги сегодня — мусор и ничего более. По радио кто-то говорил, что де ничего они в нашей стране ныне не стоят. Я по этому случаю свои соображения имею. Одного нельзя забывать: если хочешь, чтобы государство крепло и развивалось, деньги должны иметь ценность. Пока деньги в государстве чего-то стоят, и экономика развивается, и торговля. Но как только они потеряют ценность, все пойдет кувырком. Тогда уже никто не захочет работать, никто не будет выдумывать что-то полезное, никто не повезет товар на рынок. Так, как сейчас, государством не управляют, все полетит вверх тормашками. Наступит всеобщая нищета, и уже ни один человек не захочет мириться с такой жизнью.

В жарко натопленной избе стало душно, будто в парилке. По заиндевелым окошкам пошли полосы бурых проталин. Убедившись, что ничего более выжать из отшельника мне не удастся, я выбрался на воздух, где уже сгушались вязкие сумерки, медленно поглощая очертания стоявшего поодаль коровника, сараюшки и широкого омета с пучком связанных жердей на макушке. Снег от крыльца был аккуратно собран в кучу, на которой торчал черенок деревянной лопаты. «Для кого этот порядок? — подумалось мне. — Кто подивится этим хозяйским порядком? Сосны? Катерина, привыкшая ночевать в сугробе, а может быть, волки, которые тихо держатся сейчас где-нибудь рядом, затаившись в темной глубине леса?»

А Бука не так уж и одинок. Не мог ускользнуть от моего внимания старый, даже как будто древний приемник за зеркалом. Представляю, как слушает, прильнув к нему тусклыми, унылыми вечерами, Ксенофонтова заблудшая душа далекий голос чужого беспокойного мира. Все знает дед: и о реформах, и об инфляции, и обо всех прочих несчастьях людских. На чем свет стоит, бывало, ругает и критикует власть, а то вдруг хвалит, одобряет и гордится. Здесь, на заимке, ничего этого нет; ни налогов, ни бесплодной войны с коммунальщиками, ни рэкета и наркомании, ни праздников и фестивалей. Даже Анфиска, дочь жены, здесь ни разу не была и, по всему видно, не собирается здесь бывать. Есть Катерина, корова — весь круг общения. И никаких проблем, ведь именно к этому шел он деревенскими огородами, убегая от предвзятого правосудия. Но тогда в чем же сокрыт смысл такой жизни? Пытаюсь увидеть себя на месте Буки, и жуткий холодок прокатывается по спине. Нет, упаси Бог, это немыслимо, это просто противно человеческой природе, хотя, черт побери, как хочется, пусть на мгновение, на минутку, уйти от мирской суеты, нырнуть в серые ворсистые катанки, прижаться спиной к излучающей тепло печке и

думать о чем-нибудь добром и желанном. Только ненадолго, только не навсегда...

— Стало быть, заметку обо мне писать будешь? Словно я в космос первым слетал или план перевыполнил. Не надо, не стоит. Слава-то дурная получится. Ты вот что, мил-человек, ты к Анфиске нашей наведайся. Она мне хоть и не родная, а все же дочерью приходится. Проведай, как она там... — сказал, похлопал меня по плечу и шагнул в избу.

Скоро засвистел, захрипел приемник. Сквозь эфирные шумы прорвались звуки симфонической музыки. Как никогда, они казались неуместными, даже нелепыми в этой напряженной вечной тишине.

6

Маленькая гостиничного типа квартира в молодежном общежитии. Чисто, аккуратно. Даже слишком для незамужней девушки. Однако трудно поверить, что обставлял это помещение один человек: какая-то странная смесь вкуса и безвкусицы. Стеллаж с книгами. Икона — подделка под старину. Причудливо изогнутый светильник над диваном. Вышитые рушники с хантыйским орнаментом вместо занавесок. И тут же вырезки из зарубежных и отечественных модных журналов, парни (конечно же, зарубежные, не наши) смотрят с них вызывающе, а некоторые и вовсе непристойны. На журнальном столике и на двух табуретках в углу — компьютер со всеми причиндалами. Анфиса обводит все это рукой. «Вот моя келья», — говорит и отворачивается к зеркалу. Она красива: чуть раскосые глаза, черные, с синеватым отливом волосы и дерзкий самоуверенный взгляд — в чистом виде свежий продукт исторической перековки. Ей, наверное, чуть больше двадцати. Одета по моде: на ней джинсы в обтяжку, красная майка, «Ты люби меня везде» — глубокомысленная надпись впереди. Кажется мне, что это слова из современной песни.

Девушка торопится на работу, она в какой-то местной фирме трудится секретарем. Перед тем как принять на столь ответственную должность, ее наверняка там сначала пристально осмотрели, ошупали, как лошадь на конном рынке, сказали: «Потянет». Поэтому она сейчас торопится на работу в офис (по-русски — в контору), где сшибает неплохие бабки (получает хорошую зарплату). А пока старательно причесывается, пудрит щеки и красит губы, успевает произнести монолог, вероятно, достойный внимания широкого круга слушателей:

— Вы знаете, мне кажется, что я нашла свое место в жизни. Пока вы все там, в свое время, одолевали голод и мрак шаг за шагом, сообщая, это происходило как-то естественно. Мы же с ходу перемахнули

из страха и насилия в мирное спокойствие. Вы надели себе на глаза шоры вашего исторического оптимизма, вы уж простите меня за такое выражение, и не хотите взглянуть в лицо реальной действительности. У меня, конечно же, есть на примете несколько бизнесменов, которые отчаянно подыскивают себе спутниц жизни. Эти бы, глазом не моргнув, с ходу посватались ко мне, побросав своих надоевших жен, стоит лишь пальцем поманить.

Ведь свободных мужиков в Урае раз-два, и обчелся. Но они ж все одним живут — привязать тебя к себе до самой смерти. Да и на их состояние — мало ли, много ли кто нажил — детки давно лапу наложили, завещания сданы на хранение, так что нет надежды на элементарное вознаграждение за свой труд и вообще всю эту мерзость.

— Ну а как насчет друзей?

— Дружба требует от человека больше, чем возвращает. Где сейчас найдешь бескорыстных друзей? Готовность к самопожертвованию — лишь воспоминание из далекого прошлого. Сегодня всякий старается чем-то поживиться за счет дружбы. Чтобы нашлось место, где тебя всегда примут, когда самому бывает лень себе что-нибудь придумать, или чтобы имелся человек, готовый замолвить за тебя словечко. Без задней мысли в наши дни дружбы не заводят. Спору нет, иногда мы встречаемся с девчонками, вспоминаем времена, когда мы приехали сюда, в город, нашу скрашенную школьными проказами молодость. Вот и кажется, не сюда мы бежали из деревень. Ходим друг к другу на дни рождения, для этого заведены дежурные подарки: несколько флаконов духов хороших марок. Они у нас годами ходят по кругу, перекочевывают из рук в руки, и никто их не откупорит, никому твой подарок не нужен. Вот так обстоит дело с так называемой дружбой. Все по кругу, и никому ты не нужен. Ну, хватит об этом. Хотите знать, о чем и как сейчас чаще всего рассуждают в нашем городе?

— Очень любопытно. И о чем же рассуждают?

— Стоит людям только где-нибудь собраться на кухне, перво-наперво начинают поносить правительство и местную власть за то, что налогами задавили, порядок и жизненный уровень катятся под гору, повсюду полно пьяниц, наркоманов и преступников, рубль знай себе дешевет, а цены взлетают, словно воздушные шары, ты только приглядишься в магазинах.

Уже чуть ли не бегом, спускаясь впереди меня по лестнице с пятого этажа, Анфиса еще что-то возбужденно говорила о воровстве кругом, об отмывании денег, коррупции и круговой поруке, но так и не сообразила хотя бы для приличия поинтересоваться, как там отчим, жив ли, не хворает ли?.. Да уж, «все по кругу, никому ты не нужен» — ее слова.

Не все сказанное Анфисой следует, наверное, принимать близко к сердцу, ведь принадлежность к определенному поколению все же имеет большое значение, формирует людей по своему подобию. Ущербная философия репрессивной перековки миллионов людей не может кануть в Лету бесследно. Ее отголоски еще долго будут напоминать о себе, проявляясь в недоверии, несправедливости и лжи.

Нетрудно догадаться, что Анфиса — дитя телевизионного поколения, она срослась с этим непрестанно бормочущим ящиком еще до того, как научилась читать. Мысленно усаживаю рядом на скамеечку эту девушку и мать ее — Катерину, пытаюсь найти хоть какие-то сходные черты — не получается. Я не убежден, что она в своем разумном возрасте прочла хоть какую-нибудь книгу, за исключением школьных учебников. Если у нее когда-нибудь родится ребенок, то у него непременно все будет по-другому.

Сегодня для большинства молодых людей дело обстоит так, что они черт знает куда укатили от своих исконных родных мест, зачастую живут временной гостиничной жизнью бог весть в каком городе, все равно, в какой стране. Никаких корней у них не существует. Будто картофелины с большого поля, выдернутые из своего гнезда и перемешанные в бездонных закромах. Все считают это совершенно естественным. Даже не вспоминают, откуда они родом. Однако у каждого нынешнего молодого человека имеется, по крайней мере, возможность представить в минуту отчаяния, что он когда-нибудь обязательно вернется на поляну своего детства, присядет на знакомый пенек и вдохнет полной грудью земляничный аромат. Пути-дороги исхожены, и он прошествует по улицам, которые непременно должны его помнить, если только в ухабах и рытвинах есть память. И приподнимет в своей обленившейся памяти те пласты, о существовании которых у него самого не было и представления.

7

Козла Тимоху на Перековке боялись все, боялись и любили. Он был невероятно огромен и активен. Ходил с бабами в лес по грибы, воровал у хозяйки лепешки, гонял по улице кошек и собак, бывало, поддавал под зад пьяным мужикам и вообще славился весьма крутым нравом. Тетя Аня души в нем не чаяла, добрый и ласковый, он был ей вроде сына, зарывался белесой бородкой в колени и сопел, как котенок, когда хотелось есть. Спал обычно в чулане на кровати, где имелась специально изготовленная для него подушка, и даже бывшее одеяло Сереги теперь тоже принадлежало ему. Парадокс, конечно, однако иногда бывает плохо, когда все хорошо: вчера Тимоху застрелили в лесу. Тетя Аня убеждена, что совершили это злодейство

вечно голодные бомжи. Видно, испугнул кто-то, не успели разделить тушку, сбежали. Горе пришло в дом Громовых. Но что тут поделаешь? Похоронили козла в березовой роще по всем правилам. Три дня тетя Аня ходила как в воду опущенная, горюя по злодейски убиенному. Так бывает: человек, повидавший в жизни много смертей, совсем по-другому, не так, как все, относится даже к раздавленному на оконном стекле комару.

Притупилась чуть-чуть утрата, когда коза Параська в самый разгар лета принесла двух детенышей, которые, будто слепые котята, ползали по ней, упираясь мокрыми мордашками в брюхо.

Ну что за чертовщина такая, одно несчастье за другим. Не ждали Громовы, не гадали, что ждет их новый удар. Соседский пес, по характеру дикий и алчный, сорвавшись с привязи, перемахнул через забор и нагло загрыз новорожденных. Это стало пределом всех сил. Тетя Аня оставила избу и хозяйство на Николая и поехала к детям — к дочери Светлане в Урай и попутно к сыну Сергею в деревню, который получил наконец-то квартиру в новом доме, а она еще в ней не была. Больно ей было оставаться в Ханты-Мансийске, в отношении к которому у нее вдруг возникло какое-то нехорошее чувство. Так человек обычно относится к месту, где лишился чего-то дорогого сердцу.

Светлана. А что Светлана? У нее давно своя жизнь. За спиной пединститут, впереди карьера на учительском поприще. Пока не получается с замужеством, но это дело нехитрое. Мать поймет, она у нее понятливая. Из окружного центра до Урая шесть часов езды на автобусе. Пока Анна Афанасьевна в дороге, под окном Светланы останавливаются вишневые «Жигули» с игрушечным клоуном, подвешенным на резинке к смотровому зеркальцу в салоне. Машина остановилась, и безделушка долго раскачивается перед глазами Алексея. Он выключает музыку, закуривает, высовывает голову и смотрит на освещенные окна дома. На третьем этаже шевельнулась штора, мелькнула тень, открылась балконная дверь — Света!

Только теперь, увидев ее, махавшую ему рукой, Алексей осознал, что приехал не к студентке Тюменского пединститута, к той рано созревшей, у которой грудь была пышнее, чем у преподавательницы, которая сонно и томно смотрела на парней-сокурсников, с готовностью выходила на свидания, млела в объятиях и не отталкивала, когда шарили руками по телу. Какой же глупый он был тогда, ни разу не взявши того, что она не особенно-то оберегала. То чего-то стыдился, то откладывал на потом, ведь и ему сначала надо было закончить вуз.

И вот теперь, почти через десять лет, когда она совсем повзрослела и даже немного увяла, а он достиг положения в обществе, стал солидным мужчиной, владельцем предприятия, надумал исправить свою

ошибку. Не то, не то, а все-таки почему бы и не изжить ту давнюю горечь? Тем более что теперь она должна переступить не через страх, а через совесть. В этом даже больше остроты и притягательности. Опытная женщина... Может, так оно и лучше. Только времени мало. Он зашагал по ступенькам подъезда вверх, с удивлением ощущая, как стремительно, с каждым шагом, тают его намерения, уступая желанию простого, чистого человеческого общения. Светлана встречает его в распахнутом проеме двери, целует в щеку.

Шипит в бокалах искристое вино, жаркий хмель бушует и обволакивает их, дурманит и сладко лишает власти над собой...

Представив себе происходящее в этой комнате и в душах этих людей, мне вдруг подумалось, что среди излюбленных газетных тем, порою стереотипных и извечных, мало, совсем мало отведено места сущности человеческих отношений, их перековке в соответствии со временем. А ведь люди не только ходят на работу, выполняют производственный план, рыскают по магазинам. Они живут еще чем-то своим, сокровенным. И в этом мире отношений клубится темное облако проблем и коллизий, которые, по сути, определяют духовное состояние всей жизни. Не раз уже в мыслях об этом меня приводило к выводу, что во внешне выраженном благополучии кроется много судеб, скроенных из безысходного одиночества и тоски. Вот и Светлане, вопреки красоте своей так и не нашедшей себе спутника в жизни (порядочных давно разобрали, а связывать себя с первым встречным не хочется)... Стоп, стоп, кажется, где-то я эти слова уже слышал. Представляется сейчас, как сквозь ночь, заполненную мимолетной, временной и случайной страстью, смотрит на нее из окна дребезжащего автобуса мать. Смотрит внимательно, спокойно и неотступно. В ее взгляде нет ни укора, ни поощрения, ни гнева, но что-то такое, что заставляет Светлану не закрывать глаза, напрягаться в ожидании, что ее вот-вот строго призовут к ответу. Светлана подумала, что это странное ощущение приходит к ней не впервые. Откуда оно у нее? Ведь она выросла с отцом и матерью, с братьями, хорошо видела, как они тепло и нежно относились друг к другу, оберегая свои чувства. Мать постоянно присутствовала в ее жизни. Ругала за непослушание, наказывала; но все это было естественно, без истерики и крика, как бы предполагало, что Светлана останется наедине со своей совестью, и это выработает у нее потребность к самостоятельной, может быть, слишком серьезной для ее возраста, внутренней жизни. Ровесницы в школе считали ее несвоевременной, все они уже переживали бурные любовные романы, без долгих колебаний отдавались мальчикам-старшеклассникам, откровенно хвастались этим и свысока, осуждающе смотрели на свою «старомодную» подругу. Были

и у Светы мальчики, к которым она бегала на свидания, с которыми целовалась, ходила в кино, простаивала у своей калитки, и все-таки она превозмогла искушение быть как все. Был у нее хороший друг. Перед уходом его в армию она чуть не отдалась ему, но в последнее мгновение перед ней встали глаза матери, пронизывающие и строгие. Она не испугалась их, но волна сладкого безволия сразу схлынула, и Света уже могла владеть собою. Теперь ей все позволено, потому что она созревшая частичка большого мира, потому что горячие руки Алексея жарко ласкают ее плечи и грудь. Она знает, что все это не долговечно, что через час-другой, добившись своего, вернется к жене Алексей, придумав какое-нибудь оправдание, что вновь в ее комнате воцарится мертвенная тишина, и тягостное одиночество будет щемить душу. Даже появление матери не развеет эту тишину и боль.

Пару дней погостила тетя Аня у дочери; гуляли по магазинам (в Урае их расплодилось, как муравьев), сходили в школу, где работала Светлана. Школу недавно обнесли высокой металлической оградой, и она стала походить на большую психиатрическую больницу. Покружили на колесе обозрения в парке аттракционов. Дома пили чай и большей частью говорили о плохой погоде...

Отвезти мать к Сереге в деревню Светлана попросила «знакомого» по имени Алексей...

Квартира у Сереги теперь хоть и не большая, но вся заставлена мебелью, да так, как будто ее набросали без толку, натолкали временно куда попало. Спят глаза хрусталь и целлофан, которым накрыты диван и кресла (и видно, что дорогие, обтянуты бархатом и не вытираются). На стене, оклеенной обоями с изображением книжных корешков (как будто в комнате расположилась солидная библиотека), висит репродукция репинских «Запорожцев», которые пишут письмо турецкому султану, и вышитый гладью пестрый петух, напоминающий гусара в воинствующей позе. На столе вазочка с искусственными цветами, но не нашими, а заморскими — надо пощупать, чтоб убедиться — бутафория. Но кто будет проверять? Невестка ходит по квартире в пеньюаре, расшитом рюшками, на ногах громадные шлепанцы из плюша. Ребенок сладко спит в коляске, все времени нет купить кроватку.

Присутствие свекрови, не умеющей пользоваться благоустроенным туалетом и душем, невестку явно тяготит. Она мечется по комнате, бестолково перекаладывая вещи с места на место, фыркает не тихо и не громко, но так, чтобы слышала свекровь. Серега еще утром ушел куда-то за шампанским и пропал.

Недолго погостила тетя Аня у сына с невесткой. Через день съехала в Ханты, на свою Перековку, не раз пожалев, что вообще оставила дом на мужа. А там встретило ее полное запустение. Огород затянулся густой мокрицей, на грядках поднялась бледно-зеленая трава, задушив все, что было посажено. Николай сидел на скамейке у ворот, голодный и злой. Кинулась тетя Аня первым делом в стайку, подоила корову, постелила ей соломы, чтоб дощатый настил не натирал бока, закрыла двери хлева. И вот сидят они вдвоем с Николаем за столом, пьют свежее молоко, а Анна все хвалит и хвалит, как хорошо она погостила у детей. Потом, когда Николай заснул, пошла в палисадник, нарвала цветов и поставила их в трехлитровую банку с водой на тумбочку у кровати. Они наполнили избу живым ароматом лета и еще каким-то божественным духом сладости жизни. За перегородкой в чулане всхлипывала коза Параська. О чем всхлипывала? Она знает. О судьбе своей, наверное.

Глава четвертая

1

Берedit душу людское беспамятство, этакое духовное невежество и моральное уродство нынешнего поколения младых недорослей. Мало кто знает, мало кто желает знать, что было вчера. Сегодня — да: вечером дискотека, пиво. Завтра — да: учеба в институте, желательно за рубежом, брак по расчету, удачный бизнес. А что вчера? А черт его знает. Что-то было, а что — не помню, не ведаю, забыл. О репрессиях не слышал, не читал, о том, как родители голодали, как расстреливали за сорванный колосок на колхозном поле, не знают, не хотят знать. Получается, что мы своего времени с наибольшей полнотой и не видим, мы ведь, прежде всего, ощущаем именно самих себя в каком-то времени. Когда оно проходит, понимаем его глубже, шире. Но нас уже в нем нет. Если идти здесь лишь по «чистой», отвлеченной логике, то можно договориться до того, что со своим временем мы едва ли встречаемся. Это уже для любителей парадоксов, конечно. Но какой-то «зазор», какая-то надежда на возвращение памяти есть, и мы все чаще с течением лет оглядываемся на прошлое. Сегодня, например, сейчас. Разглядываем, вникаем в него через написанную уже историю. Но и через личное, семейное, родное. Может, в таких случаях человек и приподымает краешек завесы, отделяющей его от вечности, заглядывает в нее. Заглядывает и как бы входит, пусть на миг, в то, что было накануне него, начавшись неизвестно когда.

О чем я? О кулаках, о Перековке? Не только. Нередко люди, имеющие сведения, «информацию», казалось бы, обо всем на свете, очень мало знают даже о своих родных, об отцах и дедах. Значит, не знают, как следует и об историческом прошлом народа, страны. В наше стремительное время особенно нужна забота о своей внутренней культуре. Без нее, без памяти о прошлом, входящем и в настоящее, одно лишь внешнее и сиюминутное в жизни может издергать и опустошить. Пристальный взгляд в эпоху массовых репрессий нужен не только для того, чтобы проверить себя на знание исторических фактов, лишь упомянутых в современных учебниках. Он просит, он требует нравственной оценки, духовного анализа, ведь важен не состав преступления сталинского режима, а внутреннее содержание людей, ставших его жертвами.

Начало освобождения репрессированных, мы это знаем, положил принятый 18 октября 1991 года закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Заметим, что в нем впервые была дана не только правовая, но и нравственная оценка государственного террора, подчеркнута необходимость ликвидации его последствий. Однако сказать в законе, что геноцид — это плохо, не означает нравственную оценку трагедии. Что же касается ликвидации последствий, то это тоже лукавство. По сей день тридцатые годы незаживающей раной бередят нашу жизнь и наше отношение к власти. К моменту принятия закона в Ханты-Мансийском автономном округе проживало 3957 реабилитированных граждан и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Это жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Березовского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Кондинского районов. 30 октября 1997 года состоялось открытие и освящение памятного знака в виде креста на месте массового расстрела в г. Ханты-Мансийске. На памятнике надпись: «Вечная память жертвам политических репрессий, безвинно расстрелянным в 1937–1938 годах в городе Ханты-Мансийске и нашедшим упокоение в этой земле». Рядом установлены плиты с фамилиями 598 человек, расстрелянных в окружном центре. Пытаюсь представить: я родился, и в этот же день кого-то лишили жизни. Что от этого получила Россия? Не могу и не хочу поверить, что смерть одного невинного и рождение другого, который по природе еще не может быть в чем-то виновен, равносильны в нашей стране.

Для увековечения памяти жертв на территории Кондинского района по инициативе главы Ягодинской территории установлена мемориальная доска с надписью: «Низко склоняем головы перед памятью миллионов безвинно пострадавших в годы жестоких сталинских репрессий».

Северный край был самым крупным и самым первым районом вселения раскулаченных крестьян. К началу мая 1930 года сюда было вывезено 46 562 семьи в количестве 230 065 человек. Не удивительно, что именно репрессированные положили начало здешним колхозам и совхозам, лесопромышленным хозяйствам, рыболовецким артелям, именно кулаки и подкулачники строили здесь первые больницы, школы, дома культуры, библиотеки и детские сады. Можно бесконечно долго говорить о бедах и лишениях, фактов и примеров больше чем достаточно — на моем столе несколько томов документальных свидетельств: не было жилья, ютились в землянках, мерзли, ели мох, болотную траву, пухли с голоду, умирали целыми семьями. Так советская власть расправлялась с крестьянством, воплощая бредовую идею всеобщей коллективизации. Те, кому удалось избежать вечного поселения на сибирских погостах, без помощи государства, в условиях издевательств и лишений пытались строить жизнь с нуля в диком краю едва ли не первобытного уровня развития. Вот кого можно смело считать первопроходцами, основателями многих городов, деревень и сел ХМАО. Запоздалая реабилитация репрессированных, как и следовало ожидать, не вызвала массового оттока спецпереселенцев, возвращения их в родные места. Их там никто не ждал, да и сил для того, чтобы в очередной раз начинать все с нуля, на голом месте, уже не оставалось. Худо-бедно, но долгие годы проживания на Севере заставили людей пустить в этих краях свои корни, подрастали дети, строились дома. Из отсталых территорий проживания коренного населения Севера Югра стала довольно состоятельным многонациональным регионом, ведь ссылались сюда не только русские, но и крестьяне с Украины, из Белоруссии, с Крыма, Северного Кавказа. Только с Украины в Сибирь прибыло 29 176 человек в течение одного 1930 года. А ведь ссылка продолжалась и во время коллективизации, до и после войны. Так что не только большая нефть привела, к примеру, в молодой город Урай жителей различных республик СССР. Многие здесь родились, выросли в семьях раскулаченных. Север стал их родиной. Кондинский район — один из наиболее крупных центров концентрации репрессированных. Пожалуй, почти каждая современная семья здесь прямо или косвенно имеет родственное отношение к жертвам государственного геноцида. Не случайно практически в каждой деревне был совхоз или колхоз, звероферма, овощеводческое хозяйство. Крестьяне умели работать, умели обращаться с землей. Район процветал, снабжая продовольствием рождающиеся города нефтяников, газовиков. И вдруг все нажитое, поставленное на костях обездоленных крестьян, стало стремительно хиреть, разваливаться. Часто приходилось мне, исполняя спецкоровские обязанности,

сти, колесить по Кондинскому району. Боже, в какой жестокой нужде пребывают здесь сегодня многие сельские семьи. Вспоминаю данные статистики: если в целом по России за чертой бедности живут 32 процента населения, то в сельской местности этот показатель достигает 75 процентов. Получается: имелись некие аморфные причины для уничтожения середняцкого класса на селе, теперь пришло время придумывать оправдания развалу коллективных хозяйств и обнищанию крестьян? По словам эксперта Института социальной политики Академии народного хозяйства Алексея Мослакова, отсчет всех бед, обрушившихся на российское село, надо вести с 1991—1992 годов, когда в умах реформаторов «гайдаровского призыва» поселилась идея об экономической невыгодности сельского хозяйства в стране. Считалось, что в нашем суровом климате урожай можно собирать лишь раз в год, тогда как в южных и западных странах земля родит по два-три раза. Так зачем стараться в своей зоне рискованного земледелия, зачем пахать, сеять, собирать урожай, если все это можно купить на мировом продовольственном рынке? Что же касается собственного производства, то его вполне можно обеспечить мелкотоварными фермерскими хозяйствами, уверяли реформаторы. Так постепенно на Тюменском Севере стали разваливаться колхозы и совхозы, поросли бурьяном поля, когда-то кормившие северян. Финансовые потоки, которые раньше государство направляло на поддержку сельскохозяйственного производства, широкой рекой потекли в другом направлении — на закупку отравленных стероидами «ножек Буша», генетически модифицированной сои, кукурузы, пшеницы. Если в советское время на нужды села государство тратило до 27 процентов расходной части бюджета, то сегодня — лишь один процент. Потеряв значительную часть госдотаций, наше сельское хозяйство стало именно таким, каким и рисовали его реформаторы, — глубоко убыточным, неэффективным, отсталым. Кажется, Карл Маркс говорил, что история реализуется дважды: первый раз — в виде трагедии, второй — в виде фарса. Правильно сказал.

Было время, когда я восторженно писал о кондинских зверофермах, где выращивались черно-бурые лисицы. Пушнина обогащала отечественный и зарубежный рынки, пушистое золото шло буквально нарасхват. А еще никому не приходило в голову завозить пшеницу из-за рубежа, своей хватало с избытком. Что имеем сегодня? Все в магазинах импортное, как будто сами мы производить не умеем или разучились уже. Миллионам лучших представителей крестьянства, изгнанных с обжитой земли, не дали возможности кормить страну, по глупости кремлевской сослани в неплодородные районы, где они на голом месте сумели в короткие сроки поднять земледелие, живот-

новодство, но и здесь их ожидал удар по рукам. Последствия такой аграрной политики оказались чудовищными. Только за десять лет с карты страны были стерты 17 тысяч поселков, а сельское население сократилось почти на полтора миллиона человек. Продолжают вымирать поселки в Кондинском районе. Молодежь уезжает из села, не видя там никакой перспективы. Тысячи крупных колхозов и совхозов в стране принудительно ликвидированы, а 80 процентов выживших хозяйств уже сегодня можно объявить банкротами. Большие, очень большие деньги утекают с Севера за пределы Югры, туда, где закупаются сельхозпродукты, хотя их можно производить на месте. Кроме того, не надо забывать, что школы, акушерские пункты, библиотеки, клубы в сельской местности — вся эта колоссальная надстройка содержалась в основном на средства и при участии сельхозпредприятий. Развал производства немедленно повлек за собой разрушение социальной сферы. Чтобы получить элементарную медицинскую помощь, жители кондинских сел вынуждены ехать либо в райцентр, либо в Урай, Ханты-Мансийск, Тюмень или Екатеринбург, за сотни, тысячи километров. Жители сибирской провинции, подобно североамериканским индейцам, оказались загнанными в настоящую резервацию, где нет ни социальных гарантий, ни прав на достойную жизнь. Тут вряд ли следует винить местные и окружные власти. Что с них взять; ни прав, ни свобод, рабская психология, вечный страх перед вышестоящими — это было и есть. Винить, несомненно, надо политику, которую правительство проводит по отношению к селу. Получается что-то вроде «социального дарвинизма», провозглашающего железный принцип: сильный выживет, слабого унесут на погост.

Мне как-то довелось побывать в деревушке неподалеку от Урая, где остались одни старики да собаки.

Люди живут здесь, как в восемнадцатом веке. Из благ цивилизации — одно электричество. Питаются люди с огорода, коров держать уже не могут — силы не те. Даже скорая помощь сюда не доедет, да и вызвать ее неоткуда — ближайший телефон в двух часах ходьбы. А ведь был здесь когда-то колхоз, была ферма, на которой работало большинство селян. Колхоз развалился, молодежь разбежалась, а старики постепенно вымирают. Мужики, как здесь говорят, один за другим крякнули от пьянства. Остались в основном старушки. Умрет последняя — умрет и деревня. За последнее десятилетие смертность среди сельских жителей увеличилась в полтора раза, а продолжительность жизни сократилась почти на два года. В среднем же селяне сегодня живут на три года меньше горожан. Такова страшная цена, которую платит российское село за чьи-то эксперименты, за чье-то недоумие.

Срезавшая под корень сельский образ жизни и уничтожившая социальную структуру деревни, насильственная коллективизация породила чудовищную миграцию крестьян в города. Крестьянская Россия превратилась в страну бродяг. С конца 1928 по конец 1932 года советские города были буквально наводнены крестьянами, число которых близилось к 12 миллионам, — это были те, кто бежал от коллективизации и раскулачивания. Только в Москве и Ленинграде появилось три с половиной миллиона мигрантов. Среди них было немало предприимчивых крестьян, предпочитавших бегство из деревни вступлению в колхозы. Миграция превращала стройки и заводы в становища кочевников. Так, родственники Анны Афанасьевны Фарковой оказались кто в Запорожье, кто в Челябинске, кто в Свердловске. С большим трудом, но именно на Большой земле они смогли реализовать свои способности, получить образование, стать инженером, художником, врачом, архитектором. Разруха сельского хозяйства в районах Западной Сибири, продолжающаяся и сегодня, деградация деревни до сих пор служат причиной оттока молодежи в города. Многие жители Кондинского, Октябрьского, Советского районов ХМАО перебрались в нефтяные города округа, не видя никаких перспектив в сельской провинции. Это самая большая и самая, пожалуй, страшная беда, ставшая результатом «колхозной революции».

Вдумаемся в смысл слова «перековка». Кувалда, наковальня. Под ударами молотка из куска металла куется некая форма. Удары народ почувствовал на себе сполна, а что вышло из-под наковальни? Массовое убийство людей, практически полное уничтожение крестьянства, озлобленность, ненависть к советской власти. Явно просматривается какая-то и политическая, и нравственная неполноценность вершителей наших судеб. Доколе можно совершать ошибки исторического масштаба? Революционные перемены, революционные методы, революционная перестройка — бесконечная череда ошибок. Есть старинная испанская молитва: «Боже, помоги мне смириться с тем, что я не могу пережить. Боже, помоги мне пережить то, с чем я не могу смириться. Великий Боже, дай мне мудрость не перепутать первое со вторым». Есть достаточные основания предполагать, что значительная часть общества предпочла бы эволюционный путь. Так спокойнее, да и исторический опыт наш достаточно сложен. Обжигшись на молоке, дуют на воду. Довольно уж наломали дров. По сей день годы сталинских репрессий, безобразно проведенной коллективизации, индустриализации, надуманной, аморфной перестройки, а за ней следом — грабительской приватизации и туманных рыночных реформ вылезают боком всем нам. Результат известен — позорное место России в хвосте мировой цивилизации.

Мы очень часто — увы, все — поминаем о массовом энтузиазме конца двадцатых — тридцатых годов, но природу этого энтузиазма осмыслили плохо. Не думаю, что правы те, кто утверждает, будто хорошему рабочему тех лет, в том числе бывшему «врагу народа», хорошо — по труду — платили, вот и вся разгадка. В массе платили плохо, это легко доказуемо. Во всяком случае энтузиазм держался не заработком. И не агитацией-пропагандой, хотя, конечно, не без нее. Энтузиазм держался надеждой, верой миллионов в то, что пятилетка, еще пятилетка, реформа, еще реформа, и все мы, все, кто трудится на совесть, станем равно богаты, здоровы и счастливы. Вексель подлежал оплате в ближайšie десятилетия. А они стали временем массовых бедствий. В войну известность — и осуждение — приобрело выражение: «Война все спишет». После войны все списали на нее и вновь принялись возбуждать энтузиазм, оставляя в стороне нравственные оценки. Поворот к реализму наметился в середине 50-х годов, но и им воспользовались, в основном, для «списания грехов» — на этот раз на Сталина. Вопрос о гарантиях впервые возник именно тогда. А есть ли гарантия, что все не повторится снова? Стоит задуматься об известном определении двойственности истории — трагедии, которая повторяется как фарс. Почему фарс? Да потому, наверное, что если люди не способны извлечь урок из страшного прошлого, то они заслуживают лишь осмеяния. Смех, правда, горький. На смену культу личности пришел культ безличности; затем его место надолго занял культ должности. Пора самодовольного безвременья вывела в жизнь поколение беспринципных дельцов, весь интерес которых состоит в устройстве себе и ближним удобного положения.

Когда я писал эти строки, по телевизору возмущенно говорили о какой-то группе из четырех полоумных девиц, позволивших себе богохульство в храме Христа Спасителя. Девиц задержали, возбудили уголовное дело. И что же? Часть молодежи выступила в их защиту. Начались погромы христианских святынь — какие-то молодчики прилюдно срубили топором крест, поставленный в память жертв сталинских репрессий. Примеров подобной дикости — примеров старого, не нашего времени — можно привести множество. Они, разумеется, не оправдывают безобразий, за которые в ответе современные дуrolомы. Но, во-первых, только ли дуrolомы, а во-вторых, так ли уж уникальна природа разрушительства? Барские усадьбы с их библиотеками, княжеские дворцы с неповторимыми собраниями произведений искусства жгли, уничтожали. Иконы раскулаченных семей об колена ломали не по указанию свыше. Стихия революции — железный поток. А когда жестокость, тупость, вероломство надолго входят в порядок вещей, остановить их становится все труднее. Если

смотреть фактам в лицо, то нельзя не видеть, что после революции страна несколько десятилетий жила и живет в крайнем, предельном напряжении, стоившем миллионов жизней. Да каких жизней! Гибли молодые, сильные, лучшие люди. Да, конечно, и в самые трудные, самые трагические годы рядом с гибелью жила надежда, рядом с отчаянием — вера, рядом с глупостью — ум.

Как показал опыт последних десятилетий, стремление свести издержки «культы личности» к необоснованным репрессиям не столь уж безобидно. Вздох сожаления: мертвых не воскресишь, улыбка ободрения: возврата к прошлому не будет — оказались уловкой, чтобы отсрочить разговор о главном. О механизме принуждения, модернизированном, но по сути оставшимся неизменным чуть ли не с начала тридцатых, а может быть, и более ранних годов. Почему принужден, если вообще не пропал интерес к колхозной собственности? Да потому, что она практически превратилась в государственную вотчину. На глазах колхозников чинится произвол над колхозом. А мы говорим о колхозной демократии. Например, сколько случаев навязывания ненужных председателей и сколько случаев, когда «неудобных» для вышестоящих властей против воли колхозников убирала. А чего стоит частая сменяемость планов без учета мнения коллектива? Возьмем, к примеру, дополнительные задания. Попробуй заикнись в муниципалитете, что прежде чем продавать сверх плана, скажем, зерно, необходимо посоветоваться с колхозниками. Оно ведь «ихнее»! Жажущие рапорта руководители в порошок сотрут такого председателя. Все это — да еще многое другое — есть причины развала колхозов. Есть основания опасаться, что и с малыми, и средними предприятиями бизнеса, которые сегодня, в условиях дикого рынка, стихийно создаются, плодятся, как грибы после дождя, лопаются, может случиться то же, что с колхозами, а владельцы частных фирм в одиночку, как некогда кулаки, пойдут в «расход».

2

Как-то у нас в редакции возник спор по поводу моего материала о репрессированных.

— Как определить, кто такой кулак? — горячился мой коллега из идеологического отдела. — Надо полагать, это зажиточный крестьянин, использующий дешевый наемный труд, эксплуатирующий бедняков. Разве не так?

Миша любил говорить красиво, и, надо признать, это у него неплохо получалось. Но сам он никогда не был в деревне, в глаза не видел ни одного живого кулака и поэтому не имел чести с ним говорить. Откуда ему знать, что именно середняк с его умением грамотно

организовать хозяйство, с его способностью эффективно использовать землю и составлял экономическую основу государства. Таким образом, кулак — это крепкий, сноровистый мужик, на котором все держится в деревне.

— Если есть состоятельные люди, то рядом обязательно должны быть бедные, — вступаю в полемику, не очень веря, что коллега в чем-то согласится со мной. — Почему бедные? Причин может быть много. Либо работать их никто не научил, либо просто не хотят работать. А есть всем хочется; и жену, и детей надо кормить. В деревне никаких пособий по безработице крестьянам, как известно, не давали. Куда податься, как быть? Нанимайся к хорошему хозяину, будешь работать, он тебя и накормит, и оденет, и денег даст. Не нравится, кормит плохо, платит мало — ступай к другому хозяину или заводи собственное дело. Силой идти в наем к кулаку никто не заставляет. Так какая же здесь может быть эксплуатация? Все добровольно.

Миша принялся старательно рыться в справочниках, веером разваленных на его столе.

— Ага, вот нашел. Уже в начале 1930 года нельзя было использовать критерии определения кулацкого хозяйства, между прочим, старательно выработанные на многих дискуссиях различными идеологами и экономистами. Да, я согласен с тем, что перед началом репрессий кулаки заметно обеднели, потому что с трудом выносили все возрастающее бремя налогов, которые становились нестерпимыми. Вот почему за тот же наемный труд, что и в прежние годы, они стали платить батракам гроши, а это, дорогой мой, и есть эксплуатация.

Черт его знает, наверное, Миша прав, в любом споре он умел выстроить логику так, что придаться было не к чему. Все вытекало одно из другого и как бы порождало истину. Никакие обстоятельства, способные послужить оправдательным аргументом, уже не принимались во внимание. Бригады по раскулачиванию, созданные преимущественно из завистливых соседей, привлеченных возможностью разграбить чужое хозяйство, взялись за дело засучив рукава. Вместо того чтобы вести точную и детальную инвентаризацию в интересах колхоза и для пополнения его фондов, они действовали под девизом: «Все наше, все съедим и выпьем». Я бы мог поведать товарищу о Степане, работнике Фарковых, которого они выгнали из нищеты, сделали человеком, который жил с ними под одной крышей, ел из одного котелка и который предал их при первой же возможности, бросившись раскулачивать своих кормильцев.

— Вот еще, — прервал мои размышления коллега. — Выдержка из доклада ОГПУ Смоленской области: «Раскулачивающие снимали с зажиточных крестьян их зимнюю одежду, теплые поддевки, отбирая

в первую очередь обувь. Кулаки оставались в кальсонах, даже без старых галош, отбирали женскую одежду, пятидесятикопеечный чай, последнюю кочергу или кувшин. Изымали все, включая маленькие подушечки, которые подкладывают под головы детей, горячую кашу в котелке, вплоть до икон, которые, предварительно разбив, выбрасывали». Безобразия какое-то! Ужас! Даже не верится.

Если бы Миша прочитал дальше, он бы узнал, что в некоторых районах 80–90% раскулаченных в действительности были обычными середняками, не имеющими никакого отношения к эксплуататорскому классу. А поскольку было необходимо отчитаться перед властями, указав значительное число кулаков, загребали всех подряд, тех, например, кто имел два самовара или убил свинью, чтобы ее съесть и тем самым не дать ей стать социалистической собственностью. Арестовывали тех, кто служил в царской армии, прилежно посещал церковь, сельских ремесленников, представителей местной интеллигенции. Без вины виноватые, ограбленные, униженные и оскорбленные, отправлялись люди в ссылку на верную погибель. Вот одна из историй, рассказанная Иваном Семеновичем Николаевым, жителем села Березовое, в заявлении о несогласии с лишением избирательного права как агента бывшей полиции: «Я родился и вырос в 1871 году в бедной семье крестьянина-кузнеца в Самарской волости Тобольского округа, получил небольшую грамоту в сельской школе, а затем был принят на военную службу во флот, где прослужил шесть лет. Вернулся домой в 1901 году и все время жил у родителей, занимался хозяйством, имея одну корову и одну лошадь, на которой кое-как зарабатывал кусок хлеба. К тому же еще женился на беднячке, крестьянской сироте Ксении, и пошли дети. Тогда вовсе не стало хватать средств существования, а купцы на бедных мало обращали внимания, поэтому я, в силу необходимости, вынужден был искать другой источник к жизни. Я решил тогда поступить на службу в должности полицейского урядника, ничуть не подозревая, что служба эта худая, и если бы я знал, что потом будет, то лучше бы я помер где-нибудь под забором с голоду. По свержению царизма в 1918 году переехал в Березово на службу в советских учреждениях: уфинотделе, райкассе, Березовском РИКе. Вскоре был уволен по сокращению штатов и занялся личным хозяйством. Болели, получили инвалидность, жили, можно сказать, на иждивении у сына. И вдруг в 1929 году получаю извещение, что я лишен избирательных прав за то, что служил в полиции. Затем лишили права голоса жену и двух сыновей, достигших совершеннолетия. Старшего уволили с работы, как лишенца, он ушел из дому, ничего не взяв с собой. Второй сын, Александр, остался дома ради больных, нетрудоспособных родителей. Мне было 60, а жене Ксении — 50 лет от

роду. За что же жену-то и сыновей лишили права голоса? Они же ни в чем не виноваты. Норму муки сейчас нам дают только по 20 фунтов в месяц вместо одного пуда, мануфактуры, рыболовецких принадлежностей, мережи, ниток и прочего не дают вовсе. Как жить? Все это очень сильно действует на слабое наше с женой здоровье, а также и не повинных ни в чем сыновей. Если будет отказано в восстановлении в правах гражданина, то невольно позавидуешь тем, кто умер прежде, так как они лежат спокойно. Тобольский ОкРИКом отказал, причины не названы. Неужели нет правды в Советской власти? 5 января 1930 г.».

А вот еще одно довольно любопытное заявление от жителя деревни Кама Кондинского района Филантия Васильевича Слинкина райисполкому о несогласии с лишением избирательного права как участника восстания 1921 года.

«Я не считаю себя виновным в бандитском восстании. Не отрицаю, что был мобилизован бандитами под силой оружия, когда они забирали к себе всех поголовно в возрасте от 18 до 45 лет. Я был «под замечанием» у бандитов, и они хотели меня «прекратить», так как был негод для них. Во время переворота в 17, 18 и 19-х годах я служил в городе Свердловске рабочим железной дороги и участвовал в учредительном собрании большевиков, где был избран от рабочей группы уполномоченным. Скоро уволился. Когда пришел домой, выбрали меня служить в потребительское общество членом правления, назначили инструктором по сбору подразверстки. Потом записался добровольцем в Красную Армию, выступал против Колчака. В 1920 г. записался в партию. Бандиты, когда взяли меня и еще несколько мужиков, сначала повезли нас в Самарово, далее — на Березово. У меня была шуба плохая, поскольку из дому взять было нечего по бедности. Отец мой батрак, работал у верхушки деревни, и мне пришлось работать в батраках вплоть до 1925 года, не имел своего ничего, кроме своей жены. И мне не нужна была власть кулачества, ибо она надоела моему отцу и также мне, так как работал за несчастные гроши. Считаю, что меня лишили права голоса неправильно».

Немало подобного рода прошений поступило в советские органы из д. Пилюгино Сургутского района, с. Реполово и с. Нялино Самаровского р-на, других населенных пунктов. Особенно берет за душу письмо учительницы Агнии Константиновны Киселевой, высланной с пятью маленькими детьми из деревни Нялино в Обдорск. Письмо адресовано Н. К. Крупской. Выслали и лишили избирательного права Агнию Константиновну за умершего мужа, который ловил рыбу и обменивал ее на хлеб. Ничего не просит женщина у Крупской: ни возврата отобранного имущества, ни восстановления в правах, толь-

ко об одном умоляет учительница: «При раскулачивании взяли у меня тетрадь с конспектами, проработанными на весь учебный год. Много труда и времени было на него потрачено. Я пыталась убедить вернуть мне эту вещь, но старший, стуча винтовкой, грозно приказал замолчать, а сам в это время засовывал в карманы все, что попадало под руку: расческу, мундштук мужа, открытки».

Ответа от Крупской не поступило.

Жизнь репрессированных сложилась по-разному, во многом по-разному оценивают они и влияние ссылки на свою судьбу. «Поколение, выросшее без любви и ласки, без детства, не в состоянии прокормить последующие поколения, — написал кто-то из ссыльных. — Из семи моих товарищей из числа переселенцев трое погибли, трое стали алкоголиками, так и не смогли адаптироваться к нормальной жизни вне зоны отбывания ссылки. Да и родители наши, прожившие жизнь в местах ссылки, многое воспринимают не так, как это реально происходит в жизни. Зло понимается как добро, добро — как зло. К примеру, сильную власть признают как добро. Жизнь в достатке — как зло». Как видно, искалечены были не только судьбы, но и представления об истине, правде и лжи.

Несмотря на свои же постановления, ЦК ВКП(б) и советская власть не спешили даже через несколько лет после высылки предоставлять гражданские права ссыльным, в том числе и молодежи, хотя в одном из своих выступлений М. И. Калинин говорил: «Дети лишенцев, растущие и воспитывающиеся в советских условиях, невольно заражаются тем настроением, которым проникнута наша политическая, хозяйственная и общественная жизнь».

Я в чистом виде дитя лишенцев, и друзья мои, и десятки тысяч «подкулачников», рожденных в Ханты-Мансийске, других городах и селах Югры, я это хорошо знаю, никаким настроением не «заражались». Просто жили, по наивности считая, что условия, которые создало в ссылке нашим родителям государство, вынуждена осваивать молодежь как бы по наследству. Таков порядок вещей, ибо другого выхода не было. Квалифицированные кадры явно не рвались в районы кулацких поселений. Это много позже, в эпоху нефтяного бума, появились вдруг бодрые ребята с комсомольскими путевками и с направлениями парткомов. А кадровая проблема решалась за счет создания многочисленных профтехшкол. В 1932 году в Западной Сибири, например, в таких школах училось свыше тысячи человек. Подготовка кадров из среды спецпереселенцев в известной мере освобождала от необходимости присылать сюда специалистов (учителей, медработников, агрономов) из других регионов и включала молодежь, как тогда принято было говорить, в «общественно-полезный труд».

Задаче отрыва и противопоставления (!) молодежи своим родителям была подчинена политико-массовая и культурно-просветительская работа среди спецпереселенцев. Для этого создавались клубы, библиотеки, красные уголки, кружки художественной самодеятельности. Работа всей этой системы строилась так, чтобы воспитывать у молодежи чувство чуть ли не собачьей преданности советской власти и неприязни к прежнему укладу жизни своих родителей. Наряду с мерами «трудового перевоспитания» на производстве среди молодежи действовали политруки, создавались группы содействия добровольным обществам: Союзу воинствующих безбожников, Российскому обществу Красного Креста и т. д. В то же время спецпереселенцам запрещалось участвовать в таких организациях, как Осоавиахим (общество содействия авиации и химической защите), МОПР (международная организация помощи революционерам). Опасались, что спецпереселенцы, овладев военными специальностями в кружках Осоавиахима, используют их в борьбе с советской властью.

2

В конторе правления колхоза им. Чкалова, разместившейся на Перековке в старом бараке для сосланных, стали крутить кино. Это событие взбудоражило всех, будто голодному псу кинули с барского стола обглоданную кость. В первый же день бабы, мужики и ребяташки, нарядившись во все чистое, у кого что было, собрались у конторы. В тесном помещении, где могло разместиться человек тридцать, а может, чуть больше, дядя Ваня Ярославцев соорудил из плах скамейки, жена его жарко натопила печку, так расстаралась, что с потолка начало капать и образовался пар, как в предбаннике. Ребяtnю в кинозал велено было не пускать, а то насорят, наплюют, возню затеют. С каждого взрослого за вход двадцать копеек (почти пачка папирос). Мужики сначала заартачились: на кой черт мне это кино, пойду лучше к куму на кружку чая. Но это так, бурчали скорее для виду, а еще пуще — от гордости: вот, дескать, придумали, чем удивить. Дядя Коля Громов сигарку не успел выкурить, как зрительный зал заполнили до отказа. Молодежь осталась мерзнуть на улице. Вечер вызрел трескучий, снег под катанками скрипел, взвизгивал даже. Крылечко затоптали, ступенек не видать, катком сделалось. Сначала один на него пописал, за ним все сразу. Галдит ребята, дурачится, чтоб не застыть.

Хромой киномеханик Федька Сбруев обошел неторопко ряды, поздоровался с каждым за руку. Важный, значимый, интеллигентный. Впервые в этот вечер от него густо пахло тройным одеколоном и перегаром — всем вместе. У первой лавки дыхнул, а у последней чувстви-

тельно. Свет погасили. На экране из новенькой простыни (профком выделил) возник сначала киножурнал про ударные стройки пятилетки и уборку урожая, затем еще про что-то. Перед фильмом пятиминутный перерыв. Мужики сразу задымили, тетки фуфайки распахнули — жарко, аж рубаха мокрая. В будке механика что-то брякает, жужжит — это Федька меняет ленту. Ударили по выключателю, замерли, народ, казалось, не дышит даже. Художественный фильм про войну. Кто-то впотьмах выдернул жердину, придерживающую дверь изнутри. Гурьбой, но тихо, как мышата, мальчишки ввалились в зал, растворились в нем. Федька с матюгами врубил свет, пошел проверять — нет нигде ребятшек, видно, показалось. Мальчишки загодя все просчитали. Кто за печкой замер, кто под подолом у теток. Те сидят, семечки грызут, виду не подают. Федька плюнул и пошел крутить дальше.

Так на Перековке появился клуб для перековывающихся «врагов народа». Каждый день Федька отправлялся в пункт проката за новой картиной, где ему отпускали ленту по особому списку для политически враждебных зрителей, утвержденному в окружке партии. Из города в кино на Перековку мало кто ходил, боялись, да и показывали там одно старье. Перековские парни дружные, дерутся, если что, до крови.

Жизнь — как телогрейка, рваная, вата из дыр торчит клочками, на людях появиться стыдно, а ведь привыкаешь к ней, и ничего вроде, так и надо. Потому и годы проходят незаметно, как ночь: уснул ребенком, проснулся взрослым. Так устроено. Куда течет река жизни «подкулачников» ныне, какие берега судьбы омывает? Нет, не тех, что выучились, сидят где-то на Большой земле в высоких чинах и званиях. О них разговора нет, о тех речь просится, кто навсегда прирос к местам переселенческим, кто здесь корни пустил. И я с охотой и немалым любопытством отправился по сельским весям.

3

«Опять я в деревне. Хожу на охоту, пишу мои вирши — живется легко». Представляю, как жилось бы Некрасову где-нибудь в Кондинском острожье, в ветхой избенке с глухими ставнями и похилившимися деревьями в заброшенных палисадниках. Уж не знаю, кого держал на примете один знаменитый француз, когда сказал, что «деревня таит в себе прелесть для тех, кто не обязан там жить». Наверное, и я должен принять этот многозначный упрек на свой счет, поскольку почти с детской наивной восторженностью толкаюсь носом в мир, до меня много раз кроенный-перекроенный. И все же решение оконтурировать свое видение сибирской окраины мне показалось верным. И с радостью открытия представилось даже: вот разъезжаю я по провин-

ции, где-то в забытой богом деревушке из десятка-другого вросших в землю построек останавливаюсь на постой у приветливой, охочей до разговоров бабки, и — разлюбезное дело! Утром — холодное молочко. В крынке! С толстой кремовой, с коричневым припаром пенкой! Чай. Из самовара! Шаньги со свежим творогом! Сметана густая — ножом режь. Петухи поют. Эх! Как хорошо!

...Но я ведаю, куда путь держу. Не впервой. В кармане собственноручно начертанная карта: Болчары, Ямки, Кама, Половинка, а это вот целый куст: Мулымья, Чантырья, Назарово, Шаим... Между ними там и сям крестики — мертвые деревушки. И сколько их еще будет, этих пометок... Не карта, а погост. Обреченная, но непокорная явь растления. Вижу остов последней хаты, головешкой вставший из сугроба, повалившееся прясло. Бывшая Сатыга, бывшая Евра... Бывшее — значит необратимое, потерянное во времени.

Я стою по колено в снегу, посреди земной плешки, которая — больно принимать это — и есть единственный скорбный памятник покойной деревне, одной из многих на Конде, какие раньше называли кулацкими малодворками и еще как-то и которые сами собой словно исчезают: свозятся на центральные усадьбы, горят, разрушаются, идут на снос и перевоз. А то и просто, как на Сырковом озере, стоят с заколоченными окнами в погостной уже немоте и печали, и только тополь какой-нибудь, забытый топором, обойденный и временем, словно еще более вольно шумит над пустыми избами, вещая, что вечна раскинутая над ним небесная синь и малое людское время.

У кого же я как-то в грозу ночевал? У Митрича. Ну да, кажется, его дом стоял вот здесь, где обвисла над бугром надломленная сосенка. Помню овальный стол в горенке с опускающимися полукругом крыльями, крытый вязаной кружевной скатеркой. Половички в бледную розово-белую пестрядь. Крепкие, добротные лаженные стулья. А еще чайник с нырком на макушке и мутные фотографии в самодельной рамке, сделанные еще до ссылки.

Утром, так и не наговорившись вдоволь, Митрич, босой, с непокрытой лохматой головой, держался на мокром крыльце и неуклюже, непривычно махал рукой, прощаясь.

Травы пахли лениво и пряно. Совсем иначе, чем на заре, когда клубился густой туман. Солнце только-только показалось в небе, выплыло из-за темноты, и деревушка, обласканная его щедрым теплом, словно в один момент вспыхнула каким-то внутренним трепетным сиянием. Неужели это я лежал на пожелтом дерне, дожидаясь, когда затарахтит «уазик», слушал, как бегут по склону в овраг ручьи, урчат где-то тетерева и с тихим, как вздох, звоном-шорохом осыпается с кустов влага?

Старики рассказывают, будто в местах ныне безжизненных поселений стояли колхозы, скроенные из спецпереселенцев. Скотину содержали, хлеб выращивали. Верой и правдой земля служила. По Средней Конде и Оби, Нижнему Иртышу сеяли сорта зерновых культур: яровую пшеницу, овес, ячмень. День и ночь крутились мельницы сортового и простого помола. В 45-м зерновые в округе сеяли на площади почти 11 тысяч гектаров. А вскоре все прекратилось. Кабальный продналог, голодный паек за труды. Все имеет предел. Сушим бедствием для села стала ликвидация так называемых неперспективных деревень. Только в 1952–1979 годах в Тюменской области их исчезло свыше тысячи.

В новые, престижные нефтяные отрасли хозяйства подались многие местные жители. Благо власти к тому времени сняли с раскулаченных и сосланных все запреты. Так начала хиреть и ветшать Кондинская провинция, сегодня она почти безлюдна, заброшена до одичания. Словно от века никто не забредал сюда, и сами поля вокруг были не паханы, заросли осинником, березовым прутняком.

Вот снова я оказался в полях этих, точнее уж — в залежах, в гривах придавленного снегом бурьяна. И сколько раз бывало, бурые, сухоголенастые звери не нашего времени, с уродливо-долгими безрогими головами выходили вдруг такой же первобытной и редкой поступью, наталкиваясь на меня, смотрели мгновение и убегали странной иноходью. Что же потянуло меня в это сладкое запустенье, в эту необратимую первобытность? И почему же в последние годы я не рвался сюда и будто бы даже забыл эти места? Старею, что ли? Набежали вдруг воспоминания о прошлом времени, когда без усталости сновал туда-сюда с журналистским блокнотом по деревушкам, где среди чужих мне людей чувствовал себя, как дома, — тепло и радостно? А может быть, что-то еще, может, вселившееся в голову желание противостоять кажущемуся мне всеобщему государственному и личностному равнодушию к судьбе северных окраин?

Вроде родился в городе, а все же сердцу ближе деревня, хотя от нее я почти отвык, ведь в городе, а особенно в жилом районе, со всех сторон люди, которые, как будто нарочно, шумные, неосторожные. Кто-нибудь обязательно бодрствует, у многих есть телевизор, радио, магнитофон. Кроме того, есть еще хлопающие двери, стиральные машины, пылесосы, центрифуги, юная дурь и пьяная пьянь, которой все трин-трава и которая может веселиться и колобродить хоть днем, хоть в полночь, не признает подчас ни законов, ни норм, ни приличий.

Вот почему надумал я совместить приятное с полезным и съехал на пару-тройку дней в Чантырью, что от ближайшего населенного пун-

кта — города Урая, по словам водителя, не очень далеко, но и не очень близко. Живет в этой деревне младший сын Громовых Серега. Тетя Аня сильно просила проведать парня. Вышел из машины, и передо мной в изгибе закопанной реки открылась до боли знакомая картина. Деревня показалась мне совсем не прежней, не той, хотя как будто не выросла и не расширилась, скорее наоборот, сократилась. Может быть, так казалось из-за крыш — тогда, раньше, серых тесовых, а сейчас все больше белых шиферных, которые любому строению придают одну скучную стать. Последний раз я был здесь несколько лет назад, проходил по главной, в песчаных разводах, улице. И осталось во мне ощущение жары, зноя и безлюдья. Это было нечто во всей полноте супротивное бестолковой суете города, всей его вакханалии звуков, гудков, скрежета, автомобильных храпов.

Чантырья — не лучший образец провинциального запустения. Избы доброй частью в возрасте, но еще вполне годны для житья, порой кажется, веку им не будет. Народ беззлобный, не то что в окружном центре или в Урае, хотя многие рабочие дни свои коротают именно в городе.

Порожня, четыре на пять, избенка Сереги, у которого мы остановились, продувается сквозняком, как сито. Серега отслужил в горячей точке, вернувшись с осколком, который, по его твердому убеждению, бродит по жилам, словно заплутавший путник. Жена рожает в городе. А пока рожает, Серега пропил комод и телевизор, все с немумной тоски, поэтому «зала» стала напоминать опростанный амбар. Остался только укутанный липкой лентой захудалый магнитофончик. Он нескончаемо, с утра до вечера, хрипел и трещал, выкашливая хриплые звуки. Серега страшно рад затерявшейся в бардачке нашей машины бутылке. Ну зачем, отправляясь в деревню «по делу», люди обязательно везут с собой водку? Повеселев, Громов распахнул изнывающую душу: «После службы приехал к родителям в Ханты. Больше вроде ехать некуда. На работу не берут, все места ребята из Средней Азии застолбили. Специальности тоже никакой, в армии только стрелять учили. Потолкался, потолкался, все без толку. Хоть волком вой или опять в горячую точку возвращайся. Предлагали ведь на пару лет сверхсрочником остаться. Не пожелал. А тут повстречалась девчонка, она на курсах училась. Любовь, туда-сюда. Свадьбу сыграли и поехали к ней домой, в деревню. А в Ханты я больше не вернусь, обидел меня родной город, ох, как обидел. Ну, ничего, мы, подкулачники, и здесь не пропадем. Правильно говорю?»

В первый же день, можно сказать, через нее, через водку неладную, приключилась такая вот несмешная история. Хватив стакан с мороза, Серега вскоре понял, что застудил зуб, который и раньше, бывало,

нет-нет, да и давал о себе знать. Что только не совал парень в рот: и соль прикладывал, и бобик чеснока, даже одеколон пробовал — не помогает. Щеку разнесло, как тыкву. Кто-то вспомнил, что хорошая банька с хвойным веничком — от любой хвори средство.

Истопили баню. Серега первым пошел, на свежий парок. Крепенько отхлестал себя по лицу, кряхтел от боли. Из предбанника выполз багровый, оранжево-полосатый. Вроде чуть-чуть полегчало. На радостях опрокинул из поллитровки остатки. Упал в чулане то ли на кровать, то ли на пол — не знаю, мне не видно было. Кажись, забылся. А как остыл, заорал снова, еще пуще прежнего.

В сенях Клавдия затопала, соседка:

— Не маялся бы ты, Сережка. Беги к фельдшеру.

— Сама беги. Легко тебе советы давать. У самой-то зубья твердые, как борона.

Серега, завывая, принялся кататься по полу. Мы не заметили, как в избе появился кто-то с маленьким ридикулем в руках.

— Клавка, ты, что ли? — простонал Серега. — Чего это от тебя карболкой пахнет?

— Я, сынок, я. Докторшу привела. Щас она мигом тебя на ноги поставит, — нырнула соседка в чуланчик, по ходу нашептывая врачихе: — Вот он, туточки. Волком воет, убиться грозит, а у него Катька на сносях. Ага, соль ест, одеколон дует. Совсем сдурел парень.

Все понял Серега. Рванулся к двери, налетел на Клавдию, нырнул под руку, у порога запнулся за половик, на четвереньках выполз на крыльцо. Крепко запер изнутри дверь предбанника.

Опять подвернулась соседка:

— Не мужик ты, а теленок окаянный. Доктора испугался. Э-э-э... Слушай сюда, может, Агафона Лукина покликать? Он многих, кто зубами, избавлял.

— Да ты, Клавка, в своем ли уме! Разве кузнецы зубы лечат?

Смотрю, соседка и вправду за Агафоном сбегала. Дородный, с твердыми, как кувалда, кулаками, мужик молча, без видимых усилий, вскрыл предбанник.

— Тикает? — уставился на обалдевшего Серегу.

— Есть немного.

— Который?

— Кажись, этот, — пробормотал Серега, нервно дернув вздутой щекой.

— Больше не будет.

Кузнец вытер чугунные ладони о полу пиджака, сграбастал Серегу, прижал коленом к лавке, хватил из нагрудного кармана плоскогубцы...

— Чего зенки-то распахнула? — засветился через какое-то время страдалец, сверкнув глазами на Клавдию. — Тащи сивухи в долг, Агафона Евлампича угостить треба... Коновал, язви его...

В Чантырье нет супермаркета, какого-нибудь там ателье или ресторана. Впрочем, в них мало кто нуждается. Рабочих мест из-за отсутствия даже маломальских производств — с гулькин нос. А что же держит здесь, в лихом тупике, по всему видать, терпеливых и неропотных сельчан? Чистый воздух или неандертальский, неприхотливый быт? Бесперспективность! Я это понял сразу, увидев мужика с фиолетово-синим лицом. Обретя бутылку, он колебался на углу сельмага, потягивался, зевал, скреб под мышками и разговаривал сам с собой. Его никто не ждал, он никуда не спешил, в нем никто не нуждался. Бесцветно-тосклива, должно быть, жизнь, когда ты не связан работами, обязанностями.

Жителям поселка не знакомы понятия «дотация», «субсидия», «благоустройство», «соцкультбыт», «жизненный уровень». Районное начальство навещается сюда редко. Иногда, правда, покажется на народе участковый, обычно под свадьбу или выходные, если где-нибудь вскипает народная драма с жаркими диалогами, сопровождающимися применением подручных средств. Но чаще все-таки обходится, драчунов растягивают родичи и дружки, и мир восстанавливается.

Как-то я сподобился выйти на улицу в полночь, когда деревья угомонились, не бубнили телевизоры, замерли огни, избы чернели, как нежилые, собаки перестали лаять, и только луна холодно висела над крышей, словно одинокая лампочка на столбе. Я сидел на вышарканной скамейке у ворот и тягостно думал о чем-то. Да, эти ворота. Они были не новые, но справные, прямые, подпертые снизу листовыми пасынками. Если деревня, упаси Бог, умрет, ворота эти долго еще простоят, наглухо запахнувшись от внешнего мира со всеми его городами, шумом и суетой, кризисами и реформами. И худой кот, брошенный хозяином, будет смотреть из-под ворот с настороженным прищуром в пустоту.

Чем пробавляется бывший колхозник, грубо оторванный от земли, породившей его, чем вообще уплотняют жизнь свою не избалованные государевой опекой работные люди?

Побитые долголетием бурые прясла кромсают немереные надежды. Нет, это не та земля, что в раздольном, свободном поле, которая ровна, необъятна. Огород — жалкий обрубок, брошенный на вездесущую картошку да всякую зеленую мелочь. Куда ему до полюшка! Но огород кормит, в нем нестыдный источник пропитания. И это в Чантырье по-крестьянски толково, с основательным расчетом разумеют.

До нудной ломоты в спине, до отупения гнутся по осени бабы и ребятишки на приусадебных отрезках, увязнув в жирной, щедро унавоженной земле. Копают, сушат на ветерке, ссыпают клубни в погреб. Сотни мешков! Семье на зиму — по макушку. И корове, и пороссятам вдосталь. И на продажу. Та, что продажная, особого отбора, — в переднем углу голбца.

Чуть подылитися на солнышке хлябистая от дождей дорога, налетят на деревню, словно саранча, городские жители. О, тут не зевай! Бизнес, он и в Чантырье — бизнес. В прошлом году Агафья хорошо выручила. Скинула по полтиннику за ведро — от покупателей отбою не было. Племяннику мопед справила и себе прикупила пальтишко с крашеным воротником. Она еще совсем молодая, но какая-то плоская, худая, с будто деревянными ногами-лутошками, с вогнутым узколобым лицом, на котором даже на отдалении читалась мелкая покорность и вроде бы тяжелая постоянная скука. Худо ей, неутешно. Хозяин, словно высохший весь мужик с белесыми, как у налима, глазами, днями торчит в городе, сбывает на базаре мороженую рыбешку. К вечеру плотно набирается, а добравшись до дому, старательно, для порядка, лупцует безответную Агафью.

Картошка-рыба, молоко-картошка, огородные разносолы и все та же картошка — это, судя по газетам, и есть продовольственная корзина, определяющая уровень деревенского благополучия. Еще, конечно, грибы, ягоды, орехи кедровые, но сие добро не в счет. Оно ведь может быть, а может и не быть — природе не прикажешь. Ближние леса тракторами повалены, болота потоптаны... Клюкву наезжие заготовители ручными комбайнами таскают вместе с листом. Зеленую!

Прежде деревня делилась на кулаков и батраков. Теперь делится на тружеников и лодырей. Разница совсем небольшая. Бездельников везде хватает. Да вот Гришка Савков. Работать не хочет, не умеет. Или разучился уже. Прикидывается ненормальным. Ни жилья у него путного нет, ни хозяйства. Одно дело — рюмки по деревне сшибает. В городе Гришку давно бы такие же, как он, алкоголики насмерть забили. А тут ничего, существует. С голоду помереть не дают, все же во дворе не 30-е годы, в баньку помыться пускают. Добрые души. Но прежде дров накопи, воды натаскай, навоз из стайки выгреби. А как иначе?

...Избавленному от больного зуба Сереге стало очень весело. Вдолбил себе в голову непременно сводить меня в клуб. Ох уж этот бедовый «очаг». Будто панацея от всех сельских несчастий; нет его — потому мол, и хулиганят отроки, нет его — оттого-де уезжает молодежь в город, тоскует по дворцам культуры. Ну-ка, а в городах, в том же Урае, валом ли валит в них молодежь, не часто ли пустуют они, став прибежищем бездарей и болтунов, мнящих себя режиссерами и худож-

никами. Ну, танцы там, громкие дискотеки. Наслаждение? Да просто дурная мода, от нечего делать. И все же почему о нехватке на селе молодежи заговорили вслух лишь теперь, разве статистика, демографические и миграционные данные не предупреждали об опасности раньше? Тут невольно возвращаешь себя в черное время раскулачивания и ссылок, репрессий и целенаправленного, не ошибочного даже, откровенно вредительского уничтожения села. Не только у людей, у времени тоже есть генетическая наследственность. Она не замедлила сказаться в сердцах и душах молодых. Чтобы молодой человек жил в деревне и не рвался оттуда в бега, дай ему возможность плодотворно работать не на «благо народа и родной страны», а в первую очередь на свое благо. Ошельмованные в известное время понятия о частной собственности, предпринимательской деятельности сегодня становятся, пожалуй, основополагающим фактором развития и, что очень важно, возрождения, омолаживания села. Власти это вроде как хорошо понимают, но развитие малого предпринимательства в условиях рынка предполагает в первую очередь финансирование инвестиционных проектов в такой приоритетной отрасли, как аграрно-промышленный комплекс. Никто уже не спорит, что предпринимательство — это важнейшее направление развития экономики России, ее регионов. Суть кулачества, изуродованная сталинской политикой коллективизации и экспроприации частной собственности, возрождается в новой ипостаси. Так что следует оценивать как большой успех, если тебя будут считать сегодня зажиточным крестьянином, кующим доход, — КУЛАКОМ. Анализ опыта показывает, что там, где развивается малое предпринимательство, в особенности на селе, меньше бедных. При дальнейшем развитии его будет расти средний класс, инициатива, а крестьяне все больше будут брать ответственность на себя за результаты своего труда. Невооруженным взглядом видно: развитие сельского малого предпринимательства в ХМАО сдерживается ограниченностью доступа к финансовым ресурсам из-за требования кредитными учреждениями залоговых гарантий, неразвитостью механизма кредитования. В развитых государствах ощутимая масса валового сельскохозяйственного продукта создается, кстати говоря, малыми и средними предприятиями. Деятельность их ориентирована в наибольшей степени на удовлетворение местных нужд, решение социально-экономических проблем на местах, а также на развитие всего региона. Должно быть понятно, что без помощи государства, региональных и местных органов власти комплексная и эффективная производственная инфраструктура поддержки села возникнуть и существовать практически не может. А мы говорим: чего это молодежь валом прет из села в города и мегаполисы? Да от

того и прет, что проще и выгоднее заниматься сегодня узаконенной спекуляцией, перепродавать, скажем, водку, тряпки и презервативы, чем ворочать навоз, платить бешеные налоги, не рассчитывая ни на какую поддержку государства и местных властей, приятнее отовариваться в супермаркете, нежели в захудалом сельпо со скудным набором товара дореволюционного выпуска. Нет сегодня в деревнях Кондинского района настоящих кулаков, те, что были в числе сосланных сюда в 30-х годах, вымерли, а молодежь повторять их участь не хочет. Если сегодня нет-нет, да и проскользнет в словах президента России крамольная идея о необходимости возвращения государству части приватизированной собственности, то кто может дать гарантию, что практика раскулачивания не возродится? Вот почему мы занимаем довольно скромное место в Европе по числу малых и крупных предприятий бизнеса, производящих продукцию, зато торговых, спекулирующих, как грязь.

Ну ладно, вернемся, пожалуй, с заоблачных высот на грешную землю. Что, бедна окраина, убога, бездуховна? Да нет, ведь уходят в небытие не только бедные. И вообще, не слишком ли громко скорбим мы о деревне? Не сгущаем ли краски? Что если б глянул из далекого довоенного вчера на нынешнюю Мулымью, Чантырью, Ушью или Половинку натруженный мужик, считавший трудодни при свете лучины, не знавший тракторов и магнитофонов, стиральных машин и телевизоров? Какой вопрос прочли бы мы в его глазах? Думается, вряд ли удивили бы его морковного цвета «Жигули» во дворе, часток антенн и рев «Буранов». Он это предвидел, не читая газет и не слушая радио. Он был мудр, умен и дальновиден, ибо жил будущим.

В клубе ждали гостей — самодеятельных артистов. По случаю на представление съехались, сошлись люди из соседних деревень. Мы с Серегой Грозовым, переминаясь (холодно, черт!), стоим в сторонке. Кто-то очень, наверное, важный отпускает команды клубному сторожу:

- Петрович, шелуху из зала выгреб?
- Ага, еще вчера.
- Лампочки на сцене ввернул?
- Так ить нет лампочек-то...
- Я те дам, нет. Расшибись, а найди. И замок... Замок на дверь повесь, а то народ повалит прежде времени — наплюют, надымят.
- Так ить и замка нет.
- Как нет?
- Не было его вовсе. Старуха моя изнутри дверь-то метлой заложила.
- Тьфу!

Ребятишки затеяли возню (господи, сколько время прошло, а все так же, как у нас, на Перековке). Петрович громко заорал, замахал руками, грозясь огреть лопатой по загривку не то краснощеких баловников, не то принаряженную, густо надушенную горстку девок, шумно лузгающих семечки у крыльца.

Снова слышу повелительный голос:

- Петрович, тех, что выпивши, не пушай.
- Ладно.

Мест на всех не хватало. Замешкался — дуй домой за табуреткой. Пацаны перед сценой на полу, валенок в изгололье.

Складки занавеса дрогнули. Нервно поползли порознь. В темноте захлопали, загомонили. Артисты что-то старательно, в один неровный голос запели. И в этот самый момент в первых рядах нарисовалась могучая фигура бабы в серых катанках. Тетка поднесла себя к вялому, носно одетому старику и, растопырив пальцы, заголосила так сильно и грозно, что хор ойкнул на полуслове, смолк и энергично попятился к заднику.

— Ты почто, козел вонючий, убег, не спросясь? — загромычала баба, по-бычьи выкатив глаза.

— Это, того...

— А ну отсель!

Тетка схватила старика за шиворот, как куль с картошкой, и принялась трясти его, словно половик после свадьбы.

Зал загудел, заволновался — позорище! Из-за кулис выкатился Петрович с метлой: «Ах, мать вашу...»

Шумливая пара между тем взгромоздилась на сцену. Назревал скандал. А конференсье, хитро улыбаясь, ткнул в их сторону пальцем и торжественно объявил: «Вы смотрели шуточную сценку в исполнении ветеранов нашего драматического кружка».

Актеры под гром и свист стянули с себя парики.

Хохотали все. До слез. Вот только мне было не до веселья, когда я наведывался в крошечные деревушки, где нет ни клуба, ни гостиницы, ни столовой, где вообще ни черта нет. Сначала подумаешь: то-скуют переселенцы по родной земле, по отчому дому, никак не могут войти в новую колею, на все махнули рукой. Да ничего подобного. Бывает, разбросает муравьиную кучу, расшевелишь, утром посмотришь: стоит, как была. И у людей так. Все у них отобрали, угнали в дальние края, бросили на произвол судьбы — живите, как хотите. Не все, но многие выжили. Избы — не скажешь, что шикарные, просто добротные, в каждом дворе корова, обязательно поросенок, куры, лодка, у кого-то мотоцикл или машина. Все это нажито своим трудом. Может, и есть тоска по прошлому, но редко, после кружки браги,

и то на миг, скоротечно. Чего лишний раз берeditь душу, когда сегодняшних забот полно. Не помню, где точно, может, в Половинке или в Ямках, я обратил внимание на корни, они были твердыми и жилистыми на песчаной деревенской дороге. Словно тесно им под землей, и они, напрягая все силы, рвутся на поверхность. Изрезанные гусеницами тракторов, колесами грузовиков, кем-то в злобе изрубленные топорами и лопатами, но живые. Иссеченные шрамами, перекрученные, на свежих ранах выступали капельки смолы. Эта деревенская дорога как будто вымощена была корнями, по ней можно проехать в любую слякоть. Еще помню: сбоку, у самой дороги, — кладбище. Деревянная, поломанная в нескольких местах ограда, сваренные из труб, сколоченные из сосновых бревен кресты, огороженные проволочной арматурой могилки, выцветшие, пожелтевшие от дождей и солнца фотографии, дешевенькие памятники. А среди них живые, словно отлитые из бронзы, сосны, корни которых оплели приземистые холмики могил. Тишина, одиночество, запустение. Стоит немного проехать — райцентр, поселок Междуреченский. Несколько лет назад администрация в полном составе переехала сюда из Кондинского. Здесь железнодорожная станция, крупный лесопромышленный комбинат. А на прежнем месте, исконном для района, ныне такое же запустение, как на кладбище. Новый райцентр за последние годы приосанился, обрел какую-то непривычную для деревни статью и официальность. Я стою возле здания районного начальства, вокруг которого копошатся люди, мостят тротуары, разбивают газоны, толкают в глубокие лунки деревца, и наблюдаю. Вот подкатила «Волга». Из нее неторопливо, с трудом выбирается мужчина. Выбирается словно бы по частям: сначала ноги, потом голова, подернутая сединой. Наконец, выбирается весь, распрямляется. Высоченный мужчина в несвежей косоворотке. Брюшко кулем. Возраст его уже таков, когда привычное обращение «молодой человек» воспринимается как ирония и вызывает короткий прилив печали. Выглядит он намного старше своих лет. Казалось бы, разговаривая, должен пригнуться, чтобы расслышать собеседника, но он, напротив, распрямляется, высоко вскидывает голову, делает важный вид и смотрит на человека свысока, как слон на моську.

Вообще, Кондинскому району больше всего идет лето, когда окна и двери настезь, когда его буквально заливают буйная зелень, когда щедро отдаются его обитателям и широкая река, и богатые озера, и грибные и ягодные места. Недавно одна семья поменяла свою квартиру на тюменскую — без доплаты и всего на одну комнату меньше. Сейчас каются. Он, этот район, вернее его центр, точно магнитом притягивает. Вчера сюда ссылали, сбрасывали целые семьи, как в

братскую могилу, а сегодня отсюда народ уезжать не хочет. Чудеса, да и только. Дворец спорта, Дом культуры, кафе, ресторан, железнодорожный вокзал. Видно, при хорошем хозяине и метла хорошо метет. Но вокруг, в каком-нибудь десятке километров от центра, в глубинке, которая и составляет всей своей территорией и людской массой район, горечь одна и досада. Не раз я там бывал. Вот тетка, украшенная синяком под глазом, уныло, безнадежно бредет к сельмагу, босая, волосы на голове веером. Села на крыльцо, закурила «беломорину», ждет открытия. А вот дед, держится на скамейке у ворот с самого ранья и всем, кто проходит мимо, знакомым и незнакомым, почтено говорит: «Здрасьте». Вот где культура, а мы говорим «деревенщина». Брожу по райцентру просто так, без всякого умысла. Гляжу, в одном из дворов резвятся детишки, играют в классики, прыгая на одной ножке по теплomu асфальту, тщательно промытому дворничихой. Вот она сидит на вытертой скамейке у подъезда. Она красива тихой, спокойной, незаметной красотой. Надо было, наверное, о чем-нибудь поговорить с ней, сказать что-нибудь и послушать, как она отвечает, рассмотреть отдельно ее глаза с теплыми искорками, ее мягко очерченные губы, гладкий и чуть увлажняющийся от волнения лоб. Только тогда поймешь: красивая. Сколько бы я не ездил по району, всякий раз обращал внимание на то, что здесь великое множество настоящих красавиц исконно русской добротной породы. А стоящих парней мало. Куда не сунься — либо законченный алкаш, либо безработный бродяга. Девки страдают, мучаются, от них ведь природа своего требует. Вот смотрю я на дворничиху; сейчас взгляд у нее покорный, словно бы виноватый перед каждым, кто выходит из дома или входит в него. Ей, наверное, нет еще и двадцати, но сама она наверняка считает, что уже «едет с ярмарки», что она уже тетка, хотя своих детей и не рожала. Одета она аккуратно, так, как одеваются современные деревенские женщины: серый плащик, кепка козырьком назад, простенькие отечественные сапожки. Любо смотреть на нее, любо и радостно, будто выскакиваешь ты из парилки, одуревший от жары, а тебя встречает свежий, чистый, хрустальный воздух.

Глава пятая

1

Этот день Спиридон разложил по часам, даже по минутам. Он готовился к нему давно, с того момента, когда увидел сон, предсказавший то, что ждало его в самом скором будущем. Голос невидимого в тумане божества назначил дату — 23 августа. Почему именно 23-го,

Громов не знал. Это потом, много позже, заново возвращаясь к той ночи и осмысливая ее, он вспомнил, что как раз в этот день померла жена и родился сын. Вчера Спиридон ходил на охоту. Утро было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя, и человека. Едва ли в такую неуверенную, неустоявшуюся погоду какая-нибудь живность решится бродить по лесу. Так и не сделав ни одного выстрела, Спиридон повернул домой, как вдруг увидел непомерно большого для здешних краев, поджарого, с облезлыми боками волка. Подгибая передние лапы, он бесшумно передвигался из чащобы, как будто скользил грудью по мокрому мху. Спиридон отступил за лиственницу и снял ружье. Тяжелыми, рваными прыжками, топя лапы в густой траве, волк полетел прямо на него. Громов уже слышал хриплый, похожий на стон, звук его дыхания. Спиридон ударил из обоих стволов, и волк, не ожидая такого отпора, подскочил, отчаянным прыжком выскочил высоко в воздух, но уже не вперед, а в сторону, и завалился. Когда Спиридон подбежал, он еще был жив. Хрипя и молотя лапами, он подгрел под себя траву, глаза налились кровью, голова вскидывалась и падала. Он не добил его, как следовало бы, а стоял и смотрел, стараясь не пропустить ни одного движения, как мучается подышающий хищник, как затихают и снова возникают судороги, как возится на траве голова. Уже перед самым концом он приподнял ее и заглянул в глаза — они в ответ расширились, и он увидел в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенячьи рожицы. Он ждал последнего, окончательного движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах, и пропустил его. Ему показалось, что глаза волка в этот момент были обращены в себя.

Ступая к избушке, Громов нешуточно начинал думать, что и сон, предсказавший ему кончину, и чертики в глазах волка имеют какую-то мистическую связь, заставляющую верить в реальность неявного, несуществующего, и чем больше он убеждал себя в этом, тем настырнее одолевала пугающая мысль: все, пора и честь знать, пожил свое Спиридон Громов. Волк — это знак, не иначе, это зов в тот мир.

Утром 23-го Спиридон поднялся раньше, чем обычно. Разворошил печку, вскипятил чаю, взялся за рацию. Сколько лет сидел в лесу, на химподсочке, а так и не научился толком обращаться с этим чудным и вредным аппаратом. Прежде чем включиться, заработать, рация как будто ждала, чтобы ее ударили кулаком по серой жестяной крышке, надавали по бокам и обозвали матерными словами. Лишь после всего этого ее начинало дробно трясти, вырывался наружу прерывистый свист, сопровождаемый надсадным хрюканьем, и можно было услышать голоса, сказать что-то самому. Говорил Спиридон много, путано, взволнованно заикаясь и матерясь. На участке к этому привыкли.

Если на связь выходит Громов, значит, вся тара до краев забита живицей, значит, смолу пора вывозить. Доложившись начальству, Спиридон поплелся к баньке, сиротливо покоящейся на берегу Турсунтского Тумана, натаскал из озера воды, растопил буржуйку. Банька была будто и не банька вовсе, а собачья конура. Морозными ночами зимой громовский пес часто прятался здесь от ветра и стужи, вытянувшись на мешковине у теплой печурки. Войти в баню можно было, только низко согнувшись, полог лежал чуть выше пола, и забраться на него не представляло большого труда. Тщательно ободрав себя грубой мочалкой и нахлеставшись вволю березовым, вперемежку с хвоей, веником, Спиридон кулем рухнул в озеро, поплескался немного и, фыркая и крякая, пошел в избушку голышом, натянул на мокрое тело чистую рубаху, кальсоны. Попив чаю, двинулся в кладовку, волоком, но бережно, притащил гроб, сбитый еще на прошлой неделе из сухих сосновых плах, поставил на две табуретки, сам сел на полу и без мысли, с тупой устремленностью стал шарить впереди себя глазами, что-то отыскивая, что-то вовсе и ненужное, тяжелое. На выбеленных, с отсыхающей известью стенах, на потертом до углублений полу, на потрескавшемся подоконнике — везде, куда падал свет, казалось сирого и убого, продавлено глубокой непоправимой старостью и скорбью.

Нет, этот последний, переломный момент не казался страшным. Страшно было другое — несправедливым казалось то, что он обычным своим порядком и обычной скоростью день за днем подвигался к тому, что будет, и ничем это «что будет» оттянуть было нельзя. Сегодня, когда оно состоится, когда очутится он в новом мире и определится, кем ему там быть — крестьянином ли, но каким-то другим, не кулаком, не теперешним, когда впряжется в лямку того нового существования и потянет ее, станет, наверное, легче. Не будет там грабежа, не будет концлагеря, банды, тюрьмы. И леса этого, и опустылевшей избушки этой, и гнетущего одиночества — ничего не будет.

Спиридон с хрустом поднялся, приблизился к гробу, зачем-то огладил ладонью его шершавые бока, зажег огрызок свечи, примостил у изголовья и неуклюже, с трудностью уложил себя на голое, прохладное днище. Закрыв глаза, скрестил на груди руки и остановил дыхание...

Ночью разгулялся ветер, кидался на избушку со всех сторон, бился в окошко, в дверь, которая дребезжала, вздрагивала, стонала от ударов и, не выдержав, откинулась наружу, захлопала по косяку. Сдуло свечу на пол...

За минуту пламя охватило всю избушку и взвивалось высоко вверх, горело сильно и ровно, и горело, раскалившись от жара, сплошным огнем все: стены, сени, стреляло головешками, искрило. Пылало так,

что не видно было неба. Далеко кругом озарено было этим жарким недобрым сиянием. Тесина на крыше вдруг поднялась в огне стоймя и, черная, угольная, но все же горящая, загнула в сторону, почти в тот же миг огонь опал, покатались верхние венцы. Крыша рухнула, и все: одни шипящие головешки и в смердящем дыму чудом почти не обгоревший гроб.

Похоронили Спиридона в Урае на старом кладбище. Не закапывать же старика в лесу. Здесь, в молодом городе нефтяников, жила и работала учительницей дочка Николая Громова, значит, есть кому присмотреть за могилкой. На похороны съехались Николай с женой, их сыновья, прилетел издалека, из Запорожья, брат Анны Афанасьевны Александр Фарков.

Господи, как все же легко расстается человек с родными, близкими своими, как быстро он забывает всех: и близких, и дальних родственников; жена забывает мужа, муж жену; сестра забывает брата, брат сестру. Хоронит — волосы рвет на себе от горя, на ногах стоять не может, а проходит полгода, год, и того, с кем жили вместе двадцать, тридцать лет, будто никогда и не было. Что это? Так суждено или совсем закаменел человек? Главное, жив я, а со всеми остальными случайно или не случайно встретился, побыл, поговорил, поиграл в родство и разошелся — каждому своя дорога. Нет, дик, дик человек, этак и зверь не умеет. Волк и то, потерявши подругу, отказывается жить...

Что чувствует в таких случаях человек? Ничего он не чувствует. Ничего не понимает. И ведет он себя так, будто с него первого и началась жизнь и им она навсегда закончится. Вы, мертвые, скажите: узнали, нет вы всю правду там, за этой чертой? Для чего вы были? Здесь мы боимся ее знать, да и некогда. Что это было — то, что зовут жизнью, кому это надо? Надо это для чего-то или нет? И наши дети, родившись от нас, устав потом и задумавшись, станут спрашивать, для чего их рожали. Тесно уж тут. И дымно. Пахнет гарью.

2

Девять дней не разъезжались Громовы. В двухкомнатной, но страшно тесной, словно урезанной жадными соседями, квартире Светланы родственники толпились, как на вокзале, но это обстоятельство ничуть не смущало их — в детстве, на Перековке, не такое бывало. Спали вповалку на полу, вечером собирались в одной из комнат, пили чай и говорили, говорили. Каждый о своем, хорошем и наболевшем. Где еще выговоришься так, как не среди родных братьев и сестер?

Александр никогда не был на севере, он вообще много лет никуда из Запорожья не выезжал даже во время отпуска. Отец жены инвалид войны, двое ребятишек-школьников, большой сад на приусадебном

участке, а еще полным-полно заказов на портреты и натюрморты — все занимает уйму времени, при нехватке которого об отдыхе, тем более каких-то поездках даже не думается. Фарков-младший не любил вспоминать детство, для него, профессионального художника, все: и прошлое, и настоящее — представлялось строго обозначенной палитрой красок. Белый цвет рядом с черным цветом — это детство, а настоящее как бы растворялось в пестром разноцветье. В Шумихе, куда их привезли из Птичьего, детей у «врагов народа» отобрали в первый же день и сразу отправили в лагерь «кулацких выродков», потом интернат, детдом, армия. Служил в Запорожье, там и остался. Вроде как ничего особенного, подобных судеб не перечесть. Но не дай Бог кому хлебнуть столько горюшка, сколько выпало на долю сына царского офицера.

Шел Александр по единственной в 70-х годах улице в Урае, носящей имя Ленина, смотрел по сторонам, вглядывался в лица прохожих, словно набрасывал эскиз будущей картины, и вспоминал рассказ Светланы. О том, как в начале тридцатых годов в таежные дали, леса и болотистые топи, в устье, где впадает речка Колосья в сонную с мутной водой реку Конда, пришли люди, несколько семей спецпереселенцев из центральной России, гонимые голодом и разрухой послереволюционных преобразований. Они и основали поселок Урай, создав здесь сначала рыболовецкую артель, а чуть позже — лесопромышленный пункт. До сих пор на берегу речки Колосья сохранились остовы землянок и убогих избушек. Конечно, никто и думать тогда не мог, что для жителя-бытия избрали изгой место, которое вскоре получит статус города, прославится на всю страну, положит начало новому этапу развития Западной Сибири.

Ничто не ускользало от глаз Александра. В маленьком городе не только все на виду, но и все на виду. И промахи заметнее, и выбор жестче, и горечь острее. Станет ли житель большого, многомиллионного города печалиться оттого, что одно из тысячи городских предприятий не выполнило план? Отпечатается ли в его сознании то ничтожное обстоятельство, что в кинотеатре через дорогу идет фильм, который он видел тысячу лет назад, и заметит ли он, что в аптеке закончился валокордин или нет зубной пасты? Нет, не станет, не заметит, не запомнит. А в маленьком городке на том неудачливом предприятии наверняка работает знакомый, или сосед, или школьный приятель. И их дела — это твои дела, а аптека напротив — это единственная аптека в городе, и кинотеатр с незапамятных времен на ремонте, и оттого, что киноафиша не радует новизной, а мелкая бытовая покупка для тебя — проблема, накапливается в душе ощущение заброшенности, неустройства. Конечно, в жизни малых городов есть

свое достоинство и своя прелесть, и все же сколько нелепых, ничемных административных испытаний посылает судьба его жителям! Вот хвалят Урай почем зря. Наверное, правильно делают, что хвалят, свое гнездо, которое сытно кормит, надо хвалить. Стелы кругом, торжественные памятники нефтяникам, а подлинным первооткрывателям-спецпереселенцам даже памятной доски не установлено. Вроде бы и не было их, вроде не они вовсе вручную валили лес, ворочали бревна, голодали, чахли в сырых землянках и закладывали фундамент будущего города.

На девятый день, как принято, справляли поминки. Накрыли стол: кутья, кисель, постный суп, еще что-то необходимое для такого случая. Посидели, выпили по рюмке. Николай Спиридонович сказал небольшую речь. Женщины поплакали тихо в платочек. Помолчали все, заговорили в полголоса, словно боясь потревожить спящего ребенка. Мужчины вышли покурить, женщины принялись разглядывать старые фотографии. Там, на улице, младшие Громыны надели Александра: расскажи да расскажи, дядя, как там, на Украине. Александр Афанасьевич заведовал бригадой художников-оформителей на заводе «Запорожсталь», а по совместительству читал лекции в техникуме по истории края. Что поделаешь, пришлось прочитать одну из них в столь необычной обстановке, только не о победах в эпоху развитого социализма, а о голоде, который едва не смел с лица земли Украину и весь Союз нерушимый.

Дядя Саша классный рассказчик, братья знали это со слов матери. Кто-то сбегал за портативным магнитофоном, чтоб записать, увезет кассету домой, пусть послушают.

Александр выпрямился, чуть прищурил глаза, будто оглядывал студенческую аудиторию, и начал говорить:

— Как свидетельствуют ныне доступные архивы, насильственная коллективизация стала настоящей войной, объявленной Советским государством классу мелких хозяйчиков. Вот несколько цифр, показывающих масштаб человеческой трагедии, которой стало «великое наступление» против крестьянства: более двух миллионов крестьян были депортированы, из них 1 800 000 только в 1930—1931 годах. Это лавина, в которую угодила и наша семья. Шесть миллионов умерли от голода, сотни тысяч — в ссылке. Такая война длилась до середины 30-х годов, достигнув кульминации в 1932—1933 годах, отмеченных ужасающим голодом, спровоцированным властями, чтобы сломить сопротивление крестьянства. Главной целью было обобществление как можно большего количества хозяйств и уничтожение кулачества как класса. Еще не оперившиеся колхозы государство обирало до нитки, выгребая из амбаров даже семенное зерно, планы по сда-

че хлеба росли как на дрожжах. Всем была понятна их нереальность, но перечить Сталину никто не хотел, ибо любые отговорки означали суровое наказание вплоть до расстрела. На Украине, например, комиссия Молотова начала регистрацию округов, где не выполнен план заготовок, со всеми вытекающими отсюда последствиями — чистой местных партийных ячеек, арестами не только колхозников, утаивших часть своего урожая, но также и колхозных руководителей, занижающих доходы коллективного хозяйства. Вскоре эти меры распространились и на другие зернопроизводящие регионы страны. Искали врага, переходя из дома в дом, из деревни в деревню. Чтобы победить его, власть нашла единственный выход: оставить его голодным. В августе 1932 года Молотов рапортовал в Политбюро, что «существует реальная угроза голода в районах, где всегда снимали превосходный урожай». Даже такие ярые сталинисты, как Косиор, первый секретарь Компартии Украины, или Хатаевич, первый секретарь Днепропетровского обкома, просили Сталина и Молотова урезать план хлебосдачи. «Ваша позиция, — отвечал Молотов, — глубоко неправильная, небольшевистская. Мы большевики, и мы не можем отодвигать нужды государства ни на десятое, ни даже на второе место, это определено нашими партийными постановлениями». Вынужденные под угрозой пыток сдавать все свои скудные запасы, не имея ни средств, ни возможности заготовить впрок что бы то ни было, миллионы крестьян из самых богатых в Советском Союзе сельскохозяйственных регионов остались голодными. При этом они не могли даже выехать в город. На это был наложен строгий запрет. Во всех областях, пораженных голодом, продажа железнодорожных билетов была немедленно прекращена, были поставлены специальные кордоны ОГПУ, чтобы помешать крестьянам, рискнувшим покинуть свои места, — Александр вдруг остановился то ли для того, чтобы перевести дыхание, то ли оттого, что приблизился к моменту, о котором говорить ему было особенно больно. — За неделю была создана служба по поимке брошенных детей. Семьи, которым все же удавалось выбраться в город, немедленно вычисляли и возвращали в деревню. Родители оставляли детей, потому что дома их ждала голодная смерть. Ребятишек собирали эти службы. В полночь их увозили на грузовиках к товарному вокзалу на Северном Донце. Сюда же доставляли и пожилых крестьян, блуждающих по городу. Производилась сортировка. Тех, кто еще не опух от голода и мог выжить, отправляли в бараки на Голодной Горе или в амбары, где на соломе умирали больше восьми тысяч душ, в основном дети. Слабых, истощенных людей отправляли в товарных поездах за город и оставляли там, чтобы они умирали вдали от посторонних глаз. По прибытии в эти места выгружали всех

покойников в заранее выкопанные большие рвы. В деревнях смертность достигла предельной точки весной 1933 года. К голоду добавился еще тиф. В некоторых густонаселенных селах оставались не более двух-трех десятков человек выживших. Участились случаи каннибализма. Каждую ночь в Харькове собирали 250 трупов умерших от голода или тифа. Замечено, что большое число их не имело печени. Полиции удалось схватить охотников за внутренними человеческими органами, которые признались, что готовят из этого «мяса» пирожки и торгуют ими на рынке.

Географически «голодная зона» занимала почти всю Украину, часть Черноземья, богатые долины Дона, Кубани, а также Северный Кавказ. Только один Харьков за год потерял 120 000 своих жителей, не вынесших голода. Продолжать? — горько вздохнул Александр. — Или этого достаточно? Давайте договоримся: вы больше не просите меня ни о чем рассказывать. Пожалейте. Ладно?

Ничего не ответили Громы, только поочередно обняли дядю и понуро, ошарашенные побрели в дом. «Сергея, — остановил племянника Александр. — Ты пленку лучше сотри, не надо, чтобы ее кто-нибудь слушал, не надо. Будем жить сегодняшним днем... Кстати, как твоя сынишка? Наверное, ходит уже?

— Ходит, чего ему. Скоро годик будет.

— Ну и слава Богу! Пускай растет большим и здоровым.

— Дядя Саша, неужели вправду все так было?

— Было, Серега, было, только это еще не все.

— Я вот в горячей точке служил. Там тоже люди гибли без вины, но чтоб так...

— Ладно, Сережа, пойдем выпьем по рюмке за упокой души твоего деда.

Глава шестая

1

В один добрый и светлый день корреспондентскому пункту «Тюменской правды» выделили автомобиль. Это означало, что мне, в единственном лице представляющему теперь областную газету на территориях Урая, Кондинского и Советского районов, можно было не мотаться по селам и вахтовым поселкам на попутках, а разъезжать на собственном, вернее, служебном транспорте. Автомобиль назывался «уазиком» едва ли не первого года выпуска. Брезентовый тент, оставивший в себе следы многолетней дорожной грязи, стоял колом, даже сильный ветер с дождем не мог повредить его монументально-

сти. Дважды, а скорее всего три или четыре раза, «уазик» имел неосторожность валяться в канаве вверх тормашками — боевая техника. Передали ее корпункту с условием, что пользоваться машиной, как и услугами водителя по имени Витек, можно только два дня в неделю. Витек должен был где-то кого-то возить еще, кроме моей особы. Однако праздник это не испортило. За всю свою не очень долгую, но довольно продолжительную журналистскую практику я не знал ни одного чиновника, за которым значилась служебная машина, чтобы он не пользовался ею в личных целях. Дома «Мерседес», на нем по городу, в магазин, в гости. А на рыбалку, на охоту или на пьяный пикник — вездесущая «служебка». Это неписанный закон. В нашей стране он был, есть и будет, наверное, всегда.

Кончался октябрь. Часто хороводил снег, и резкий, колючий ветер заставлял жаться к укрытиям. Витек был все в том же своем тонком бушлате. Сколько его знаю, так и не заметил на нем ничего другого. Но он вроде не мерз, спокойно курил, выставив большие кисти рук из коротковатых рукавов. Витек родился в поселке Шаим, некогда наводненном спецпереселенцами, а потом пустеющем и стремительно вымирающем, как от эпидемии. Мать переехала с сынишкой в Урай, найдя там место домработницы у секретаря парткома. Витек был совсем маленький, но по сей день родной поселок оставался в его сознании каким-то хрупким символом, который постоянно напоминал, что свет Божий ты увидел именно здесь. И его уже в зрелом возрасте вдруг стало тянуть сюда, и с каждым посещением уже почти стертото с лица земли некогда населенного пункта он все острее ощущал какое-то магнетическое притяжение к нему. Странное и чудное дело: будучи мальчишкой, вывезенным отсюда, он невероятным, ничем не объяснимым даже состоянием души сохранил в себе привязанность к родовым корням.

Я пришел к Виктору ранним утром, надеясь, что «уазик» уже на ходу и мы, не мешкая, двинемся в путь. Водитель уже ждал меня и, едва я переступил порог, почему-то накинулся на меня с угрозами не ехать на машине, а пойти в Шаим пешком, иначе, дескать, утратится весь смысл предполагаемой рыбалки и вообще выходного дня. «Ну ладно, пешком, так пешком», — удивился я не столько неожиданному предложению, сколько непривычно взволнованной интонации его голоса.

Я почему-то пожалел, что согласился отправиться с ним на рыбалку в его угоды, и никак не мог придумать причину, чтобы вернуться с полдороги. Пожалел, ибо начал понимать, что мое присутствие при встрече Витька с его сокровенными местами покажется, по крайней мере, лишним и некорректным. День выдался хоть и холодный, но

солнечный, небо почти без облаков. Наконец мы вышли на старые протоки, поросшие по берегам плотным тальником. Трава уже совершенно высохла, деревья стояли голые, лишь ветер резко посвистывал в их ветвях, но можно было найти место и совсем без ветра, посидеть, полюбоваться глухой осенью, удивительной чистотой воздуха, холодным сиянием воды и абсолютным безлюдьем. Я выбрал защищенный от ветра могучими деревьями островок протоки и присел на причудливо изогнутый гигантским седлом ствол тополя, закурил. Приятно пригревало. Напротив меня в утренней дымке маячили похилившиеся избенки села. Их было не много. От силы десятков наберется, но стояли они так привольно, не тесня друг друга, что создавалось впечатление какой-то развернутости и безграничности. В этой тишине, в этом одиночестве хотелось лечь и смотреть в небо. Я сидел на стволе тополя, курил и постепенно уходил куда-то все дальше от самого себя и от всего, что было кругом. А кругом было невыразимо хорошо, не нужно было никуда торопиться; наслаждаясь тишиной, простором, каким-то бездумным очищением души, я затем пошел посмотреть, что там делает Витек... Я шел по чистому, крупному красноватому песку, намытому когда-то рекой, и он свежо хрустывал под ногами. Прямо за стеной сосен протока делала крутой и плавный изгиб, в этом месте воду не рябило, и она широко и спокойно блестела, как темно-зеленоватое зеркало, случайно оброненное среди берегов. Вода была прозрачная, на дне можно было разглядеть каждую соринку на песке, да и воды здесь было не много — метра полтора, не больше. Витек уже вытащил несколько щук, бросив их подле себя на песок. Он совсем не следил за поплавком, взор его был устремлен куда-то выше речной глади, в сторону села, маячившего в утренней дымке. Я понимал Витька. То чувство, которое охватило его в эти минуты, передать, наверное, невозможно. Да и я, сопереживая ему, испытывал какой-то глубинный, извечный ход жизни, который увлекал и затягивал меня в свой процесс. Происходило нечто такое, о чем я до сих пор не подозревал и что глубоко и болезненно ярко отражалось во мне, не в душе, не в сердце, а как бы во всем моем существе. И я опять начинал ощущать себя всего лишь ничтожно малой и все более растворяющейся частью какого-то мощного и непрерывного потока жизни. Ведь эта сонная заводь и Шаим, тихо доживающий свой безжалостный век, могли быть моей малой родиной, моим отчим домом. Я представил себя на месте Витька, и повлажнели вдруг глаза, и защемило что-то внутри, и горько стало и обидно. И вспомнилось, как рассказывал мне однажды о Шаиме старый учитель, который сам когда-то закончил в этом селе семилетку, потом, после армии, здесь же преподавал в школе. Прошло не так уж много времени. Ничего

теперь нет: ни школы, ни клуба, ни магазина. Только жалкие скелеты избенок торчат на плесе, храня легендарное имя села, да пара десятков стариков, забытых детьми, тихо и уныло провожают, может быть, последние дни, сидя на приступках крыльца. Бог ты мой, сколько поселений усыпило время. Наверное, также одним махом вычеркивают из жизни больных и немощных животных где-нибудь в ветеринарной больнице. Здравствовал Шаим, процветал и вдруг в одночасье, как пустая бутылка, стал никому не нужен. Позабыт, позаброшен. Бурьяном порастают палисадники, хиреют и приходят в полную негодность избы, чудом сохранившиеся от пожаров, но уже не способные противостоять чудовищному запустению.

— Знаешь, о чем я сейчас думаю? — прервал мои размышления Витек. — Когда-то, я еще ребенком был, в нашем селе не значилось дороги, даже тропинок не было, была вокруг мягкая, бархатистая травка. Она лежала сплошным ковром, и люди ходили по ней босиком. Потом приехали геологи... Тяжелая техника, вездеходы, трактора, электростанция. Затоптали траву, разобрали зачем-то школу, закрыли магазин, сгорел клуб — бывшая церковь, одна, кстати, из первых в округе. До сих пор помню этих мужиков в штормовках, кого в лицо, кого по имени. Они ведь прямо за клубом, на берегу озера, бурили ту самую первую из самых первых нефтяных скважин на Тюменском Севере. Помню, как отец, царствие ему небесное, сокрушался: дескать, конец пришел нашему селу. А в газетах писали — пришла новая эра...

Нам расхотелось рыбачить. На старой, но удивительно послушной в течении реки лодке, а оно в русле ощущалось особо, мы перебрались к берегу, где стояло село, начали подниматься на взгорок, отворачивая лицо от мелкого холодного дождя и разъезжаясь ногами по размокшей тропинке. И здесь, где-то на самой середине пути, нас застал шквал крупного и густого града. Я приподнял над головой тяжелый, набрякший мешок, присел на землю; крупные, величиной с голубиное яйцо градины даже сквозь мешок больно секли по рукам, но я, защищая лицо и голову, терпел. Такое на моей памяти было впервые; я с удивлением смотрел, как по земле, подпрыгивая, хлещет град, и казалось, что вся земля как-то космато шевелится. Тогда у меня мелькнула мысль, что град засыплет меня с головой. Однако градовая туча свинцово-белой тьмой быстро прошла дальше, к лесу. Град под ногами скрипел, он уже таял, скоро от него не осталось и следа. Поселок после столь яростной стихии выглядел жалко и убого. Крыши ветхих домов почернели от влаги, вспучились, ботва в огородах легла, ветви деревьев в палисадниках поникли, вытянувшись вниз вдоль ствола, и все вокруг напоминало унылую картину безжизненности, какой-то опустошенности. А знал бы кто, что мы находились на земле, ставшей

своего рода матушкой городам Ураю, Нижневартовску, Нефтеюганску, Когалыму, знал бы кто, что именно здесь было положено начало топливно-энергетическому комплексу Западной Сибири. Почему же общество превратилось в Иванов, не помнящих родства, почему отвернулось от своей исторической родины? Нет ответа, есть только память, которую бережно хранит Витек. Но и его память особенная, в ней не отведено места открытию нефтяных залежей, она хранит нечто истинно человеческое, то, что мы вкладываем в понятие Родина. Мой старый знакомый, тот самый учитель шаимской школы, однажды говорил в интервью местной газете такие слова: «Раньше в селе колхоз был, хоть и не миллионер, но очень приличный. В большинстве своем состоял из бывших кулаков. Места-то здесь богатейшие: и охота, и сельское хозяйство — лошадей держали, коров, овец, свиней. Пастбища простирались до самого огромного по здешним меркам озера — Турсунтского Тумана, заливные луга, по прямой где-то километров тридцать будет, шириной километра два-три. Промыслово-охотничье хозяйство, звероферма: чернобуток разводили. А ягоды сколько сдавали, грибов, орехов кедровых! Ну и сам по себе поселок хорош — лучшего места для курорта не придумаешь. А рыба? Когда-то ее в Ирбит на ярмарку возами доставляли — каждую зиму по пятьдесят — шестьдесят подвод. И самое интересное, ничего в Шаим не завозили — все было свое. Сейчас вот в местных заводах стерлядка появилась, судак, лещ, сырок. Чего еще-то надо? Зато в разных праздничных докладах то и дело твердят: «Шаимская нефть», «Легендарный Шаим».

Вот и Витек считает, что Шаим не только можно, но и нужно вернуть к жизни. Причем совсем не обязательно строить здесь хоромы и дворцы. Надо для начала хотя бы организовать хороший рыбопромысловый участок, обучить рыбацкому ремеслу молодежь. Есть же в районе национальный поселок Шугур. Так тамошний глава администрации, кстати, тоже выходец из Шаима, создал школьную бригаду. И ребятишки в деревне уже не мучаются от безделья, работают и никуда уезжать не собираются.

Витек тихо брел вдоль улицы, иногда останавливался и долго смотрел на запотевшие от тумана окна домов. О чем он думал в эти минуты? Может, мысли его обращались в далекое прошлое и светлые воспоминания озаряли душу? Мне не хотелось ему мешать. Я уселся на скамейку возле чьей-то калитки и, закрыв глаза, попытался отвлечься от всего, что происходило сегодня, но древнее село все равно стояло передо мной в облике тихой усыпленной заводи, в которой мрачно покоемлась мертвая вода.

Надо создать. Надо возродить. Хорошо бы организовать... Нам много чего надо и необходимо. Но почему то, что надо, не создается,

а то, что было, окончательно приводится в упадок? Это ведь не только в Кондинском районе или в автономном округе. Это по всей стране! Что происходит? Деревня порушена. Если раньше было аграрное перенаселение, то сейчас — урбанистическое. Аграрное безлюдье можно поправить за счет города. Но для этого надо было создать его величество Интерес. Крестьянин-единоличник, фермер, хуторянин должны иметь реальный доход в два-три и более раз выше, чем у горожанина. Тогда будет толк. Класс зажиточных крестьян советская власть уничтожила намеренно, пустив при этом море людской крови, обездолив и уморив голодом миллионы ни в чем не повинных людей, чтобы реализовать бредовую идею всеобщего коллективного сельского хозяйства на селе. Колхозов наплодили по стране, как тараканов в заброшенной избе. Брошенные государством на произвол судьбы, без помощи и поддержки, они изначально были обречены на вымирание. Нужны были несгибаемая воля и мудрость деревенских тружеников, чтобы не дать ослепленной коммунистической идеологией верхушке тоталитарного государства одним махом разрушить им же навязанную большевистскую общину — колхоз, эту безнадежно больную корову системы, которая уже давно перестала давать молоко. И что же теперь делать? Оставить на произвол судьбы деревни, села, поля, кормиться за баснословные деньги из закровов открыто смеющегося над Россией Запада? Большим специалистам и ученым, конечно, виднее, но с маленькой колокольни поселков Назарово, Чантырья или Шаим видно, что на смену должны прийти фермерство, рационально организованные кооперативы, агрофирмы. Деколлективизацию (это тоже видно, но не с колокольни, а на земле) уже не остановить, но хотя бы на сей раз ее надобно вести умно и законно. Для этого создано много законов, с точки зрения формальной логики неплохих. Но опять беда — они бездействуют. Колхоз безвозвратно ушел, фермерство еще не пришло, а в какую сторону соваться застрявшим на полустанке земледельцам, животноводам, механизаторам? Они не приучены к бизнесу, которым называют сегодня бессовестную спекуляцию, они приучены пахать и сеять, доить коров и пасти овец. Трудно теперь установить то время, когда экономические и прочие рычаги нацеливали деревенского жителя на созидание, на устройство собственного житья-бытья. А ведь бывало, что деревенский человек мог затеряться среди тех, кого растил и обихаживал, и портреты свиноматок вместе с людьми мелькали на первых полосах газет. Так было!.. Еще и сейчас встречаются порой такие вот любопытные сообщения: «Свинарка Г. Коврижкина так любит свою работу, что не хочет возвращаться домой после трудового дня». До сих пор человека труда нам зачастую хочется назвать просто... рабочей силой.

Зато лишённую аромата вещь, испокон веков именуемую навозом, поспешно окрестили органическими удобрениями... Людей-то куда девать? Засидевшись на полустанке, мимо которого давно не ходят автобусы, одни ринулись пешком в город, где они никому не нужны, другие безысходно запили.

Марксистские классики не любили крестьянство; крестьянин и темен, и глуп, и жаден, и бесконечно подражает буржуазии, и прочая, и прочая. Большевики повели себя в крестьянской стране как иноземные завоеватели. Продотряды по жестокости превзошли все мыслимое и немислимое. В гражданскую войну — институт заложников. Огнем артиллерии сметались заложники — деревни. Затем — геноцид казачества, физическое уничтожение «комбедами» кулаков, то есть самых работающих крестьян. В пространстве полицейского государства крестьянина сажали «на якорь» в колхозной бухте беспаспортности. Приусадебное хозяйство рушили налогом — при Сталине, безземельем — при Хрущеве, невозможностью торговать — при Брежневле. А «неперспективные деревни»? А грабеж со стороны «Сельхозтехники»? А мелиоративный разбой?

Где-то во вступительном слове к этому повествованию я взял на себя дерзость посадить на одну лавку кулаков и современных «новых русских», имея в виду то, что в чем-то черты их социального лица схожи. Увы, именно от люмпенизированного сознания идет психологическая и политическая возня в России, которую условно назвали «новыми русскими». Отечественному мнению настойчиво внушается мысль, будто демократические формы жизни выгодны только поднимающей голову буржуазии, норовящей то ли скупить, то ли продать на корню всю страну. Конечно, среди новых богачей немало жуликов, мошенников, воров, которым не избежать, рано или поздно, ответственности перед законом. Они позорят и демократию, и всю страну. Стыдно смотреть по телевизору то, как некоторые российские «бизнесмены», будучи за рубежом, швыряются долларами в ресторанах и магазинах. Ясно, что подобные люди вовсе не предприниматели, а просто воры. За спекуляциями на тему «новые русские» — прежний классовый подход, только по-новому представленный. То же стремление разделить общество на злых богатых и несчастных бедных, олицетворяющих добро и справедливость. Но это уже было и принесло только беды.

Схема «богатые — бедные» постоянно подкармливается нерешенностью противоречий между творцами и паразитами, производителями и трутнями, людьми нравственными и двуногими созданиями из клана воинствующего аморализма. Оно изначально заложено в любом обществе. Но только 20 век с его уровнем требований к лич-

ной и социальной ответственности придал этому противоречию повышенную остроту, особенно в нашей стране, в которой большевистское государство с самого начала строилось на удушении работающих и возвышении бездельников.

Человек — жертва. Живой пока человек, но жертва. Дикое сочетание слов. И к нему люди привыкли, смирились, довольствуясь тем скучным, что есть, и скорбно забывая то, что было. Вот подошел день Ивана Купалы. Сегодня в деревне хоть и ждут по привычке этого праздника, но провожают его уже не так, как прежде. Нечистая сила стала уже не так, как в старину, проявлять свою натуру; меньше ли ее стало или ушла она в другие места, только все реже и реже напоминает о себе. Не стало уже забавных проделок леших, водяных и домовых, о которых рассказывали в старину и с улыбкой покачивали головами над какой-нибудь выкинутой ими шуткой.

Подрастающая молодежь в городских кофтах и джинсах все меньше верит и не почитает их, а этого они не любят. И если где они и остались, то уже какие-то дурные, которые не знают добрых шуток, не осчастливливают в Иванову ночь бедного человека несметным кладом, а только и знают, что напускают на скот болезнь да портят девок, которые каждую обедню хлопаются перед причастием на землю и воют по-собачьи.

2

Наш исторический выбор состоит в том, пойдет ли общество, страна к возвышению действительного труженика, к его социальной защите, к утверждению за каждым человеком непреложного права на самореализацию, или же мы снова повернем к идолопоклонству и тем самым обречем общество на вырождение.

В городе Урае в самом центре площади перед зданием местной администрации и представительного собрания гордо стоит памятник Ленину. Стоит, как положено, спиной к учреждению власти. С протянутой рукой, указующей дорогу в будущее. Но у будущего должно быть прошлое. И тут не грех повторить упрек, касающийся всех нас: насколько же коварна и коротка наша память. Мы уже успели забыть, что немедленно после октябрьского переворота были запрещены все оппозиционные газеты, начались преследования всех некоммунистических партий. Социал-демократическая партия, которую возглавлял Ленин, была быстренько переименована в Коммунистическую. Была развязана братоубийственная гражданская война, в крови потоплены крестьянские восстания в Поволжье, на Дону, в Сибири. Нам неприятно признавать, что Ульянов-Ленин, перед которым нас заставляли стоять на коленях, оказался убийцей. Именно он бросил

мать-Россию, как охাপку хвороста, чтобы разжечь костер «мировой революции». Именно он санкционировал «красный террор», создание концентрационных лагерей, в том числе для детей-заложников, применение удушливых газов против восставших тамбовских крестьян. Мы стали забывать, с какой свирепостью Ленин и ленинцы уничтожали крестьянство, дворянство, купечество, офицерство, творческую и научную интеллигенцию. Мы как бы забывали, что нас сажали в тюрьмы за сбор колосков на уже убранных полях, за недовыработку трудодней, за опоздание на работу по уважительной причине, за критику властей и политические анекдоты. Да мало ли еще всего, что мы упорно отгоняем от себя. Память насилуем беспамятством.

Душу у наших пращуров отняли, а еще точнее сказать — душу раскулачили.

Ушла лесная нечисть, и как будто все веселье с ней ушло. И стало одно за другим выводиться из того, что велось от седой старины. Теперь все и веселье состоит в том, что мужики, напившись водки, горланят песни да шатаются, как чумовые, пока не ткнется какой-нибудь, как свинья, под забором.

А прежде к Иванову дню сколько варилось густой, темной и пенистой браги, квасов разных, куда подбавляли ягод лесных да заправляли крепким хмелем! А у кого на задворках висел на липе привязанный повыше от недобрых людей улей, у того бывал припасен и кувшинчик меда игристого, колющего в небо и туманящего голову.

И хмель от браги и от меда был легкий, веселый, а не безобразный, как теперь от водки, которую, должно быть, подсунил на раздор крестьянскому люду сам нечистый, когда разорили его потайные зеленые чащи и обнажили глубокие заросшие омуты.

Теперь и праздник Онуфрия стал забываться. В седой старине, когда еще не было базаров и до города в десять лет не доскочишь, все от земли кормили, и на все плоды было свое время и свой праздник, в который освящалось все на потребу крестьянскому люду. Сеяли не просто, как теперь. Бывало, на Пасху еще, как только земля отдохнет от лета, обойдут ее с иконами да с пасхальным пением. А потом в Юрьев день иконы вынесут на зелена, где уже приготовлены козлы с положенными на них досками и постеленными полотенцами, и отслужат молебен с водосвятием и окроплением святой водой. А когда сеять начнут, то зажгут, прилепив к грядке телеги копеечную свечку и, накрошив, раскидают по полю красное пасхальное яйцо.

Тут уместно привести слова Ивана Бунина, сказанные еще в 1924 году: «Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный могучим семейством, созданный благословен-

ными трудами многих и многих поколений, освященный памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовишные последствия которого неисчислимы. Злодей, на словах призывающий к свободе, братству и равенству, сидел на шее русского народа и повелевал в грязь втоптать совесть, стыд, любовь, милосердие. Ленин явил миру как раз в разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил миллионы людей, а среди бела дня спорят: благодетель он человечества или нет».

И все-таки нельзя не заметить, как стало проявляться в нас осознание убожества нашего бытия. Появилось отчетливое ощущение собственного бессилия, идущее от липкого страха перед властью и от нашей лени — физической и духовной, от неумения и нежелания победить самих себя, от неуважения к самим себе, от острого дефицита собственного достоинства.

Глава седьмая

1

Душа человека вообще просто так не болит. Если ломит ее, то обязательно либо по конкретному делу, либо по случаю. Не успел председатель сельсовета собрать свои яблоки и груши, как в его обитель, превращенную в стан сирых и убогих тружеников села, прибыло начальство из Шумихи. Сначала ничего худого не говорили, только косо поглядывали на повариху, у которой из-под кофты свисала грязная рубаха, а на лице присутствовала великая печаль. Испили медовухи, затем сливовой настойки, пошумели, как будто дома, покричали о чем-то не в повестку дня, кулями улеглись в хозяйской опочивальне, не снимая пиджаков и ботинок. А смертельный удар ждал Клюева утром. Он всю ночь не сомкнул глаз, шатался по горнице, спотыкаясь о мешки и корзины, забитые яблоками, пару раз падал, больно ударяясь об пол.

— Вот тебя под суд надо, — заговорил старший из тех, что навестили Клюева. — Вся смута от него, — заключил он и стал нервно закуривать. — Иначе работать с такими кадрами, как вы, товарищ, или теперь, надо сказать, гражданин Клюев, ну просто невозможно. План по сдаче хлеба государству провалили, в селе разброд. Вчера на дороге какая-то старуха просила у меня подать на поминки деду, который якобы помер от голода. И это в селе, где вы представляете советскую

власть? Есть циркуляр, — распахнул папку, лежащую на коленях, — за саботаж, за срыв государственного задания по сдаче хлеба коммунистов исключить из партии и наказывать по всей строгости.

— Так ведь я же докладывал, что у нас непредвиденные обстоятельства. Сначала, как раз перед уборкой, все колхозники вповалку — напала какая-то болезнь, а лето — дожди одни, мочило без продыху. Уж как мы только не пытались людей поднять. А убирать-то нечего почти, хлеба положило дождями. Хоть руками собирай.

— Ты, братец, не юли, от наказания тебе все равно не уйти, — представитель райкома говорил по-прежнему тихо, но Клюев от его тихого голоса весь подобрался на стуле. — Раскулачиванием руководил? Руководил. Колхоз — это дитя социализма — курировать должен был? Должен. Где результат? Год выдался неурожайным, мы это понимаем, но почему тогда не мобилизовали на помощь жителей села, ведь если у всех по амбарам поскрести — два плана будет!

Промолчал Клюев. Все понял. Своими глазами видел бумагу, которая и сейчас еще лежит на его столе в сельсовете, приказывая не жалеть тех, кто не оправдал доверия партии. Двигаясь домой, он вдруг увидел себя на месте тех, кого под его началом выбрасывали из домов и увозили невесть куда, тех, кто проклинал его и вместе с ним советскую власть, и впервые остро, с ужасом представил себя жертвой на тюремных нарах где-то в сибирских дебрях.

Мать-старуха встретила его у калитки, неистово молясь и причитая, потом дрожащей рукой протянула, нет, скорее всего, положила в ноги сыну, как покойнику, тощенький узелок с яблоками, куском черного хлеба и ломтиком прошлогоднего сала.

— Возьми на дорожку, пригодится.

В тот день арестовали не только Клюева, но и председателя колхоза, который так и не смог понять за что, ведь в должности руководителя хозяйства не пробыл и года. Его место с явной неохотой занял заместитель Самарин. Он долго отказывался, придумывал разные причины, но вынужден был согласиться только после того, как ему пригрозили, что за отказ может пойти вслед за председателем. Арест и смена руководства не спасли колхоз. «Большевик» медленно умирал, задыхаясь от непомерных планов, спускаемых сверху. Один за другим из колхоза стали уходить люди, многие уезжали из села куда глаза глядят, спасаясь от нищеты и наступающего голода.

2

Пришла теплая летняя ночь, очередной день, как и все предыдущие, прозвучал и канул незаметной каплей в неясных шорохах. Над Перековкой появилась луна, никого и ничего не выделяя, тотчас про-

никала, как это было всегда, во все доступные места, осветила улицы, дворы, душную темноту оврага, хлынула в окна, все связывая и все разделяя. Последнее время дед Иван почти не выходил из дома, а если и выбирался иной раз, то лишь на огород поковыляться немного в земле или просто посидеть на крыльчке. Поковылял бы к кому-нибудь чаю попить, потолковать о том о сем, так ведь из первых поселенцев на Перековке никого не осталось. Одних унесли на погост, других забрали дети, живущие где-то в больших городах. Ивана Петровича забирать было некому, точнее сказать, он, конечно, мог отправиться погостить к сыну в Омск или к дочери в Заводоуковск, но его никто не звал, а если бы и звали, все равно бы не поехал. «Какой из меня ездок? — отмахивался дед. — С моим-то здоровьем теперь одна дорога — туда, где все лежкой лежат». После этих слов Ярославцев надолго замолчал, глядел в пустое в осенней синьке небо, переводил взгляд на синие венцы старых елей в болотной зелени лесной кромки. Вздохнул, кряхтел, покашливал и шмыгал, потирая деревянную ногу, тонкой частью выглядывающую из штанины. Борода дрожала старческой неумной дрожью. Насколько помню, раньше дядя Ваня никогда не носил бороду. Но разве можно старому человеку без бороды? Все чаще по печенному жизнью и временем лицу, по коричневой, желтоватой скуле этого старого, прежнего человека скатывалась светлая, горячая, а будто бы дождевая капля.

Истари уж в народе было замечено, что с наступлением одиночества, невозможности обычного общения с людьми старики один за другим начинают убираться на покой. Иван, несмотря на болезнь, ни разу среди белого дня не ложился и все ходил. Он только стал каким-то странным, все осматривался вокруг себя, когда сидел один в избе на табуретке, точно он попал в малознакомое место. Когда его хотели свезти в больницу, он сначала посмотрел на свою старуху, как бы плохо понимая, потом вдруг понял и молча показал рукой на иконку в переднем углу избы. Лукерья заплакала, хотела его обнять, но сползла и села на пол около его ног, уткнувшись ему в колени. Большая, словно каменная рука Ивана лежала у нее на плече, а сам он смотрел вдаль, как он всегда смотрел, и губы его что-то шептали. Можно было только разобрать, что он говорил:

— Ничего... пора... призывает...

А потом, как бы спохватившись, торопливо встал и, пробираясь по стенке, переставляя стукающий об пол протез, пошел к сундуку.

— Да что тебе надо-то? Куда ты? — говорила жена, идя за ним и вытирая фартуком глаза.

Иван сказал, что приготовиться надо, и стал было слабеющими руками сам открывать сундук.

— Да ну, пусть, где тебе!.. — ворчливо, полусердито сказала Лукерья, как она всегда говорила ему за долгие годы совместной жизни. Она наскоро утерла остатки слез, и лицо ее, вдруг потеряв всякие следы горя, стало хозяйственно-озабоченным.

— Рубаху-то какую наденешь? — спрашивала она, держась рукой за открытую крышку сундука и глядя на мужа.

— Вот эту, подлиннее... — сказал слабо Иван. — В короткой лежать нехорошо.

И они оба, прошедшие вместе полувековой путь жизни, стояли теперь перед сундуком и выбирали одежду смерти так просто и обыкновенно, точно Иван собирался в дальнюю дорогу. Потом он полез на божничку за иконой и чуть не упал, завалившись боком на стол.

— Господи, да куда ты? Что тебе надо-то? — говорила жена.

Но Иван хотел приготовить все сам. И только когда Лукерья насильно отстраняла его, он послушно стоял, уступая ей дорогу.

Вдруг он вспомнил, что у него припасены деньги на похороны, показал жене, и когда она пересчитывала, он пальцем слабеющей руки указывал на разложенные на столе кучки меди и распределял, сколько нужно на рытье могилы, сколько на погребение.

Иван попросил помыть его, а когда надел в последний раз чистую рубаху, то весь как-то просветлел. Он сидел на табуретке и в то время, как Лукерья, отвернув голову, застегивала на нем, как на ребенке, ворот рубахи, он рассматривал свои большие промывшиеся руки, точно находил в них что-то новое, и все одергивал на себе рубаху.

Соседи, узнав, что дедушка Иван умирает, собрались в избу и, окружив его, молча, однообразно, любопытными глазами смотрели, как его убирали.

— Последний из ссыльных на Перековке помирает, а может, и во всем округе, — тихо сказал кто-то.

Иван поднял на звук голоса слабую голову и, не отвечая, переводил побелевшие, потухающие глаза с одного лица на другое.

Перед самой смертью он попросил вывести его во двор. Когда его вывели под руки, он, стоя в дверях, весь белый, чистый, седой, смотрел в последний раз на солнце. Потом нехотя повернулся и пошел лечь на вечный покой. Когда он лежал уже с закрытыми впавшими глазами, рука его зашевелилась, как будто он делал ею знаки, чтобы подошли к нему.

Лукерья подошла и приникла ухом к самому его рту.

— Под большой березой... — тихо прошептали его губы.

Лукерья догадалась, что он напоминал ей, чтобы она не забыла, где его положить.

А потом Иван умер.

Зажглись свечи.

А на дворе заходило солнце, гасли постепенно небеса, на которые покойный Иван смотрел со своего порога в продолжение вечности.

Кто-то из суетливых в таких случаях старух стал поливать тело деда Ивана теплой водой из глиняной миски и несильно тереть пучком чистой, еще не утратившей золотистого цвета соломы. Затем деда сноровисто и ловко обрядили в холщевые новые порты и такую же широкую рубаху, подпоясали, руки сложили на груди, чтобы они не съезжали в стороны, большие пальцы связали новым носовым платком. На лоб приладили бумажный венчик со словами заупокойной молитвы.

До поздней ночи на подворье Ярославцевых толкались и шумели люди, приходили, выпивали за упокой, закусывали кутьей, вареной картошкой. Такого на Перековке еще не помнили, людьми владело чувство слитности, единства; как-то само собой забылись все мелкие ссоры и недовольства, на которые так щедра жизнь, и все почувствовали себя одной неделимой семьей, неожиданно-негаданно осиротевшей.

Возле гроба в горнице — вся семья Ярославцевых, кроме сына Григория, который лежит в госпитале из-за тяжелого ранения, которое получил в Чернобыле, но скоро тоже сулился сбежать от врачей и приехать. Полукругом обступили гроб. В центре полукруга — Лукерья. Маленькая и легкая, как черная птица, с огромными серыми глазами, которые так и не выцвели за ее долгий век. А вот стоит худой, с усталым, измученным лицом, с красными от бессонницы глазами дядя Петя Шмонин, колхозный бухгалтер. Ранние глубокие лысины. Помятый костюм, галстук съехал набок. Рядом его жена Людмила. Она продавщица городского универмага, торгует в отделе дефицитных товаров. Одернула на бедрах черное бархатное платье под растегнутым кожаным пальто. Людмила без платка, простоволосая, но через лоб вокруг головы повязана черная муаровая лента, которая очень ей к лицу. Наклоняется к Ивану и что-то шепчет ему на ухо.

Всхлипывает, утираясь краешком платка, дочь Наташа, перевязывает шнурки на отцовых ботинках, подтягивает носки и поправляет брюки на его ногах. Словно не понимает, что отцу все это уже безразлично. Ей хочется, чтоб ему было удобно даже в гробу.

Стоит Мишка Маркин, колхозный механик и по совместительству председатель профкома. Не печальный, а скорее, необычно серьезный, погруженный в свои собственные мысли. Как будто наблюдает за собой со стороны. От каждого движения громко поскрипывает его кожаная куртка с бесчисленными замками-молниями. Дядя Ваня любил его, как свою молодость, любил со скрытой завистью, как можно только в старости любить свою молодость.

Замыкает подкову-полукруг глухонемой Федор, грузчик из отдела реализации. Стоит, смотрит, шевелит губами, как будто хочет сказать всем сразу что-то самое важное, но не может. И, как нарочно, нельзя сейчас занять себя, свои руки какой-нибудь работой. Он нащупал в кармане кусочек корня, выкинутого могильщиками из могилы, и тербит его нервными пальцами.

— А какие-нибудь напутствия нам давал? — спрашивает мать Наташа.

— Чтоб мы все жили. И уважали друг друга. И держались своего рода, своих семей. Всяким он был — вы это знаете, но всех вас я родила от любви к нему. С ним умерло все мое. Осталась только наша семья. Простим же ему все, потому что другого отца у нас не будет. Об этом мы с ним говорили, когда его боль уставала болеть и ненадолго отступалась.

На главной улице Перековки повывлезали корни. За них цепляются или привычно переступают их кирзачи, блестящие мужские туфли и резиновые сапоги. С утра пошел мелкий дождик, в песчаных выемках стоят рыжие лужи. Пронзительно скрипит под ногами и колесами мокрый, хорошо промытый песок, от блеска которого прямо-таки режет глаза.

По улице идет процессия.

Впереди бригадир с колхозным флагом, то и дело поглядывает под ноги, чтобы не зацепиться за треклятые корни, которые за долгие годы езды на мотоцикле по этой дороге вытрясли его бригадирскую душу. Пешком он почти не ходил, вот и цепляется сейчас за каждый корень.

За бригадиром — грузовик. Наголо обритый водитель непрерывно жует жевательную резинку, она теперь продается в магазине в нагрузку к мороженой рыбе.

За грузовиком движется прицеп, устланный зеленью, с гробом Ивана.

Поодаль — кучка родственников. За ними — «уазик» председателя колхоза. Сзади бегут детишки и чумазый щенок Батрак. Никто не плачет, не заламывает рук, не убивается. Сказано же: отмучился человек, пожив свое.

Почти все обитатели Перековки вышли к своим воротам, чтоб попрощаться с Иваном. В основном, это молодые и люди среднего возраста. На минутку оторвались от своих огородов — некоторые так и стоят, опершись на мотыгу, грабли или лопату. Молчат, опустив головы, женщины всхлипывают, а те, что собрались в кучки, с интересом разглядывают семью Ярославцевых, перешептываются между собой.

Когда Ивана уже опустили в землю и каждый, даже дети с расширившимися от любопытства и страха глазами, толкаясь и спеша, бро-

сил в могилу горсть сырой земли, вдруг показалось солнце и брызнуло румяными лучами на верхушки деревьев, неподвижно стоявших в утренней прохладе. И тихо стало. Только легкий ветерок бережно шевелил листья на березах, и легко, безостановочно двигались куда-то в неведомую даль седые облака...

3

Из Чернобыля майора Григория Ярославцева отправили на вертолете, положив между цинковыми гробами на холодное с заусеницами днище. По прибытию в какой-то тусклый, как ржавая консервная банка, городок, вертолет встречала четверка щуплых санитаров, которые проворно вытащили из салона цинковые ящики, затолкали их в крытый брезентом фургон и укатали. Какая-то женщина в коротком светло-сером халате подхватила Григория под руку и повела в неотложку, которая звучно тархтела и пускала сизые клубы выхлопных газов. Контузия у Григория была средней тяжести, вот только с глазами дело обстояло плохо. Причина не только в полученной дозе радиации, превышающей предел. За годы службы в батальоне химической разведки организм Григория, казалось, до того привык к различным дозам облучения, что уже никак не реагировал на них. Конечно, это было скорее лишь мнимое представление о неуязвимости своего здоровья, иначе навсегда пришлось бы отказаться и от офицерской карьеры, и от профессиональной службы в армии вообще.

Офицеры радиационно-химической разведки прибыли на место аварии одними из первых. Сразу начали обустриваться в так называемой зоне отчуждения в тридцати километрах от АЭС.

— Мы разведчики, и радиометры у нас всегда с собой, — просто, как будто о чем-то обыденном, рассказывал Григорий соседям по палате. — Как только приехали, сразу замеряли уровень радиации; после учебных источников, конечно, уровни были шокирующими — где-то порядка 15–20 миллирентгенов — в тысячу раз больше привычного микро рентгена. Ну что тут поделаешь, почесали затылки и пошли осуществлять радиационный контроль, проводить замеры уровней радиации на территории Гомельской области, прихватывая частично и Киевскую область. В моей роте две трети были солдаты срочной службы, совсем еще мальчишки. Жалко их, ведь дома девочки ждут, а хвативший дозу, сами понимаете, по мужской части уже не силен. Самую большую дозу мне привез командир машины, младший сержант — 14 рентген — не помню, из какого района. У нас предельная доза вначале была установлена по военному времени — 50 рентген. Затем ее сократили до 30, потом до 10 рентген. Но это уже через 8–10 месяцев после начала работ!

— Страшно, наверное, было?

— Что за вопрос? Конечно, страшно. На каждого из нас были завезены карточки, так вот в них записывали, что за час мы получаем по два рентгена. Мы решили сами проверить, сколько же мы получаем? В контейнер, с которым рядом работали, положили дозиметр. Приехали через сутки — на нем было 72 рентгена, то есть не по два, а по три рентгена получали мы за час!

— А где уровни радиации были наибольшими? — допытывается кто-то.

— Это на оси, где прошел основной выброс радиоактивной грязи после взрыва. Там даже роботы не выдерживали, через полчаса выходили из строя. Думаю, именно там я получил предельно допустимую норму. Балка перекрытия рядом рухнула, вот меня и контузило, пока в себя пришел, много времени ушло. До сих пор перед глазами скелеты рыб и птиц из пруда-охладителя ЧАЭС. Мы как раз его дезактивацией занимались. А еще помню табуны одичавших лошадей и... множество кроликов. На буйных, радиоактивных травах Чернобыля их расплодилось невероятно много...

Тогда Григорий Ярославцев еще не знал, что пройдет совсем немного времени и у чернобыльцев-ликвидаторов, которых называли «героями» и «спасателями», отнимут одна за другой заслуженные ими льготы, назовут «социальными паразитами» и будут предлагать «снять с практически здоровых людей ярлык радиационных жертв», чтобы вернуть их к нормальной трудовой жизни. Приравнять чернобыльскую ситуацию к обычному стихийному бедствию, как наводнение или пожар. С выплатой денег пострадавшим один раз.

При первом же осмотре врач сказал своей помощнице, что потеря зрения не обратима. Сказал тихо, но так, чтобы слышал Григорий. Для доктора это был не первый пациент из горячих точек, и он хорошо знал, что с ними лучше быть откровенным, чем юлить, успокаивать дежурными словами и обещать исцеление, которое виделось просто нереальным. Две-три недели (сроки пребывания в военном госпитале обсуждению не подлежат) Григорий должен был провести на больничной койке, а там, сказали ему, посмотрим.

С трудом дозвонившись до сестры в Заводоуковске, Григорий узнал о смерти отца, долго потом метался по палате, держась за стены, стол и спинку кровати. В плотной темноте незрячих глаз расплывчато, неясно выплывало откуда-то из глубины бездны лицо отца. Григорий протягивал руки, пытался прикоснуться к нему своею теплой, влажной ладонью, но изображение сразу исчезало, словно играло с ним в догонялки.

Доктор пожалел парня, знал, что получит за доброту свою нагонный от главврача, но запретить человеку присутствовать на похоронах отца не мог, тем более что Григорий грозился в случае отказа сбежать из больницы. Это при его-то полном отсутствии зрения! Леночка, милостивая практикантка из хирургического отделения, нельзя сказать, что с охотой, но согласилась быть поводырем парня. И в тот же день они отправились в Ханты-Мансийск.

* * *

Григорий сидел у могилы отца. Она находилась в самой глубине кладбищенских тропок и была не видна из-за густой травы и кучи мусора, набросанного, видимо, с соседних могил. Заботливо ухоженный клочок земли с воткнутым в него скромным памятником из жести, на котором черной краской начертано имя усопшего, вызывал какое-то смешанное чувство горечи и отчаяния. Григорий видел все в пространстве оградки, видел на ощупь, внутренним напряженным ощущением. Он сидел на траве, прислонясь к оградке. Не было на его лице печали, был покой и полное отстранение от всего, что происходило вокруг.

Лена знала, нет, она сердцем чувствовала, что неожиданное, даже странное исчезновение Григория из дома было связано с чем-то очень важным, побудившим его на бездумный и в то же время необходимый поступок. Она представила себе, как он, совершенно незрячий, одиноко бредет по улице, неуверенно передвигая ноги, как все обращают на него внимание, одни сочувствуют, жалеют, другие словно настороженно, с затаенным страхом обходят, как больного, от которого можно заразиться. Если бы в эти минуты она была рядом, она испытывала бы почти гордость за то, что молодая и красивая выделяется из толпы, служа поводырем слепому солдату чеченской войны с обезображенным лицом, ощущая даже жертвенность своего поступка. Лена вдруг вспомнила, что сегодня родительский день, и сразу поняла, что Григорий может отправиться туда, где покоится его отец. На ощупь, осторожно тыкая палкой перед собой, подсознательно, почти интуитивно ориентируясь в кромешной мгле, он мог легко заблудиться, угодить в непоправимую ситуацию. Только от одной мысли об этом у Лены холодело сердце. Она быстро оделась и побежала на кладбище. Да, она не ошиблась. Григорий сидел у могилы отца. Девушка какое-то время смотрела на него — он не двигался, хотя сидел в неловкой позе. Она устало держалась в отдалении, боясь пошевелиться, выдать неосторожным движением свое присутствие. Но вечно стоять так тоже нельзя, и Лена пошла к нему, протискиваясь между оградками, удивляясь, как он тут шел, где и зрячий-то едва различит узкий проход.

— Это я, Гриша, — сказала она, — извини, я страшно перепугалась, хотела даже в милицию звонить. Ты бы хоть сказал кому, куда отправился. Пойдем домой.

— Сядь тут, Лена, — ответил Григорий, не удивившись ее появлению, не испугавшись и не растерявшись. — Сядь.

Она присела на землю рядом с ним.

— Понимаешь, — сказал он почти радостно, — я вышел на улицу и пошел, пошел, понимаешь, никого не расспрашивал, только здесь, на кладбище, спросил, и какая-то женщина привела меня сюда.

— Ты молодец, майор, что сам нашел дорогу. Значит, ты совсем здоров, ну, только не видишь, а так, значит, все можешь делать самостоятельно.

— А ты? Как ты меня нашла?

— Не знаю. Я и не очень-то искала. Подумала, где ты можешь быть, вот и примчалась. Знаешь, тут все заросло вокруг, можно я повыдергиваю траву?

— Я вижу, — сказал он, так и сказал: «Вижу». — Пусть растет, трава — не мусор.

— Не мусор, конечно, — согласилась Лена. — Ты сам пойдешь домой или вместе?

— Еще посидим маленько и пойдём. Ладно?

— Конечно. Сиди, сколько хочешь. А я все же чуть-чуть приберусь, а то накидано всякой всячины.

Она собирала хлам, набросанный здесь людьми и временем, относилась на главную аллею в мусорный ящик, а Григорий по-прежнему сидел в своей застылой, словно бы обреченной позе. Лена понимала, что это не обреченность и не отчаяние, а душевный покой, согласие с самим собой, умиротворенность. И она была права — сейчас или, точнее, с той минуты, когда он добрался сюда, ощупал руками осевший, заросший травой могильный холмик, сказал: «Здравствуй, папа!» и заплакал, оглаживая теплую землю, он ощутил нечто похожее на радость. С ним случилось большое несчастье, но он живет, и надо жить. Он постарается жить, изо всех сил постарается. До сих пор он оплакивал свою судьбу, с каждым днем его все больше захватывали безнадежность и желание умереть. Эти чувства остались в нем и сейчас, но пришла надежда, что он сможет жить дальше. Он сидел, не замечая времени, не думая ни о чем и не вспоминая ничего, отдавшись тому покою и той легкости во всем теле, которые обволакивали его тем больше, чем дольше он сидел. Появившись, Лена не нарушила его покоя, она только напомнила ему о внешней жизни, куда ему надо возвращаться, чтобы продолжить жизнь и надеяться. И теперь, слушая, как она возится, убирая мусор, как ходит туда-сюда, а легкий

ветерок от движений шуршит, обдувая ее лицо, Григорий испытывал искреннюю благодарность к ней. В какой-то момент его бросало в дрожь от мысли о том, что их дороги с Леной могли разойтись, как это случалось со многими его боевыми друзьями, которые пришли из Чечни с тяжелыми ранениями и в одночасье стали ненужными невестам, женам. Парни едва выносили душевную боль, а она, Григорий это прочувствовал на себе, намного мучительнее боли физической. И вот сейчас, вслушиваясь в окружающие его шорохи, он с особой остротой ощутил свою привязанность к этой ласковой и умной девушке, отдавшей себя в жертву обстоятельствам, которыми сам Григорий Ярославцев невероятно тяготился.

Часто казалось, что Лена из жалости взвалила на себя хлопоты поводья. Но всякий раз, когда он пытался заводить об этом разговор, она начинала плакать, уткнувшись лицом в подушку. Так может плакать только женщина, которую обвинили в несуществующем грехе.

Лена подошла к Григорию, обняла его за плечи.

— Вот и солнце заходит, а может, ему в речке окупаться захотелось. Какое оно большое, желтое. Вон там воробей сел на ограду, крошечный, совсем малыш. А вон там вороны дерутся, видишь?

Она проговорила «видишь» и испугалась, хотела проговорить «прости», но наоборот, еще раз повторила:

— Видишь, это они просто так, играючи дерутся. А ветер их успокаивает..

— Да, чудные они, эти птицы.

— Чудные, — вторила Лена, поняв, что заплачет, и торопливо ушла за ограду, к мусорному ящику, и там зарыдала, всхлипывая, боясь, что Григорий услышит. Но он не услышал, хотя слух у слепых улавливает то, что другим не под силу. Когда, успокоившись, она вернулась, он спросил:

— Пойдем или посидим?

— Давай посидим, — ответила она, — одну минуточку, чуть-чуть, и пойдём.

Они посидели чуть-чуть, поднялись и пошли.

— Я возьму тебя под руку, — сказала Лена, когда они вышли с кладбища. — Так удобнее будет. Ладно?

— Ладно, — согласился он и бодро, крупно, размашисто зашагал, загребая ногами песок на раскаленной от солнца дороге...

Перековка: часть вторая

АСТЕНИЯ

Глава первая

1

За годы реформ, перековки села и всей отечественной экономики состояние России не только не улучшилось, но и оказалось отброшенным по уровню развития на десятилетия назад, а по некоторым показателям — в дореволюционный период. Никогда, даже после разрушений от гитлеровского нашествия, не наблюдалось столь продолжительного и глубокого снижения уровня производства почти во всех отраслях хозяйства. Астения — слабость всего организма, включая не только экономику, но и социальную сферу, культуру, образование, — охватила Россию.

Я не вправе давать политических комментариев сложившейся ситуации. Да если бы даже и захотел это сделать, то вряд ли смог бы сказать что-то убедительнее детального анализа, который удалось почерпнуть из многочисленных документальных источников и научных исследований.

Государство, разум и воля народа — вот три буйвола, которые в одной упряжке тянут воз истории. Стоит оступиться кому-то из этих буйволов, и потянет воз либо влево, либо вправо, а то и вовсе брякнется повозка вверх тормашками.

В отличие от кризиса катастрофа разрушает ранее действовавшие механизмы социально-экономического развития. И если выход из кризиса достигается при помощи модернизации уже сложившейся системы экономических отношений, то после катастрофы ее необходимо формировать заново. Поэтому возможности восстановления и развития хозяйства в решающей степени зависят от проводимой политики.

Россия обладает замечательной способностью возрождаться из пепла, в кратчайшие сроки восстанавливаться после социальных катастроф и экономических разрушений. Но каждый раз для этого нужна концентрация политической воли, мобилизация всех имеющихся ресурсов, единение народа вокруг понятных каждому целей, научно обоснованная программа возрождения страны. Десять-две-

надцать лет назад при неудачах в ходе реформ таких условий у нас не сложилось. Все это угрожало закреплением российской экономики на периферии мирового рынка в качестве его «сырьевого придатка» без шансов на быстрое и устойчивое развитие. Для подавляющей части населения это могло означать сохранение крайне низкого уровня жизни, который еще долгое время мог быть ниже дореформенного. Потребовались колоссальные усилия, чтобы найти какие-то пути выхода из кризиса.

Вспоминается разговор с одним депутатом Представительного собрания. «Кулачество в своей книге вы сравниваете с жертвами государственного насилия и геноцида, — говорил собеседник. — Колхозы, созданные на базе имущества кулаков, смогли худо-бедно кормить молодое Советское государство. Да, пришлось понести потери, но они оправданы сегодняшним процветанием. Нам и свободу в войне с фашистами тоже пришлось отвоевывать ценою больших людских потерь. Что вы хотите доказать?»

Я хотел сказать, что ничто никому не доказываю, а только рассказываю, руководствуясь упрямыми фактами и логикой, но он, так подумалось, все равно не поймет — советская школа. Коллективизация хоть и была по сути преступлением, но теоретически выдавалась за вынужденную, политически обоснованную акцию. Да, все можно списать на историческую ситуацию, так было, так есть и так, наверное, будет. Но почему коллективные хозяйства оказались мертворожденными дитя? Ведь их развалили не кулацкие мятежи, не враги народа, а государство, не обеспечив должной социальной, а главное — финансовой и материально-технической поддержкой. Давайте спишем и это на какие-нибудь исторические обстоятельства. Но ведь и по сегодняшний день в устройстве сельского хозяйства следуют ошибка за ошибкой, провал за провалом.

2

До радикальной реформы, начатой в 1988 году, сельское хозяйство России развивалось довольно стабильным темпом. Исхлестанная, ободранная до нитки деревня научилась выживать, а учить крестьян трудолюбию не приходилось. Все, наверное, понимают, что имеющиеся в стране земельные угодья представляют собой бесплатно данную природой огромную производительную силу, и не использовать ее просто глупо. Переживаемый кризис в сельском хозяйстве и спад его производства наносят тяжелый удар по всей экономике, поскольку приводят к потере огромного количества бесплатных природных ресурсов. Эти потери приходится оплачивать, закупая продовольствие за рубежом, что и происходит сегодня. Реформа, призванная, по

идее, значительно улучшить положение дел, в действительности привела к глубокому кризису всего сельского хозяйства. На лицо одно из звеньев череды грубых ошибок: раскулачивание, коллективизация и вот она — реформа.

Реформа означала революционное изменение организации сельскохозяйственного производства и его отношений со смежниками, потребителями и государством. Она изменила общественный строй России в части сельского хозяйства и всего жизнеустройства российской деревни.

До начала радикальных реформ в РСФСР действовало 12,9 тысячи государственных предприятий — совхозов, примерно столько же колхозов. В них работали около 10 миллионов человек, а число проживающих в сельской местности составляло чуть меньше 40 миллионов.

После интенсивной идеологической кампании по дискредитации колхозов и совхозов как бесперспективных из 95% перерегистрированных сельхозпредприятий только 34% сохранили свой статус. Корень зла исследователи видят в реорганизации хозяйств, не ориентированной на сохранение накопленного в сельском хозяйстве производственного потенциала. Результат очевиден: более чем две трети бывших крупных предприятий — колхозов и совхозов — преобразовались в мелкое производство — в личные подсобные и фермерские хозяйства. Разумеется, это обстоятельство привело к резкому сокращению объемов производства. Например, в 1999 году все группы сельскохозяйственных предприятий с численностью занятых до 180 человек были убыточными.

Средний класс крестьянства, названный кулачеством, разумеется, не имел никакой поддержки государства. Рассчитывать кулакам приходилось только на себя. Преуспевающие семейные хозяйства подвергались грабежу в виде чудовищного продналога. Не надо было никаких репрессий в 30-х годах, они разорились бы сами и исчезли с лица земли. Сталинский режим просто хладнокровно добивал раненых.

Кулацкое подворье из прошлого и новорожденное фермерское — из нынешнего — как два сапога пара. Невольно вспомнишь уже использованное однажды в нашем повествовании выражение по поводу того, что история заявляет о себе дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Так вот, сегодня мы видим фарс.

В последнем отчете министерства сельского хозяйства США сказано, что в Америке насчитывается 1,9 миллиона ферм. Они делятся на мелкие семейные и крупные с размером реализации до 250 тысяч и свыше 250 тысяч долларов. Мелкие семейные фермы еще к началу нынешнего века практически выпали из числа эффективных това-

ропроизводителей. И хотя таких сегодня в стране абсолютное большинство, их вклад в общий доход не превышает 12%. Не будь государственной поддержки в размере 1200 долларов на одну ферму, они давно бы оказались в убытке. В настоящее время эти хозяйства существуют исключительно за счет деятельности, не имеющей к фермам никакого отношения. Тем не менее они существуют, то есть продолжают производить сельхозпродукты.

Итак, не видя иного выхода, бывшие колхозники и работники совхозов занялись в нашей стране индивидуальными садами и огородами, надеясь, что на сей раз раскулачивать их не будут. Естественно, частники производят то, что позволяет с наибольшей эффективностью использовать наличные ресурсы. Никто не сеет на приусадебном участке пшеницу, так как на больших полях колхоз производил зерно с затратами труда всего 1,2 человека-часа на центнер. Приусадебное хозяйство всегда специализировалось почти исключительно на картофеле. В 80-е годы, например, половина картофеля в стране выращивалась на сотках.

Село в массовом порядке отступило на подворья. Десять лет назад площадь личного приусадебного землепользования составляла свыше шести миллионов гектаров. Государственные предприятия производили 40,3% продукции, личные хозяйства — 57,2. В 2000 году частники произвели 92,4% картофеля.

И на себе испытал в полной мере, и насмотрелся я на то, как гнут спину частники на своих огородах, особенно жители села. Ведро, лопата, первобытная тяпка — вот весь инвентарь. Явный признак разрухи. Не случайно в последние годы почти на четверть снизилось производство картофеля на приусадебных участках. Не лучшим образом обстоят дела на подворьях и с животноводством, на 26% сократилось поголовье коров. Регресс наметился не только в технологии животноводства, но и в санитарии. Скот забивают на подворьях, мясо продают на дорогах и в подворотнях. Вот маленькая и весьма типичная выдержка из Государственного доклада о состоянии здоровья населения: «Настораживает расширение ареала синантропного трихинеллеза и увеличивающееся число заражающихся... Заболеваемость трихинеллезом, имеющая вспышечный характер, регистрировалась в 40 административных территориях. Все вспышки заболеваний возникли в результате бесконтрольной торговли свиной подворной убой без проведения санитарно-ветеринарной экспертизы. Развитие и интенсификация индивидуальных хозяйств (частное свиноводство, выращивание овощей, зелени, ягодных культур с использованием необезвреженных нечистот для удобрения) приводят к загрязнению почвы, овощей, ягод, мяса и мясопродуктов».

1

Ставка реформаторов на фермерские (крестьянские) хозяйства явно не оправдала надежд. А ведь на первом этапе реформ они были представлены как главный тип хозяйства на селе в рыночной системе. Многих важных черт капиталистической фермы они так и не приобрели. Для того чтобы выяснить причины, мне пришлось основательно покопаться в многочисленных отчетах, экономических анализах, справках и докладах. Вот что удалось получить. Фермерские хозяйства в России завели, в основном, сельские специалисты, их образовательный уровень очень высок — 36,6% руководителей хозяйств имеют среднее специальное образование, 20% — высшее. Хозяйства, в основном, являются семейными. В 1999 г. в них было занято около 236 тысяч наемных работников, причем в среднем один человек работал только 43,9 человеко-дня в год. Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды составляли в структуре расходов ферм всего 10 процентов. Они плохо оснащены техникой, невысока и товарность производства — в 2000 году от общего объема производства реализовано лишь 51,9% зерна и 57% скота на убой. Фермеры находятся в трудном финансовом положении, более половины хозяйств убыточные, 11–12% на грани банкротства.

В начале «фермеризации» российского села было сделано немало заявлений о том, что гражданам, которые решатся выйти из коллективных хозяйств и совхозов и заведут собственное хозяйство, государство обеспечит всемерную поддержку. Увы, фермы были брошены на произвол судьбы — типичная судьба при устойчивой «засухе сельского хозяйства» — астерия. По результатам проведенного анализа выяснилось, что 80% фермеров на практике не могут получить той помощи государства, которая является совершенно обычной во всех странах, где фермерские хозяйства представляют собой важный тип сельскохозяйственного производства.

К названным причинам добавлю еще одну, в документах она, конечно же, не упоминается. У российского крестьянина просто отбили охоту заниматься своим делом, хотя практика раскулачивания осталась в далеком прошлом. Дикий современный рынок диктует свои вкусы: зачем копать в навозе и в земле, вкалывать, спины не разгибая, на участке, постоянно зависеть от природных капризов, когда можно заработать стократ больше, не запачкав белого воротничка, используя не только узаконенную, но и всячески поощряемую государством спекуляцию? Купил за рубль, продал за два. Сыт, пьян и нос в табаке. И никаких проблем.

Прошел год или чуть больше года, как следом за соседом по Печерке Иваном Ярославцевым убрался из жизни Николай Громов. Похоронив отца, дети сразу же повели спорный разговор о переезде матери из Ханты-Мансийска к ним, при этом каждый тянул к себе, не без расчета, конечно, увидев удачную возможность получить надежную няню для собственных детей и внуков. Анна Афанасьевна и сама хорошо понимала, что связь с этим городом потеряла всякий смысл, и каждый день, каждый предмет в доме только лишней раз напоминали ей о Николае, что непроходящей болью отдавалось в душе. Выбор был сделан неожиданно быстро. Из Урая позвонила дочь Светлана, которая решила вместе с мужем-англичанином съехать на постоянное место жительства в Ливерпуль, на родину супруга. А хорошо благоустроенную квартиру, дачу на берегу чудного озера продавать жалко. Да и кто ее купит? Рынок непомерно дорогого жилья, не пользующегося спросом, перенасыщен. Кому надо было, отхватили себе квартиры задарма во времена приватизации. Народ сюда теперь валом не валит, добыча нефти падает пропорционально зарплате. Мать хоть и старенькая уже, но по-прежнему проворная, энергичная — пускай хозяйничает на новом месте свой остаток лет. На том и решили.

Бывает, я забегая к ней иногда без определенной надобности, просто навестить, проведать. Редко у нас сегодня получается так просто зайти, чтобы просто проведать. Анна Афанасьевна в разговорах со мной хотя и поругивает нынешнюю власть из чувства классовой стариковской солидарности, но довольно вяло. Потому что она как-никак человек здравого рассудка и твердой памяти, которые не позволяют одни не вписывающиеся в общее настроение моменты отбрасывать, а другие, вписывающиеся, напротив, выпячивать, как выпячивает попрошайка на паперти свои увечья, уродства и болячки.

Анна Афанасьевна в каждый момент помнит, что пенсия у нее, выписанная государством за девять детей, не считается трудовой, а скорее — утешительной. Но на скромную жизнь хватает даже без льгот, которые у пенсионеров почему-то отняли. Она помнит, что живет в центре маленького, уютного и красивого города, имея в собственности двухкомнатную квартиру. Хоть и в старом доме, зато комнаты большие, кухня просторная, и в случае крайней нужды все это можно обратить в приличные по любым меркам деньги, за которые легко купить новенькую однокомнатную. И еще останется столько, что ей, старухе, ни при каких обстоятельствах не прожить, если, конечно,

в этой стране не наступят очередные «форс-мажорные» обстоятельства.

А кроме того помнит баба Аня, будто вчера это было, как везли их с мужем в ссылку, какими подавленными они были и словно неродными во время этого крестного пути. Помнит, как в переполненной чужими и тоже подавленными людьми церкви впервые в жизни увидела смерть — сначала одну, а потом еще много-много, как на ее глазах убивали отца. Она успела привыкнуть к смерти, и маленькое ее сердце, окаменев, перестало расти, отчего в нем уже с тех пор мало места для излишеств, хотя главную свою функцию этот орган до сих пор выполняет на редкость ответственно. Неподалеку от города у нее теперь четыре сотки земли, где почтенная женщина проводит почти все лето. Всю работу делает своими руками, хотя, конечно, иной раз приходится соседей на помощь звать. А те, тоже пенсионного возраста мужчины, никогда не отказывают, потому что соседка менее всего склонна принимать, тем более выключивать благотворительность, чем сильно выделяется из основной массы российского старчества. Она расплачивается с наемными работниками исключительно щедро, при этом зачем-то брезгливо поджимает губы, словно столбовая дворянка. Данная брезгливость аналитическими методами не доказуема, но когда спрашивают: «Афанасьевна, что-то много даешь, может, ты «новая русская?»» — она неизменно и с неподражаемым высокомерием роняет: «Новые русские», если приглядеться, это такая дешевка. А я — из настоящих русских, я — кулацкое отродье. И мы были кулаками настоящими, не то что некоторые бедолаги, пропавшие вообще не за понюх. И мы знали, к чему может привести жадность, а потому батраку всегда платили хорошо. Если б все так — черта с два бы у большевиков выгорело, однако они знали, на чем сыграть...»

Но все идет к тому, что скоро прервется и у старушки последняя связь с землей, прервется навсегда, в смысле до того момента, как она сама, во исполнение непреложного закона, сделается землей. Но наступает весна, и она снова на «даче». Тело, за зиму отвыкшее от работы, скрипит, хрустит и ноет, отказываясь «совершать опасные усилия». Но куда оно денется от команды, которую подает все еще беспокойная голова? Однако не нынче, так на будущий год она все же исполнит давно созревший замысел, как только наступит окончательное отвращение к этим грядкам и кустам. Ведь и впрямь, нужды никакой. Сколько старушке нужно тех овощей, да и какие они, те овощи? Ей нужны сахар, хлеб, чай да маленько колбаски. А оно на грядках не растет, поэтому весь урожай в конечном счете достается посторонним людям — частью Афанасьевна раздает плоды своего труда бесплатно таким же городским старушкам, как она сама, а ча-

стью реализует за деньги, примостившись неподалеку от своего дома прямо на тротуаре.

Торгует дешево, поскольку, во-первых, вырученные деньги ничего не решают, а во-вторых, любит, чтобы торговля весело шла. Однако заработанное баба Аня скрупулезно суммирует, получившейся цифрой гордится. Это же не пенсия, которую государство дает из жалости, это заработано собственным трудом — самый верный способ оправдаться перед своей щепетильной совестью за потребленный общественный кислород и занимаемое естественное пространство.

А когда товар иссякает, становится грустно, что было его так мало — уже привычной стала компания уличных торговков, уже не полной кажется жизнь без этих многочисленных непринужденных общений, во время которых порой доводится слышать такие откровения, какие никогда не услышишь от близкого знакомого и даже родного человека.

Зачем я все это рассказываю посреди серьезного и, как мне кажется, сугубо делового разговора о «засухе» сельского хозяйства в России? Нет, Анна Афанасьевна Громова — это как раз есть маленькая, крошечная совсем частичка того огромного поля, брошенного на растерзание засухи — плода человеческого недомыслия. Меня можно укорять в сгущении красок сколько угодно, но я всегда буду склонен к мысли о том, что, махнув рукой на деревню, государство этим жестом показывает свое отношение к людям, кровью и плотью связанным с землей. Реформы — это лишь ширма, прикрывающая равнодушие и безразличие к людским судьбам.

— Однажды, — исповедуется мне Анна Афанасьевна, — я чуть ли не целый день плакала навзрыд. Поводом стало сообщение по радио. За обедом я слушаю новости или последние известия, или, как мы еще стали называть, «известия происшествий». И вот в рубрике «Разное» рассказали быль из современной английской жизни. Фермер не захотел усыпить свою любимую лошадь после того, как у нее отняли сломанную ногу. Хозяин лошади попытался смастерить ей протез, но у него ничего не получилось. Тогда он заказал этот протез на заводе, заказ выполнили, и теперь лошадь не просто передвигается, но и играет. А мне уже три с половиной года не могут сделать удобные зубные протезы.

Там же сообщили, что один француз сейчас путешествует по одной из параллелей земного шара, так как на ней находится его родной город. И сейчас он оказался в Красноярском крае. Вот это свобода! Меня это сообщение совершенно добило! Я плакала и долго не могла успокоиться. Человек из чужой страны приехал, чтобы навестить в России место своего рождения. А мы вот, получается, на своей роди-

не чужие. Меньше всего думала, что буду так рыдать от каких-то баек, услышанных по радио. Доела свой обед и «побежала» в огород. Поливать. Погода в этот день стояла жаркая и ветреная. Готовила грядку под землянику, так земля, как зола. В тот же день жара выгнала меня с огорода. Очень жарко. Мне противопоказано солнце. Какой парадокс! Я всегда любила солнце, воду и воздух. Теперь для меня остался только воздух в любых количествах. А когда жара и ни капли живой влаги с высоких небес, наступает страшная засуха. Ливня сейчас не хватает, хорошего ливня. И чтоб с грозой...

Занимаюсь огородом, прополкой, поливом, копкой грядки, пересадкой. И главное — от посадок выгоды почти никакой, зона рискованного земледелия. И этим все сказано. Те силы, которые я затрачиваю, мой труд — экономически невыгоден. Но я работаю совсем не для этого. Я хочу занять себя, иначе от безделья и одиночества полезешь на стенку. Да и растения жалко. Раз их посадил, то надо ухаживать. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Сент-Экзюпери нет в живых почти столько, сколько мне лет, а его мысли меня греют. Вообще, я люблю читать с детства, и если попадется хорошая книга, я счастлива.

Я покраснел, поймав себя на нескромном желании, чтобы баба Аня, произнеся последние слова, с благодарностью посмотрела на меня. Она посмотрела, только не на меня, а на томик стихов Есенина, стоявший на полке рядом с иконой.

2

Нерентабельность, убыточность почти всех государственных и частных сельхозпредприятий, лишенных государственной поддержки, падение уровня производства привлекли внимание импортеров сельскохозяйственных продуктов, производство и экспорт которых на Западе субсидируется государством. В 1992 году правительство России даже оказывало поддержку зарубежным производителям, тем самым дискриминируя производителей отечественных! Оно закупило у российского села 26,1 миллиона тонн зерна по 11,7 тысячи рублей за тонну (по курсу это составляло около 28 долларов), а у западных фермеров — 28,9 миллиона тонн зерна по 143,9 доллара за тонну (!?).

В это же время суммарная задолженность отечественных сельхозпредприятий по всем обязательствам, включая задолженность по кредитам банков и другим заемным средствам, выросла в 50 раз и к концу 2000 года достигла 229 миллиардов рублей. Прибыль от реализации продукции составила всего 15 миллиардов. Более 70% сельхозпредприятий имели задолженность по оплате труда работников.

Вновь потянуло по селам холодком голода. Это не в 30-е. Это в 1999—2000 годах!

Просроченная кредиторская задолженность, превышающая балансовую прибыль, привела к тому, что примерно у 60% сельхозпроизводителей были арестованы счета, и они на протяжении нескольких лет не имели возможность поддерживать нормальные финансовые отношения с государством, поставщиками ресурсов и покупателями продукции. Проще сказать, числились на бумаге в роли «мертвых душ». Боюсь, что крестьянам в такой ситуации было не до веселья, песен и плясок.

Реформа привела к разрушению цикла воспроизводства материально-технической базы сельского хозяйства, серьезно пострадал главный ресурс сельского хозяйства — земля. Всем ясно, что для поддержания ее в плодородном состоянии требуются постоянные усилия, в противном случае почва «дичает». Всем, наверное, доводилось видеть бескрайние поля, доведенные до «одичания». Даже те 30 млн га посевных площадей, явно заниженных в официальной статистике земель, зарастающих сорняками и кустарником, означают трагедию. На возврат этих угодий в культурное состояние потребуются колоссальные средства. И годы.

Земля в глубоком регрессе. Не много сегодня найдется предпринимателей, готовых вложить огромные деньги в ее реанимацию. Вот почему до сих пор мы довольствуемся поставками зарубежной сельхозпродукции, подчас забывая, что за эту продукцию надо платить. Платить пока можем исключительно за счет стоимости востребованных миром энергоресурсов все той же нашей земли. Они, как известно, не безграничны, не сегодня-завтра покажется дно. Ни одна западная страна не подаст нам кусок хлеба за красивые глазки. Что делать-то будем, а?

Бездарная государственная реформа поставила под удар не только основополагающую отрасль хозяйства, но и людей. Ведь молодежь бежит из деревни совсем не потому, что там навозом пахнет, нет дискотек и легальных публичных домов. Там нет достойной зарплаты. За последние годы средняя зарплата трудящихся снизилась по всем отраслям экономики страны, однако особенно глубокую дискриминацию терпят именно работники сельского хозяйства, хотя ничуть не меньше стали затраты труда работников отрасли — напротив, тяжесть труда значительно выросла из-за деградации технологической базы и сокращения использования энергии. Так, в январе 2001 г. средняя зарплата в сельском хозяйстве России была 852 руб. в месяц, а у служащих банков и страховых компаний — 13341 руб. Кроме того, реформа повлекла за собой резкое снижение строительства жилья на

селе. В 2001 г., например, жилья в сельской местности было построено в два раза меньше, чем даже в 1970 году. Зато повсеместно в сельской местности с неимоверной быстротой растут загородные дома и коттеджи государственных чиновников и бизнесменов. Дворцы соседствуют с халупами. При холодильниках, забитых голландским мясом, американской курятиной и французскими овощами, владельцы загородных хоромов тем не менее с большою охотою пьют местное молочко и за обе щеки уплетают деревенские хлебные лепешки.

Государственная реформа, взявшая на себя очередную перековку села, в действительности обрекла его на возврат к устаревшим укладам хозяйства, которое становится все более натуральным, а образ жизни занятых в нем людей все более архаичным.

Глава третья

1

Почему Октябрьская революция взяла на себя миссию разрушителя, навязав новую, социалистическую формацию, изначально обреченную на провал? Почему вопреки логике убили курицу, несущую золотые яйца, прикрыв преступление туманным словом «раскулачивание»? Почему исполнителя главной роли — социализм — вычеркнули из социально-политического сценария, назначив на его место неоперившегося, но самонадеянного и непредсказуемого актера — рыночный капитализм в российском гриме? Наконец, почему за все это широкомасштабное безумие никто не ответил? Вопросов тьма. Ответа нет. Долги предшественников не гасятся, они по законам истории передаются по наследству. И если ты ничего никому не должен, не успел еще попасть в список должников, ты по тем самым законам обязан ответить на все «почему». Политики, разбившись на группы подобно футбольным фанатам, пытаются давать оценку историческим вехам каждый по своему, вразнойой. Действующая власть нейтральна, не видит она в прошлом времени ни доброго, ни плохого. И в настоящем тоже многого не видит. В этом есть своя логика. Ведь выразители критического мнения, как правило, не облечены официальными полномочиями, они действуют «на общественных началах». Ученый, писатель, рабочий, просто человек с улицы — мало ли что кому из них взбредет в голову. С журналистом расчет еще проще. Он всего-навсего мелкий служащий, писать ему положено по должности, сегодня об одном, завтра о другом, к тому же за деньги. На журналиста можно и нажать, и наклепать начальству: проявляет тен-

денциозность в подборе фактов, политическую незрелость в оценках. Кажется, я уже слышу эти обвинения в свой адрес. Неприкасаемость многих современных помпадуров держится на том, что они не просто облечены властью, но всегда или почти всегда могут сослаться на указания свыше, загородиться штабелем разрешающе-запрещающих бумаг. Слышен даже ропот: надоело, мол, бессмысленное разоблачительство. И ведь, если разобраться, есть основания роптать. Ничто, пожалуй, не наносит нам больше вреда, чем политическая близорукость, способность покорно зализывать раны. Что-то я не припомню, чтобы кого-нибудь из государственных лиц у нас предавали суду за миллионы искалеченных судеб в пору репрессий, вредительские реформы сельского хозяйства, развал экономики. Разоблачение культа личности — не более чем шумовое сотрясение воздуха. Когда заходит речь о деяниях такого рода, часто слышишь многозначительную сентенцию: «Этого лучше не касаться. Это случай особый». Чем же особый-то? Допустили к власти одного изувера, потом другого, третьего. Те таких дел наворожали, что до сих пор не можем разгрести. Когда я слышу фразу: «Не так-то все это просто», мне хочется сказать: «Не так! Это еще проще». Вспоминаю байку о некоем старинном начальнике, который, когда возникала надобность обсудить какую-либо заковыристую проблему взаимоотношений «по вертикали», говаривал: «Это, товарищи, не вопрос. Это дерьмо вопрос. Это политический вопрос. Мы его обсуждать не будем». Я вовсе не испытываю ностальгии по временам, когда самый факт появления критической статьи, не говоря уже о книге, вызывал смятение и влек покаяние, даже если каяться не в чем. Но вопрос о разорении села, откинувший Россию на задворки цивилизации, преступные деяния партийных, советских и хозяйственных руководителей, доведшие народ до нищеты, сотни тысяч невинно загубленных жизней крестьян, вопрос о доверии общества власти — это действительно вопрос всегда политический, и чем он сложнее, запутаннее, тем настоятельнее необходимость внятно ответить на него. Иначе никакой демократии и продвижения вперед у нас не будет.

Вспоминается рассказ в какой-то газете о возвращении космического корабля Владимира Шаталова на Землю. «Когда корабль входит в плотные слои атмосферы, — делился он впечатлениями, — ощущение испытываешь двойственное. Машина надежная, кабина комфортабельная. Перегрузка, конечно, придавливает, но это ничего, так и должно быть. В общем, чувствуешь себя уверенно. Но глянешь за иллюминатор — и не по себе становится. Плазма — бешеная. Со стального кронштейна капли срываются, как свечки. Зрелище, я скажу, не для слабонервных...» Спускаясь с космических высот вче-

рашних утопий на грешную землю сегодняшних проблем, мы неизбежно возбуждаем облако бушующей плазмы, облако сопротивления. Удастся ли нам одолеть плотные слои атмосферы?

Перед тем как отважиться на свое осмысление «кулацкой темы», непрекращающейся перековки всех и вся, мне пришлось узнать особую породу людей, которые, как бы ни повернулась жизнь, всегда остаются в выигрыше. Начнись сегодня коллективизация заново, они все равно воскликнут, довольные потирая руки: «Вот видите! А я вам что говорил!» Воскликнут и опрометью кинутся вступать в колхоз, засоряя пространство громкими посторонними возгласами. О чем они кричат, куда бегут? Да никто не знает, они и сами не ведают этого. Они бегут по ходу, только по ходу — вот главное. В словах их важен не смысл, его может и вовсе не быть. За кого они, за что? Они за все. Они за раскулачивание, когда большинство за раскулачивание. Но так как есть еще и меньшинство, то они заодно и против раскулачивания. Они за развитие рыночных отношений, кто же теперь против рынка, но рынок для них вроде огорода, разделенного на грядки; на одной горох, на другой репа, на третьей огурцы, с любой можно отщипнуть помаленьку — вот и сыт. А истина? Что ж истина? Истина в том, что каждому овощу свое время. Они за перековки — перемены самые решительные, идущие настолько далеко, насколько видно с самой высокой вышки. А если с другой вышки видно так же далеко в противоположную сторону, они исхитрятся поспеть и туда, и сюда. В их радостном восклицании: «Вот видите! А я вам что говорил?» — ни хвастовства, ни ошибки. Они всегда правы, потому что они за все и за всех, а уверены они в главном — в себе. Не обладая обычно ни острым умом, ни дарованиями, отождествляя жизненные убеждения со здравым смыслом, а здравый смысл с умением двигаться исключительно по ходу потока, они, если повезет, вырываются вперед, как прошлогодний мусор на апрельских ветрах, и тогда сбиваются в стаи. Чем крепче ветер, тем прытче несется стая, гомоня на лету: «Вот видите! Видите!» Обыватель задирает голову, прислушивается и чешет в затылке: кто их знает, может, они и в самом деле чего-то углядели, ведь впереди ветра летят...

Безумная перековка села, нервное «развитие рыночных отношений» наверняка выносят уже много такого мусора...

2

Почему сегодня, в условиях рыночных реформ, поставивших в порядок дня вопросы, прежде всего, социально-экономические, сразу, как только были открыты шлюзы гласности, публицистика, литература вновь обратились к сталинским временам? Думаю, для того

чтобы объяснить это, надо сначала разобраться с другими «почему». Почему из нашего исторического обихода была не то что бы изъята совсем, но до возможного предела урезана память о 20 и 22 съездах КПСС? Могу представить, какое раздражение вызвала сейчас одна только упомянутая аббревиатура. Но сдержанная корректность в поиске истины никогда еще не мешала здравому смыслу. Хочется нам об этом думать или не хочется, но именно эти съезды провозгласили поворот от диктатуры к демократии, и вовсе не случайно, что в середине пятидесятих годов лозунг перестройки был не менее настоящим, чем сейчас. Да, КПСС во многом была грешна, можно даже сказать, во многом болтлива, если касаться идеологии, но в отличие от нынешних «политических ценностей», когда никакой идеологической концепции нет вообще, старые лозунги видятся куда более актуальными, нежели щедрый жест Бориса Ельцина: «Бери свободы столько, сколько унесешь». Сталинская клика убивала кулаков в 30-х, нынешняя власть убивала парней в Афганистане и Чечне. Есть какая-то разница? Может быть, пришла пора перестать списывать жертвенность политики руководства на объективные, вынужденные обстоятельства? По моему глубокому убеждению, многие беды миновавших десятилетий связаны с отказом от решительного выбора. То есть выбор сделали, но... Ошибка за ошибкой, недочет за недочетом, провал за провалом — не многовато ли, не стало ли это привычной тенденцией? В средневековой Ганзе капитаны перед плаванием обращались к команде: «Так как мы предоставлены только Богу и волнам, каждый из нас должен быть равным другому; и так как грозят бури, пираты и прочие опасности, мы должны держать твердый порядок, чтобы довести дело до благополучного конца». Возвратившись из плавания, те же капитаны требовали: «Происшедшее на палубе нашего корабля мы должны простить друг другу и предать забвению. Поклянемся на соли и хлебе, что никто не станет никого помянуть лихом. Если же кто считает себя обиженным, пусть требует суда до захода солнца». Счеты были закрыты, обиды списаны на трудность пути, взаимное прощение оправдано открытием богатых берегов. Через полвека, однако, обнаружилось, что богатые берега не столь уж доступны, семи футов под килем почему-то нет, а дно корабля обросло ракушками...

Однажды, когда еще был жив дядя Ваня Ярославцев, шли мы с ним по веселой улице после майской демонстрации. Был он уже старый, маленький. На протез припадал все заметнее. Вдруг кто-то завопил: «Иван Васильевич! Родной ты наш! Слава ты наша!» Огромный лохматый старик, шумно дыша, кинулся к Ярославцеву, облапил, утопил его в объятиях, норовил поцеловать. Дядя Ваня растерянно сопел,

отталкивался от старика, как ребенок отталкивается от чужого, неприятного ему человека, и вдруг спросил высоким, пронзительным голосом:

— Макашин! А помнишь ли, как ногами меня бил? В тридцать седьмом-то году в комендатуре?

Огромный старик отпрянул. Изумленно и обиженно воззрился на Ярославцева и укоризненно прогудел:

— Иван Василич! Родной ты наш! Слава ты наша! Да ты што? Да нешто я тебя бил? Это жизнь тебя била...

Обращение к реалиям сталинской эпохи вызвано, я уверен, отнюдь не только чувством исторической справедливости, да, пожалуй, и не чувством вообще. Видеть в «грубых нарушениях социалистической законности» главную отрицательную особенность эпохи «культы личности» — значит, не видеть основного. Все началось с пренебрежения к куда более важным законам — законам общественного развития. Надо — вот и весь закон. А надо было, прежде всего, с помощью страха миллионов удержать за собой власть и «всего-навсего» построить коммунизм. А для этой цели все меры оправданны, и любой, кто мельтешит на палубе, — враг. А если враг не сдастся, его уничтожают. Логика простенькая. «Грубые нарушения социалистической законности» — лишь следствие того, что логика с жизнью не сходилась. Всякий диктатор, само собой, «гений». Но он решительно отличается от гениев в любой другой сфере деятельности. Художник сначала пишет картину, потом назначает вернисаж. Диктатор сначала объявляет вернисаж, потом берется за ружье, чтобы не опоздали к открытию выставки. Историческое содержание «культы личности» — принуждение в самых крайних формах во всем, от экономики до интимной жизни. Механизм диктатуры (любой диктатуры и любой механизм — политический, экономический) способен обеспечить только принуждение и обеспечивает его до тех пор, пока силы общества не иссякают окончательно. Сталин довел страну до состояния обморока. Наиболее показательны пример деревни, своего рода скорбный образец, положенный в основу «Перековки». Огромная часть населения, кормящая другую часть, оставалась бесправной, беспаспортной, работала практически бесплатно, жила за счет скудного подворья. Понятно, почему вскоре после смерти Сталина именно на деревню обрушились бестолковые реформы, окончательно добившие ее. Почему бестолковые? Потому что порядок вещей бывает, когда сначала думают, а потом делают. У нас, как обычно, получилось наоборот.

Начиная с 1917 года мы непрерывно что-нибудь перековываем. Причина не в качестве стали, причина в том, что «у кузнеца руки не

оттуда растут». Перековка, переосмысление, перестройка — понятия одного рода. Смысл у них один. В моем журналистском блокноте сохранилась цитата из речи М. С. Горбачева на январском Пленуме ЦК. Он говорил о перестройке, тогда воспринимаемой в образе новой революции. Но слова, сказанные много лет назад, весьма актуальны и сегодня, в эпоху перевода государственного, общественно-го механизма на рельсы рыночных, капиталистических отношений. «...Сейчас нам очень важно видеть все, что есть позитивного, конструктивного, брать это на вооружение, делать достоянием всего народа, использовать ростки новых подходов и условий перестройки. Если кто-то решил, что он уже перестроился, то ему следует напомнить, что мы еще только занялись перестройкой, мы ее только начали». Во как!

Сейчас очень много и верно говорят об экономических методах хозяйствования, о материальной заинтересованности и рыночных отношениях. Но не ударились ли мы в прямолинейную однобокость, способную завлечь только в погоню за прибылью, которая быстренько перевоплощается в обыкновенную корысть? Не знаю, я не экономист, не политик и не психолог. Я только знаю, что нам нужно научиться отделять надежды от иллюзий. Первая и решающая наша надежда — правда. Традиционная вера в силу слова, в то, что если факт, явление преданы широкой огласке, публично осуждены или одобрены, то и делу конец, — иллюзия. Глубокие реформы хозяйственной жизни, избирательной системы, права и так далее — надежда. Расчет на то, будто «новый русский» сам себя упразднит, добровольно ликвидируется, — иллюзия. Ставка на талант, на инициативу сметливого и энергичного работника — надежда. Считать, что все трагические противоречия, несоответствие намерений и практики, слова и дела сданы в архив, забыты, стерты из памяти людей, — самая большая иллюзия. Не забыты, не стерты, более того, не подлежат забвению — оно таит в себе опасность повторения ошибок.

Глава четвертая

1

Все лето ни капли дождя — верный симптом засухи зерновых культур на полях.

Долгие годы равнодушного отношения государства — явный признак засухи во всей системе сельского хозяйства.

Отсутствие даже маленьких ростков цивилизации — катастрофическая засуха духовной культуры в деревне.

Засуха, засуха, засуха. Тот, кто пожил в деревне, хорошо знает смысл этого слова.

Гнутся к земле колоски, выгорают на солнце, ветер гоняет над полями тучи пыли. Но ведь бывает и все по-другому, когда пшеница в рост человека, зерна сочные, душистые, налитые благодатью, когда петь хочется, благодарить Бога и радоваться жизни. Вот только не хлебом единым жив человек. В любую погоду не дает ему покоя душа. Она тоже живая, может любить, страдать и болеть. И умереть — тоже может. И как всякому живому человеку, душе пища требуется — духовная пища. Голод для нее — скверная штука. Исполон веков российская деревня относительно духовных начал варилась в собственном соку. Ни при царе, ни при советской власти, ни нынче при власти неизвестно какой не строили на селе дворцов культуры, спортивных комплексов, библиотек, баров и ресторанов. И ведь, кажется, обходились без всего этого. Робинзон Крузо тоже обходился. Но сельский житель не Робинзон, деревня хоть и далека от города по географическим меркам, она всегда была равноправной составной частью национальной, общественной культуры. Часто слышишь от многих молодых городских бездельников: дескать, водку пью потому, что сходить некуда. На каждом шагу — культпросветучреждения. Надоели, приелись, устарели! Надо что-то такое... Что «такое» — никто не знает. Просто что-то надо. Аналитики в один голос твердят, что именно дефицит культуры толкает сельскую молодежь в город, где дворцы, дискотеки и прочее. Все так, возразить как будто нечем. И я не буду первым, поскольку выскажу прописную истину: селу нужна реальная, материально обеспеченная, гарантированная государством программа социально-культурного развития. Но только ли селу? Качество жизни современного человека и современной семьи во многом, как известно, определяется возможностью потреблять продукты культуры — покупать и читать книги, журналы, видеть отечественные фильмы, ходить в театры, слушать хорошую музыку. И что же? Примерно в четыре раза за годы реформы сократился тираж издаваемых в РФ книг и брошюр, в 15 раз — тираж издаваемых журналов, в три с лишним раза — выпуск художественных фильмов, сильно сократился выпуск культурной продукции на языках народов России. Зато только в 1997 году было выявлено более двух тысяч девочек до 14 лет, заболевших сифилисом, — в 144 раза больше, чем в 1990 году. В последние годы сохраняется неблагоприятная тенденция ухудшения состояния психической адаптации детей и подростков, увеличение у них опасных форм поведения, включая алкоголизацию, курение, наркоманию. По данным эпидемиологических исследований, проведенных в последние годы, установлено, что примерно у 52,5 миллио-

на человек (одна треть населения России) имеются психические расстройства различной степени. Это не просто статистика, это очень важный показатель благосостояния государства в части духовного здоровья и культуры. Перековывают обычно для того, чтобы из одного предмета создать другой — более лучший по красоте, прочности и надежности. Пока мы видим, что все происходит наоборот.

2

При раскладе всего происходящего в некогда кулацкой северной провинции невольно возникает вопрос: а можно ли ее считать культурной, хотя ведь еще товарищ Сталин говорил, что «...до самой смерти врагов народа надо перевоспитывать оружием советской агитации, пропаганды, культуры и социалистического образа жизни». Перевоспитывать, перековывать — одного поля ягода. Так можно ли считать жизнь нынешних жителей Югры культурной? Нельзя однозначно ответить «нет», мешает уважение к сотням представителей технической, творческой интеллигенции, носителям подлинной современной культуры. Но никак не выговаривается и «да». Если семья почти весь свой бюджет тратит на умножение материального достатка, а большей частью на сохранение в условиях непрекращающейся инфляции, как мы ее охарактеризуем? Как мешанскую в лучшем случае. А город? Нельзя не согласиться с Марком Фришем, когда он, размышляя о том, что есть культура, записывает в своем дневнике: «Одного, во всяком случае, нельзя делать: сводить культуру к искусству, внушать народу, что культура там, где есть дворцы и храмы».

Что-то невероятное и в то же время очевидное происходит сегодня в Ханты-Мансийском округе. Течение жизни вдруг поменяло прежнее свое русло, и другие вехи, все больше сориентированные на развитие социальной сферы, формируют ныне культурный потенциал, который уходит от пресловутого «остаточного» принципа, когда ей, культуре, давали то, что оставалось от других отраслей. Тут только ни в коем случае нельзя путать тертый хрен с маслом. ХМАО — нефтяной регион, своего рода «денежный мешок». Многие, очень многие другие территории России довольствуются лишь пылью из этого мешка. И о культуре знают только с телеэкрана, когда в деревню дают электричество.

Законодательные центры духовности и традиций театрального, вокального, художественного творчества стремительно смещаются на Север, где сформировались достаточные силы и средства (!) для муз. При этом «заслуженные» и «народные» авторитеты никак не могут взять в толк, что не только наличие «лишних» денег у северян позволяет им подняться над нефтяными и газовыми богатствами, но

и то обстоятельство, что северная окраина как бы прозрела, и даже троечники хорошо усвоили уже забытые было слова «человеческий фактор». «Кулацкое отродье» перековалось само по себе, без вшивых клубов и полуграмотных масовиков-затейников. Да, несомненно, значительную роль играет самая прозаическая сторона существования культуры — материальная. В столице ХМАО, например, это там, где крестьян расстреливали и кидали в одну яму, сегодня есть все или почти все, что есть в Москве, есть даже то, до чего первопрестольной еще далеко. Вот лишь некоторые показатели окружного департамента культуры: прошел фестиваль ремесел, международный музыкальный фестиваль «Югра» и Северный археологический конгресс. Потом еще праздник дебютных фильмов «Дух огня». Своими глазами афишу видел: сам Киркоров приехал в Ханты-Мансийск. Неужели встало из забытья такое простое понятие, как стыд, — не отправлять же «короля эстрады» в Мулымью, Чантырью или Назарово. В центре окружного центра навозом уже не пахнет — так что только сюда. Похвально, конечно, то, что, как чиновники докладывают, «главной задачей всех этих мероприятий является привлечение к числу участников и зрителей как можно большего числа жителей округа, представителей всех его территорий». Да, привлекают. Использование ассигнований на культуру проверить довольно трудно. Вот почему ассигнования на ее развитие растут с каждым годом. Вот почему в дни тяжких сомнений мы успокаиваем себя тем, что страна наша, пусть не удалось еще построить образцовую экономику, зато сумела поднять духовные ценности на некоторую высоту. Такие же энергичные действия, наверное, необходимы теперь, чтобы бюджет каждого города, каждого села перестал быть «бескультурным». Реформирование общественной жизни означает и прямую критику положения, к которому мы пришли, отдавая подчас предпочтение материальной стороне дела. Если, к примеру, судить о культурной жизни г. Урая по формальным галочкам в отчетах, то она куда как богата: есть киноконцертный комплекс, Дом культуры, музыкальная школа и школа искусств, библиотеки и пр. Однако мы привыкаем оценивать работу по конечному результату, а вот он-то оставляет желать лучшего. «Заполняемость» кинозала едва дотягивает до 20%. Зритель не виноват в том, что на сооружение шикарного здания и на его суперсовременное техническое оснащение затрачены головокружительные деньги, компенсация которых заложена в стоимость входных билетов. Наверняка найдется правдоискатель, который потребует немедленно закрыть пустующий храм культуры, как закрывают сейчас всевозможные бесполезные конторы и не дающие никакой отдачи НИИ. Но сначала надо разобраться, откуда появился такой унылый показатель посе-

щаемости. Урай считается городом талантов, людей в большинстве своем высокообразованных, которые не приемлют не только клубную халтуру, но и пренебрежительное отношение к провинции столичных гастролеров. По их поводу у местного зрителя в ходу присловье: «Это еще ни о чем не говорит, что ты заслуженный артист, что ты с успехом выступал в Париже, ты Урай сумеешь очаровать!» Конечно, восприимчивость к искусству — качество, приходящее с воспитанием. Если, скажем, в городе работает сильный цирк, хороший театр, если создана насыщенная духовная атмосфера, публика обязательно станет театральной. Слабый уровень творчества, понятно, отталкивает публику, но и равнодушный, неразвитый зритель, случайно попадающий в зал, снижает уровень самостоятельного творчества, ибо для кого стараться? Так возникает замкнутый круг.

Известно, что до войны у нас в стране было на триста театров больше, чем сейчас. В Москве их работало столько же, сколько сегодня, а население увеличилось втрое, да приплюсуйте сюда выросший приток приезжих. И живем, привыкли жить при уменьшившемся проценте театральных впечатлений на душу населения. Человек ко многому может привыкнуть, вопрос только, чем он за это заплатит. Кто знает, чем мы заплатили уже и платим ежечасно за неизбежное духовное обмеление, какое не может не вызвать тотальная коммерциализация культуры, даже на уровне любительской самодеятельности глобализация в виде строительства невостребованных публикой киноконцертных хором и уничтожения широкодоступных клубов по месту жительства. Вот и подумаем теперь, что нам нужно — закрывать дворцы или, наоборот, открывать новые, но создавать приемлемые для их посещения условия и предлагая высококачественный культурный продукт?

Часто возникает вопрос: а вправе ли мы требовать от культпросветработников высокого профессионализма, практически ничего не давая им взамен? Заработная плата у них значительно (в два с лишним раза) ниже средней зарплаты по ХМАО. Следовательно, и на развитие культуры, соответственно, выделяется не так уж много средств, тем более что они, в основном, бюджетные. К тому же субсидии постоянно сокращаются. Стараться за копейки, особенно в условиях нынешнего разгула бесконтрольной ценовой политики, как-то не очень хочется. Вот таким образом и рождается «местный», провинциальный уровень искусства. Кто-то с ним в конце концов смиряется, втягиваясь в откровенную халтуру. Порой кажется, что периферия задыхается без свежего ветра, с завистью созерцая по телевизору блеск эстрадных звезд, сыплющихся на концертные площадки. Не в пример глубинке, окружной центр может позволить себе щедрые

жесты, как бы оправдывающие свои возможности заботой о провинциалах. На соискание губернаторских грантов, а стоимость каждой из десяти номинаций эквивалентна 10 тысячам долларов США, однажды было выделено почти 80 работ. Причем если в первые годы основными претендентами были творческие коллективы крупных городов — Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, следовательно, культурных центров Югры, то на сей раз география значительно расширилась за счет участников из Березовского, Советского районов, Урая, Нягани и других территорий. Как видно, не все уж так плохо. Если тенденция «окультуривания» столицы ХМАО распространится на все города и веси края, то можно лишь порадоваться за бывшую кулацкую вотчину. Еще важно учесть, что Ханты-Мансийский округ в связи со специфическим развитием последних нескольких десятиков лет, когда главным представлялось исключительно промышленное освоение региона, до недавнего времени практически не имел ни нормальной материально-технической базы культурно-просветительских учреждений, ни самой этой отрасли. Даже сегодня, при довольно активном инвестировании в культуру, Югра отстает от многих российских регионов. Отстает от установленных нормативов по необходимому количеству домов культуры, библиотек, музеев и так далее. В сумбурные перестроечные времена тогдашний губернатор Югры Александр Филипенко был, пожалуй, одним из немногих глав регионов, кто имел свой твердый, принципиальный взгляд на происходящее: ничего не надо перестраивать и тем более перековывать, надо ковать, создавая новое. «У нас много чего не было, да и сегодня много, чего нет, — говорил он. — Но мы обязаны заниматься развитием культуры. Главное наше богатство — человек, профессионал своего дела, умеющий добывать нефть, строить дома и дороги, водить корабли и машины, учить детей, лечить людей. И мы просто обязаны создать ему все условия для культурной жизни». Эти слова Филипенко произнес со сцены Центра искусств для одаренных детей Севера, где проходила торжественная церемония вручения губернаторских грантов и премий. И если премия вручалась за уже достигнутые успехи, то гранты — на осуществление проектов в области библиотечно-музейного дела, театрального, музыкального направлений.

Собственно, а что мешает провинции самой организовывать культуру должным образом (не в материальной части, здесь северяне довольно преуспели, понастроив дворцов, а в части качественного ее совершенствования)? Идея сделать музу бедной Золушкой не на местах родилась. Как-то академик Аганбегян назвал цифры: заработок работника культуры из всех отраслей хозяйства самый низкий, в 1,6 раза ниже среднего по стране. Разница вызовет шок, если срав-

нить ее с доходом, к примеру, нефтяника. В обывательском сознании сложился образ артиста — человека, купающегося в славе и достатке. Десятка два-три таких по стране и вправду наберется, а работающие на самодеятельной сцене, возглавляющие студии, кружки, влечат нищенское существование, горько наблюдая, как трогательно пекутся власти о благополучии учителей, медиков, совершенно не беря при этом во внимание работников клубов, библиотек. А ведь им жить надо! Не зря есть поговорка: кончики играют, когда середочка сыта. Кроме того, культпросветчик должен быть красиво одет, ну хоть бы как товаровед из знаменитого райкинского монолога; должен иметь деньги на книги, диски с современными музыкальными записями и т. д., а средств у него меньше, чем у «простого инженера». Не случайно учреждения культуры всегда не укомплектованы, вечно там кто-то только что уволился. Если понимать подлинное значение культуры в жизни общества и отдавать отчет в том, как роль ее принижена сейчас, то работник культуры, очевидно, должен стать следующей категорией, которой следует увеличить зарплату вслед за учителями и врачами. Только бы не сделать это слишком поздно. Почему сомнения? Да потому, что не слышится покуда заверений, что местные руководители не отделаются не меняющими сути мерами. Ясно, что в управлении культуры того же Урая всякому проверяющему выложат десятки целевых программ, но ведь многие из них просто не жизнеспособны, потому что не подкреплены материально либо начертаны походя, для галочки. А почему бы распорядителям кредитов хоть раз не отчитаться публично, на что потрачены деньги, с толком ли, пусть доложат, какие острые проблемы сняты, наконец, с повестки дня. Кто знает, может, и прояснилось бы в итоге, что со строительством киноконцертного комплекса можно было подождать, а вместо колоссальных затрат на него увеличить зарплату клубным работникам. И тогда произойдет то, что должно произойти: руководство станет действовать энергично и решительно, а просительница изогнувшаяся фигура просветителя, наконец, распрямится. Мы стараемся не говорить вслух о том, что, вползая, как несмышленные младенцы, в капитализм, пытаемся успеть повернуть под эгидой вселенских реформ культурную революцию, успеть сохранить хоть какие-то моральные ценности. Уже сегодня нельзя не заметить, с душой человека что-то случилось, людьми одолен дух отчаяния, безразличия, отчужденности; эгоизм, неумение сострадать прогрессируют. Чем чревато это для подрастающих поколений — хорошо одетых, накормленных? Наш современник, подсчитали социологи, из своих семидесяти лет жизни имеет двадцать лет досуга. Два десятилетия с лишним совершенно свободного от работы, быта и сна времени! Его, как тысячи,

накопленные на сберкнижке, надо потратить, но куда? Привычным зрелищем стали подростки и молодые люди, «тусующиеся», как они выражаются, по подездам и подвалам. Ругань, пьянство, наркотики. Особенно наркотики. Как быть с этой бедой? То и дело на разного рода совещаниях «по борьбе» и «профилактике» твердят, что для решения проблемы наркомании надо больше вовлекать детей в кружки и занимать чем-то их досуг. Не получается. За причину почему-то традиционно выдают якобы недостаток мест, куда молодые люди не могут пойти, хотя таких, правда, бестолковых мест, больше, чем надо. Просто ходить туда неинтересно. Главная разруха обычно бывает в головах. Многие молодые люди плохо представляют себе свое будущее, не знают, к чему стремиться, к чему приложить свои силы. Вот и тянет их к выпивке и к наркотикам. Не спасет их массовик-затейник, если государству, что говорится, судьба молодых до лампочки. По большому счету, молодежью у нас никто не занимается. Ею занимается улица! А ведь разреженность духовной атмосферы нелегко преодолеть не только трудным подросткам, они-то ее принимают как норму, но и людям куда более глубоким, желающим вырваться из предлагаемых обстоятельств. Все, с кем я обсуждал эти проблемы, считают: положение надо срочно менять. Но все чаще встречались люди, чьи лица выражали примерно следующее: приятно говорить, что культура — дело важное, мы и говорим, но сами-то понимаем, что единственно стоящие вещи — те, что можно надеть, на чем можно ехать...

Очень хочу, чтоб все мы поспрашивали друг у друга; кто сегодня в большем почете? Тот, кто «шибко начитан», или тот, кто «заколачивает солидные бабки»? Последнее наверняка окажется на высоте. Вот почему надобно, видимо, понять: жизнь души имеет и к внешнему миру самое прямое отношение. От нее зависит культура нравственная, бытовая, наконец, производственная. Сейчас самое время задуматься: каков человеческий капитал нации? Пробуждение от многолетнего геноцида, затем застоя, начатое так энергично, не принесет желанных плодов, если вместе с перековкой экономики и людей, начатой в 30-х годах и продолженной перестройкой, а сегодня явно бесплодными потугами, мы не совершим переворот и в отношении к культуре. Если уж мы так падки до революций, то и цели надо ставить всеобъемлющие, а не только, чтоб пошуметь и по-пролетарски, традиционно высморкаться в занавеску.

1

Нельзя у человека перековать отдельно руку или ногу. Условно, теоретически человек перековывается как бы полностью. Например, в тюрьме перековывается на 90 процентов, правда, в худшую сторону. Жертва репрессии в ссылке тоже претерпевает изменения, в реальных условиях осваивая такое ранее не знакомое ему понятие, как выживание, приспособление к бесправию и унижению; одни спиваются, другие кончают жизнь самоубийством, третьим удается сохранить человеческое достоинство, закалить в суровых испытаниях характер, утвердиться в чистой, глубокой мировоззренческой позиции. Все эти качества, толчком к формированию которых послужили тридцатые годы, печальная эпоха массового террора и геноцида, особенно ярко проявляются сегодня, когда, казалось бы, нет поводов для социального беспокойства: никого без причин не расстреливают, не выгоняют из дома, не отнимают имущество и не ссылают в Сибирь. А проявление моральных качеств усматривается, прежде всего, в материальном благосостоянии человека. Учитывая то, что для подавляющего большинства основным источником дохода остается заработная плата, а для пожилых людей — пенсии и социальные пособия, материальное благосостояние стало едва ли не главным, едва ли не единственным мерилем нравственного уровня личности. Бедняки отнюдь не испытывали к зажиточным крестьянам классовой ненависти, все это от лукавого. Была зависть бедных к богатым. Это вечное противостояние, которое было, есть и будет, пока существует среди людей разница в материальном благополучии. Не секрет, что нынешние предприниматели, бизнесмены не пользуются добрым отношением основной массы населения. Кажется, дай только повод, и стихия раскулачивания выплеснется вновь, возродится во всей своей свирепости и неукротимости.

Бедняк из прошлой эпохи — это человек, не имеющий возможности прокормить семью, обладать какими-то материальными жизненными благами. Сегодня бедняков нет, есть — малоимущие. На среднюю начисленную заработную плату в 1990 году можно было купить 95,9 килограмма говядины, или 1010 литров молока, или 776,9 килограмма хлеба пшеничного 1 сорта. В 2000 году на среднюю месячную зарплату можно было принести из магазина 38,6 килограмма говядины, 302,2 литра молока или 220 килограммов такого же хлеба. Снижение уровня платежеспособности очевидно. Дальнейшая либерализация цен еще более усугубила положение. Продукты первой необходимости население сегодня вынуждено покупать по любым це-

нам, что побуждает монопольных или вступивших в сговор торговцев взвинчивать цены для извлечения сверхприбылей. В результате хлеб, например, подорожал относительно среднего автомобиля (ВАЗ-2105) в пять раз, а проезд на общественном транспорте — в восемь раз.

Реформа не предполагала механизмов, предотвращаемых обеднение населения. Процессы формирования рыночных механизмов в сфере труда протекают противоречиво, приобретают подчас уродливые формы. При этом не выдвинута такая стратегическая задача нового этапа развития российского общества, как предупреждение бедности, преодоление крайних проявлений нищеты. Ученые фиксируют: «В обществе определились устойчивые группы бедных семей, у которых шансов вырваться из бедности практически нет. Это состояние можно обозначить как застойная болезнь».

Конечно, в современном понимании бедность — понятие относительное. Нет загородной дачи, шикарного автомобиля, заморских деликатесов на столе — значит, бедный. В то же время подавляющее большинство наших бедных имеют жилье, а в квартире свет, водопровод, отопление, книги на полках. Да и голодающих вроде как не видно. Чаше приходится видеть «прибедняющихся», рассчитывающих на исконную черту русского характера — благотворительность, которая (есть и такое мнение) не имеет сегодня права на существование, дескать, в нормальном обществе социальные проблемы должны решаться государством, а не подачками. С этим трудно не согласиться. Но как и многие правильные взгляды, такая точка зрения основана на некоем идеальном представлении. А мы живем в реальном мире, весьма далеком от совершенства. Нельзя забывать о том, что именно государство сталинской модели культивировало благотворительность как проявление гуманизма в то время, когда грабило и уничтожало крестьянство, оставляя без средств существования миллионы соотечественников. Явно не от хорошей жизни города и села наводнили тогда попрошайки, «промысел» которых дошел и до наших дней.

В «предбаннике» одного из «супермаркетов» в Урае (здесь что ни лавка, то непременно «супермаркет») часто пребывает жалкого вида мужичина средних лет с шапкой в руке. Руки, ноги на месте — ему бы работать, как все нормальные люди, а нет — с шапкой интереснее. В ней чуть-чуть мелочи, хотя народ в городе нефтяников щедрый: бывает, червонец бросят или даже сотню. Мужик выручку тут же хоронит в карман, оставив в шапке несколько монет, тем самым тонко, с расчетом воздействуя на сознание прохожих: вот, мол, смотрите, при вашей-то состоятельности расщедрились всего лишь на ничтожную копейку. Прием действует безотказно. Ежедневный доход — любой рэкетир позавидует.

А в других больших и малых городах России-матушки разве мало встречается нам нищих с протянутой рукой и калек с плакатами: «Помогите на операцию!», «Дайте, люди добрые, на хлеб!»? То и дело СМИ суют людям под нос адреса и счета благотворительных фондов, которые, как правило, разворачиваются, а на каналах ТВ показывают бездомных детей, которых кто-то угрозами заставляет просить милостыню! И уж вовсе постыдно, когда само государство чуть ли не со слезами на глазах взывает к народу: помогите сиротам кто чем может, помогите беженцам...

Мне довелось побывать в журналистских командировках на «загнивающем» Западе. Ни в Америке, ни во Франции, ни в Германии (а уж где я там только не лазил) я не видел ни одного нищего. Подобного рода явление они считают не только унижительным, а позорным для нации, хотя бедных и сирых там, как комаров в нашей тайге. По мнению социологов, нет ни одной страны в мире, где подаяние, завуалированное под безобидную благотворительность, являлось бы столь устоявшимся показателем качества жизни, как в России. Очевидно, самим Господом Богом заложено в наши гены — любить нищих. Еще в «Поучениях» Владимира Мономаха сказано: «Будьте отцами сирот, не оставляйте сильным губить слабых, не оставляйте больных без помощи». Не о значимости подаяний тут речь, а о доброте, сопереживании — понятия разные. Жертвователи, не дожидавшиеся, когда у них жалостливо попросят, а по велению души дающие деньги тем, кто в них нуждается, совершали своего рода таинство, искренне веря, что нищие будут молиться именно за того человека, от которого получили помощь. Известно, что сам царь по праздникам обходил тюрьмы и собственноручно раздавал милостыню. Получалось как бы взаимное «благодетельствование»: материальное — для просящего, духовное — для дающего. Не этим ли надуманным принципом руководствуются «сердобольные» организаторы всевозможных благотворительных акций, вошедших ныне в моду? Например, каждую осень, перед началом учебного года, собирать с миру по нитке одежду и ученические принадлежности для детей из малообеспеченных семей в то время, когда миллиарды государственных средств уходят неведомо куда. С другой стороны, не все же имеют среднегодовой доход, превышающий (по официальным данным о доходе депутатов Госдумы) миллион рублей.

Кто не знает, что милостыня подчас бывает вредна; бездумная филантропия не только не противостоит тому или иному социальному злу, но часто порождает его. Не случайно именно ущербное милосердие, возведенное в ранг национальной традиции, а нынче и государственной политики, породило класс профессиональных нищих. Му-

жик с шапкой в центре относительно безбедного города, без всякого сомнения, мог бы прожить на пенсию и госпособия, прожить, не жируя, как это делают миллионы россиян.

Даль когда-то назвал нищенство «общим недугом больших городов». История свидетельствует, что карательные меры в данном случае не имели успеха. В Англии, например, за бродяжничество наказывали плетью и отрезали верхушку правого уха — казалось бы, строгое наказание, но оно не дало результата. Впрочем, загадки здесь нет; на любом этапе развития общества, социально-экономических отношений, создающих полярное разделение людей на бедных и богатых, класс нищих заявляет о себе протянутой рукой. Такова диалектика. Обостренная сущность ее законов особенно имманентна сегодняшнему рыночному состоянию России. В одном из промтоварных магазинов в Москве я как-то наткнулся на салон, где бойко торговали муляжом: искусно сработанные култышки с запекшейся кровью на голой кости, резиновые наклейки, точно копирующие страшную, незаживающую рану, и многое другое, специально изготовленное для тех, кто попрошайничает в метро и прочих людных местах, провоцируя убожеством жалость прохожих, а следовательно, желание поделиться содержимым кошелька.

Время, принесшее постсоветской России перестройку, реформы, затяжные межнациональные конфликты и деградацию нравов, стало роковым и для филантропической идеи. В известной книге «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Солженицын писал: «И куда же делась эта русская доброта? Ее заменила сознательность».

Частная благотворительность в лучшем случае ее понимания постоянно исчезает, уступая место государственным мерам борьбы с нищетой, стремительно перерастающим в борьбу с нищими. Бродяжничество объявлено злом, бездомных отправляют подальше от больших городов, а то и в лагеря. До сих пор у нас не сложился этикет благотворительности. Свои старые традиции мы утратили, а переносить западную модель нам мешают как культурные различия, так и отставание в экономике. Бывает, листаешь провинциальные газеты, слушаешь радио, телевизор смотришь, сплошь и рядом «меценатами» называют людей, предоставляющих спонсорские услуги в обмен на рекламу своих компаний. Благотворительные фонды не пользуются доверием потому, что они безотчетны, как, впрочем, и организации, занимающиеся «гуманитарной помощью». Какие чувства надобно испытывать к так называемым бомжам и безработным, коих сегодня хоть пруд пруди? Как относиться к ним, если в обществе не сформировано единого определенного взгляда как на благотворительность вообще, так и на тех людей, которые в ней нуждаются?

По данным МВД, бездомных в России сейчас насчитывается от 100 до 350 тысяч. Уважаемое министерство явно скромничает. Независимые эксперты несколько иного мнения: от одного до трех миллионов! Причем плачевна ситуация не только в больших городах, но и даже, к примеру, в относительно благополучной Тюменской области. Надо ли обязанность государства в обеспечении людей правовой защитой, работой, нормальным жильем подменять подаванием, просто бросив в протянутую ладонь горсть мелочи?

Нет ответа.

* * *

И с чего так устал? Не надрылся вроде. Да нет, было трудно: компьютер, будь он... «Запал», и весь текст с монитора, как моль с воротника. Все заново. А что, в том, когда что-то начинаешь заново: мыслить, например, или жить — есть что-то вновь открываемое, даже увлекательное. Просто край открылся, край — дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, сегодня кончилось. Как завтра выходить на улицу, нет, не на улицу, а на солнце — неизвестно. Вчера поздно вечером, когда спать заваливался, в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чувствовалось в том, что не верилось; пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб одним отдохнуть, другим опямятоваться, третьим протрезветь. А там — новый свет и выздоровление. Вот бы хорошо.

Голубь сел на карниз, оправился по нужде. Это что, в Птичьем они прямо на лысину... Нормально. Вечер был мякотный, тихий. Как растеplило днем, так и не поджало и вроде не собиралось поджимать.

Под утро сон видел: ночь стоит зрелая, хмурая и настороженная будто. Какая-то тетка в ночи, в двух шагах от меня. Идет по Перековке неслышно совсем, идет не просто, а с крестом на загривке. Крест натирает спину, врезается в позвоночник, я это чувствую, будто он не на ее, а на моей спине, но она, сжав зубы, хватаясь рукой за заборы, несет его, маленькая и сгорбленная. Вокруг завывают голодные собаки, взмахивают крыльями куры, кричат разбуженные вороны. Вдоль заборов уже отцветают деревья, крест то и дело цепляется попереочиной за нижние ветки, от чего осыпается цвет на плечи тетки, на черный платок, на крест, на мокрые от пота руки, посиневшие от натянутой веревки. Она часто останавливается, ставит крест на землю, замирая под ним, прислушиваясь и ощущая, как он давит на нее своей тяжестью, вот-вот совсем прижмет к земле и она уже никогда не встанет. Но, я это чувствую, постепенно сердце ее успокаивается, дыхание выравнивается, она мысленно как бы заговаривает крест, чтоб он был легче, потому что она все равно должна его нести, чтоб

не упирался, потому что лучше быть крестом на могиле, чем человеком в бесчестии...

Вчера нашел старую, под ржавым от времени налетом подкову. Обронил кто-то. К счастью. К удаче. Понес подкову к кузнецу: почистить, поправить... Кузнец подкову взял, даже не глянул на нее — ладонью и сердцем ощутил: «Не, такое перековать нельзя». Нельзя, согласился я, и прижал подкову к губам. От нее исходило мягкое, нежное и доброе тепло, как от солнца. Значит, все будет, значит, все должно быть хорошо.

Перековка: часть третья

ИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ

Глава первая

1

— Ну, вот и свиделись, наконец, — радостно подумала Татьяна Афанасьевна, и вздохнула, и почувствовала вдруг, как теплая волна благодарности очистила душу от беспокойного ожидания. — Это ж только подумать, полвека на особицу! Две-три минуты хватило в Шумихе, чтоб разлучить, как чурку колуном развалить на поленья: Аньуту с мужем в Сибирь, Сашу-братика — в детдом и меня за косу к черту на кулички. Даже рукой не махнули на прощанье, только и успели... глазами, в которых и страх, и смятение, и один вопрос. И целых полвека вобрала в себя судьба, чтоб сбежались ручейки в одном кипящем разными жизнями озере родной крови.

Долго, очень долго и мучительно искали Фарковы друг друга. Письма, запросы в разные конторы, в архивы по многу раз в год. Да кто такой для великой державы раскулаченный враг!? Тьфу! Сегодня даже три раза всем на всех тьфу, а тогда было проще: не слушают даже, плюнут и размажут.

Аннушка на диване. Спит, как ребенок, ручонку под щеку положила и посапывает себе, спит тихо-тихо. А Санька-то, вот упрямец: и доцент, и художник на Украине известный, а тут спит на полу, будто в детдоме в карцере, рубаху на голову натянул и сжался в комочек. Говорила ему: «Ложись, брат, на кровать, Петруха-то, муж мой, может, завтра только к обеду приедет. Ага! На Братской ГЭС у них после досрочной сдачи авария за аварией. Он там электриком в самом котловане. А я на балконе. У меня хороший ватный матрас. Всем пожилым и участникам войны в Братске такие матрасы дают. Хоть и моль их маленько поела, но ничего, пригодны еще...»

Когда выпадает редкая и, может быть, последняя радость соприкоснуться с родными сестрами и братьями, прижаться друг к другу щеками, ощутить знакомое тепло, генетически переданное от отца и матери, хочется забыть, что было, хочется светлеть от того, что есть, и грустно, и с доброй завистью думать о том, что будет. Анне с Алек-

сандром повезло, сошлись где-то их трудные поиски, даже деда Спиридона Громова довелось похоронить, Саше с детьми Аннушки подружиться. А Таню как забрали в Шумихе, так и разверзлась пропасть неведенья. Где она, что с ней, да и жива ли?

Готовились к этому дню, болезненно через себя пропуская все, что хотелось сказать при встрече, выплеснуть из души. Но чем ближе этот момент оказывался, тем неукротимее таяло желание вспоминать о прошлом, которое настойчиво вытеснялось из сознания вроде как умеренным ходом времени.

Братск — город самобытный, других таких в России нет. Москва, например, давно стала неким княжеством в государстве, где громадная куча людей ее кормит, содержит и оберегает. А вокруг Братской ГЭС девять городков. Все Братском именованы, только под номерами, каждый, как член большой семьи. Братск № 9 — «Энергетик», где живет с мужем Татьяна Афанасьевна Фаркова, так и не менявшая при замужестве отцову фамилию. Между малыми частями города бетонные многокилометровые трассы с плотным сосняком по обочинам и дорожными знаками со стрелками, заставляющими то и дело поворачивать влево или вправо. В каждом городке-микрорайоне свой мэр, своя администрация, своя власть, а значит, и нравы свои. В газетах писали, будто основателем Братска стала мощная гидроэлектростанция на Ангаре, что воздвигали ее по призыву партии коммунисты и комсомольцы. А в документах немного другое — вперед членов КПСС там спины гнули, гнили от голода и задыхались под глиняными завалами спецпереселенцы, политзаключенные и прочее отвергнутое советской властью население. До сих пор их скелеты, не прибранные землей, выбрасывает река из жалости своей природной на унылые, забытые временем и Богом берега Ангары. Так и валяются кости россыпью. А кто их прибирать-то будет? Кому они...

Три дня в Шумихе продолжались торги. Худых, вовсе немощных баб на повозки скидали, как мешки с отрубями, увезли куда-то за город. Тех, что моложе, при теле, — в сторонку. Там всем правил плюгавенький, похожий на стриженую овечку, коротышка, называвший себя помощником начальника, какого именно, он не уточнял, да и некогда было, присматривался, ощупывал взглядом, как лошадей будто, выбирал девок по зубам и округлостям холка. Таня сразу догадалась, к чему дело идет. Грязью из канавы щеки намазала, волосы пятернею вздыбила. Тем и навредила себе. Помощник начальника сразу усек ее хитрость, разглядел тело, оценил, хватил за рукав и отвел в сторонку. Все, пропала! Привел Таню в кухню какого-то служащего: здесь будешь перед родиной грехи свои отмыкать. Не дай бог, если чего... Голову оторву. Ну, насчет головушки он, конечно, перегнул.

Татьяна сама, кому хочешь, ее оторвет, и не только ее, но и причиндалы,... если домогаться будут. Хозяева ничего оказались, ругаются только меж собой день и ночь, часто без причины. Рядышком сестры хозяйки живут, их дом за забором. Тоже скандальные. Хозяйка туловищем будто туча, не идет по избе, а как бы перетаскивает себя частями, колыхая громадными грудями, напоминающими вымя стельной коровушки. Толстые бабы всегда добрые, а ругаются только для того лишь, чтоб разговор затеять. Вот взошла в кухню меж тесных косяков посмотреть. Ноздри задвигались, затрепетали.

— Булки пекла, — сказала хозяйка и принялась жадно и шумно нюхать воздух.

— Угощайся, барышня, — робко ответствовала Татьяна и подала на тарелке две пышки.

— Береги тебя Христос... — оживилась хозяйка. — Покушаю с молочком. Вижу, хорошие пышки, подъемистые.

Татьяна посмеялась:

— Разве это «хорошие»? Вот мамочка моя пекла... пряники простые, пряники подовые, пряники медовые. Еще грибки. У них отдельно шляпка печется и ножка, а потом склеивается. Калачи простые, калачи заварные, шаньги, пирожки с капустой или с картошкой. И себе, и для людей. За пирожками к нам в Птичье даже гимназисты приезжали из городу. К матушке моей. Батенька бранился; мол, на всех не напасешься, за деньги надо. А сестра моя, Анюта, за маму встала: «Мы не какие-нибудь тетки базарные, чтоб за каждую шаньгу торговаться. Но от денег, если пожелают дать, не откажемся, конечно. Всякий труд должен чего-то стоить». А деньги давали, не за так же, в самом деле.

Лицо хозяйки посветлело, радостным ей показалось здесь, на теплой кухне, где чаруют душистые пышки, где нет ругани и слова горьчат добрые, где хочется вспоминать и о своей маме.

— И меня приучала мама печь. Я маленькая еще была, года четыре. Рано утром будит: дочка, вставай! Тесто готово, и пирожки на леплены. Меня — к сковородке. Я до плиты не достаю, маленькая еще. Становлюсь на табуретку и жарю пирожки, переворачиваю. А мамочка лепит. Уплетала я их потом, за ушами пищало. Вот и стала вся из пирожков, даже и страшноватая немного.

А смеется хозяйка по-доброму, чисто, будто ручеек. И никакая она не толстая, она просто большая и хорошая.

Села на чурбан, где мясо рубят, прежде кровяные крошки смахнула ладонью, подолом чурку вытерла и села.

— Ты, Танюша, плохо обо мне не думай, не барышня я. Сталин скоро раскусит, и потянут нас всех с должностями и званиями.

Сама-то я из батраков. Батеньку мужики на базаре в драке насмерть забили. Сестры, чтоб по миру не пойти, замуж повыскакивали, кто первый под руку попался, за того и пошли. Вдвоем с маменькой остались мы без куска хлеба. Маменька в услуги устроилась. Много работала; стирала на людей, гладила, мыла полы у Дитриха, он директором торговой базы был в Шумихе, все партийные начальники к нему шоферов своих вечером посылали с авоськами за хорошими продуктами. Расстреляли его потом. А на его место Дмитрия Лукича посадили, будущего моего муженька. Я с маменькой на помощь ходила. Полы тогда не красили. Их сначала ножом скоблят, потом голиком и песочком, а потом воском натирать надобно. И стирать тяжело. Тогда порошков не было. Раз с мылом простираешь, второй раз — с мылом, потом кипятить, потом на речку идешь полоскать. Летом — с плотика, зимой — в проруби. Мамочка много работала, она хотела нас выучить, деньги копила. Мы, говорит, с отцом были слепые. А вас я выучу. Каждую копейку берегла. Помню, молоко вскипятила, поставила на ларь студить и перевернула крынку-то ненароком. Расстроилась шибко. Взяла корзину и бегом — на гору. Набрала там грибов, понесла на базар — продала. На выручку там же молочка купила, так промашку свою исправила. Мамочка наша всю жизнь работала, день и ночь. А я всего одну первую ночь хорошо постаралась, видно, угодила в постельке Дмитрию Лукичу, вот потому и здесь, — вздохнула хозяйка и над собою тихонько посмеялась: — А я вот сию тут, руки крестиком, вроде нету дел. И меня вроде как тоже нету.

Татьяна на кухне управляется не одна. С утра дотемна за нею присматривает старшая кухарка Казимировна. Двигается она неслышно, будто тень, и слова даже от нее не услышишь, Казимировна говорит жестами, говорит так умело, без лишних движений, что Татьяна легко понимает ее и довольна тем, что ничего не надо отвечать. Часто старушка зачем-то подходит к окну, выходящему во двор, и долго, не моргая, смотрит, будто ждет кого-то. А там, за окном, чистое небо, не за что зацепиться глазу. Летняя сухая теплынь. Тишина. Лишь высокий тополь у двора порой мягко шевелит ветвями; в далекой маковке его и теперь гуляет ветер, шевеля, серебря матовую зеленую листву. Все живое: воробьи, воронье, синицы — куда-то убрались, наверное, в поле. Там — пожива.

— Сию праздничую... — снова вздыхает хозяйка. — Вроде и дел нет..

Старуха отвечает ей взглядом; осуждает. У нее стариковская сухая стать: спина согбенная, острые лопатки да плечи выпирают из синего, в горошек, платья. Темные большие руки отдыхают на белом

переднике. Под застиранным, выцветшим совсем чистым платком — темное лицо.

— Сiju... — повторяет хозяйка, покорно приняв осуждение кухарки.

Сколько же лет Казимировне? «Да не много, — отмахивается она. — Это жизнь меня потрепала, старой сделала на лицо прежде времени. Старший сын вот женился недавно. Живет со своею семьею, а у матери — редкий гость. Младший, он поближе, но тоже отрезанный ломоть. Коли б дочка была. С дочкой бы доживать. А вот не дал Бог...»

Бог ли тут виноват? В тридцать втором году, на высылках, в Казахстане, гнал их конвой всю ночь: «Скорей, скорей!» А была она на восьмом месяце, дочку в себе носила. Но гнали всю ночь: «Шире шаг! Не отставать!» Утром она прежде времени родила, а девочка не дышит. И после этого раз за разом снова и снова носила в себе девочек и не могла доносить. Через много лет услышит Татьяна почти такую же историю от старшей сестры Аннушки, и хотя был у ее рассказа не такой печальный исход, долгая, неумная дрожь будет пробегать по спине, будто от лютого холода. Так это задевало за душу и сжимало кулаки.

— Не думайте, что я на хозяйской кухне, — где словом, а где жестом объясняла порой Казимировна соседкам. — Тут мне приработок. Одна живу, из своих рук кормлюсь, своими ногами топаю, — молвит она, то ли гордясь, то ли жалуясь, и сухой ладонью похлопывает по груди. — Невелико жалование, огород с нехитрой зеленью да картошкой, кур пяток, белая коза с длинными витыми рогами — можно жить потихоньку.

— Казимировна, погляди-ка в шкапчике, там у меня с прошлого разу вроде рябиновка оставалась. Примем по чарочке. Танюше нельзя — рано ей еще. Так мы с тобой... по малой. Что-то защемило у меня в грудях... — призналась хозяйка. — Давай, пока мой-то на службе...

Уселись за столом друг против дружки, угол скатерки загнули, чтоб невзначай не капнуть настойкой, рябиновку потом не отстираешь. Выпили, не чокаясь, отщипнули от пышки поочередно. Руки у кухарки скоро раскрепостились, жесты стали размашистей, выразительней, и слова вперемежку с ними вдруг пошли свободно, торопясь успеть выплеснуться наружу.

— В Забайкалье до высылки мы хорошо жили. Отец на пароходе масленщиком ходил. Мама на людей работала. А жили мы в доме водников. Дом большой, рубленый, на три семьи. Кухни были у каждого свои, а еще одна, с русской печкой, общая. Там хлеб пекли. Дружно жили. На общей кухне вечером все соберутся, рассядутся. Полы —

чистые, белые, скобленные. Сядут и весь вечер про колдунов рассказывают, про нечистую силу, про ведьм. Механик был, Алалаев, забавно умел рассказывать. Мы даже страшимся потом на двор выходить, просим: «Мама, проводи...» Хорошо было. Свою картошку сажали, помногу накапывали. Своя корова. Молоко зимой морозили, держали на улице, в кругах. Круги — малые, большие, в какой миске заморозят. Сверху — сливки. Их соскребешь ножом и мажешь на пышку. И пельмени зимой морозили. Мясо — говядина, жирное. Из Монголии скот пригоняли. Зимой много пельменей лепим, на листы их кладем и — на мороз. Потом в ларь ссыпаем, там сохраняются. Муку покупали мешками, мясо — стегнами. Все брали у китайцев. У них у всех русские имена: Иван, Миша, Николай. Лавочки — возле пристани, маленькие, с колокольчиком. Заходишь, дернешь колокольчик: «Дзинь-дзинь!» Китаец из задней комнаты выглядывает в лавку. Нашего торгового человека звали Иваном. Чего надо, возьмешь и не платишь, все под запись. Потом отец деньги отдаст, с получки. Честные были китайцы, никогда не обманывали. А лавочки маленькие, там и живут в задней комнате. И там готовят, пекут на продажу. В воскресенье не отдыхают, несут нам в затон орехи, конфеты, пряники, тянучки.

Места в Забайкалье больно уж красивые. Летом ходим в тайгу по ягоды, грибы. Зимой тоже весело. Тогда веселей жили. Зимой все вместе, взрослые и ребятишки, делаем горки. У мола ставят деревянные козлы друг на друга, на них доски кладут и лед намораживают. Получается ледяная гора. Высокая. Еще карусель ладили с санями и каток. По вечерам все с гор катаются: взрослые и дети. Парни стараются сделать саночки у кого лучше, со скамейкой, со спинкой, чтоб удобно. Садятся рядом: кавалер и барышня. А нас, ребятишек, посередине. Летишь с горы: страшно. Дух захватывает. Катаются кто на чем. На тазах, на бычьих шкурах. Толпа целая на шкуру усядется. Кто стоит, кто лежит. И покатались. Смеются все, весело...

Смолкает на минуту Казимировна, мыслями уходя далеко от жаркой кухни. Смолкает, а потом спохватывается:

— Еще вот кладбище в Забайкалье самое лучшее. На сопке оно, оттуда далеко все видать. И церковь рядом. Я мамочку одна хоронила. Двенадцать мне было годков, в семье я старшая. Мамочка заболела тифом, ее положили в больницу. Тогда, при советской власти, многие тифом болели. А отец еще раньше заболел. У него рука пухла, но в больницу он не хотел идти. Не хотел, а его все равно положили. Я каждый день к ним ходила. Напеку лепешек, младшую сестренку у соседей оставлю, иду сначала к папе, потом к мамочке. Там были сестры милосердия. Это сейчас медсестры. А раньше назывались

сестры милосердия. У них на голове белые повязки и красные крестики. Они меня любили. Сами едят и меня усадят, накормят. Мамочка говорит: «Не ешь в больнице, заболеешь». А они успокаивают: «Мы-то не бодем». Мамочка долго болела, а потом ей лучше стало, а на следующий день — вдруг хуже. Я пришла, ей так плохо, меня не узнает. Вернулась я домой, а соседка говорит: «Наверное, пришло твоей маме время». Вечером мама померла. Наутро мы с соседями ее обмыли, переодели. Потом в церкви отпевание. И похоронили. Как сейчас ее помню в гробу: красивая, лицо белое, брови черные, как живая. Только глазки свои не открывает.

Ничего больше не сказала Казимировна. Тихо стало. Только муха жужжит на окне и бьется о стекло, хочет на свободу вырваться... Мелкая совсем, а туда же...

2

Шумиха — город вроде, а посмотришь: местами деревня деревней. Весна в 41-м дурная выдалась. Снег намяк, раскинулся по канавам, дорогу подвятило, на солнце открыто не глянешь — жмуришься. Тепло. И вдруг закружит ветерок над деревьями влажные, лохматые снежные хлопья, побелит землю. И люди-то все беспокойные будут, шарахаются от всякого шума, чертыхаются. Спит Шумиха, к ночи утомилась. Не лают, как вчера, собаки, не скрипят двери и не доносятся изнутри слабые тревожные звуки. В серой темноте улицы пусто и спокойно. Тихо, ничем не выдавая своей жизни, стоят избы с бельмастыми окнами, но когда Петр приближался к какой, она отзывалась протяжным, терпеливым вздохом, показывая, что все знает, все чувствует и ко всему готова. Были среди них нестарые, ставленные и тридцать, и двадцать лет назад, не успевшие почернеть и вращать в землю, но они смиренно стояли в общем ряду, ведая свою судьбу, подвигаясь к ней под короткой весенней ночью еще на один шаг. Так терпеливо и смиренно пойдут они до последнего, конечного, предвоенного июньского дня, показав на прощанье, сколько в них было тепла и солнца, и мира, потому что всякое строение, как и человек, не вечно.

Петр знал, что Татьяна спит, и его появление будет не только странным, ничем не объяснимым, но и пугающим: кто он, зачем здесь, что ему надо? Однако что-то толкало его к дому, где, наверно, все проникнуто запахом волос Татьяны и согрето ее дыханием. Иногда он останавливался, решив повернуть назад, но ноги продолжали его нести, не подчиняясь воле. Сил и отваги не хватало, чтоб тихо постучать в окошко, увидеть лицо девушки, сказать какие-то слова, смутиться, испугаться своей дерзости. Петр дошел до крыльца, уселся на при-

ступок и стал ждать, подогревая себя волнующими мыслями. Ждать, когда засветит утро, скрипнет дверь, выйдет за водой к колодцу Татьяна, ведра будут плавно покачиваться в ритме ее шагов и поблескивать в огниве первых лучей.

Каждый день отмечался в его душе, словно зарубкой на дверном косяке. Три месяца и пять дней, и еще эти тягостные мгновения, лениво переходящие из вечера в ночь. Что могли объяснить короткие случайные встречи на улице, у рыночных рядов или подле церковной ограды, ее небрежный кивок, отвечающий на шепот страстного приветствия, долгий, будто голодный взгляд вслед уходящей девушке? Да, парней, как Петька Коробов, в Шумихе, словно грязи в непогоду. Подойти, признаться, побороть волнение и страх... и получить от ворот поворот. Нет, на такой риск не хватало духу, это было выше сил. На что же ты надеешься, Петр Коробов, зачем ты здесь, незванный, нежеланный, чужой? Не ведомы тебе слова, коими можно ладом открыть состояние души. Какую девушку заденет твоя неровная исповедь о рабочих днях в строительной артели, о веском жаловании электрика и прочих достоинствах, совсем не привлекающих невест? Все это Петр понимал, болезненно чувствовал, корил и мучил себя за это и ничего не мог поделать с собой, ибо сжившийся с ним внутренний жар не отпускал и не давал покоя. В какой-то момент он вдруг начинал ощущать прилив злости, одолевающей стыд и горечь унижения, в нем пробуждался звериный азарт, закипала решительность, дыхание становилось коротким и неровным, глаза загорались безумной вольницей. Погруженный в омут воспаленных желаний, он не заметил, как за его спиной неслышно отворилась дверь, едва не задев его, прошелестел подол ночной рубахи Татьяны, похожей на белый саван колдуньи. Не заметив его, занятая своими простыми мыслями, девушка зашагала меж ворохов прелой ботвы в дальний угол двора, где ютилась крохотная, ладно рубленая из кругляка банька. Ее топили по субботам, и Татьяна любила ходить последней, когда уже схлынул жар, никто не торопит и плескаться можно, сколько хочешь.

Петр стал каменный, все произошло так неожиданно и быстро, что сердце как будто остановилось, застыло в оцепенении. Господи, она! Руки дрожали, маячили в пустоте, словно искали опору, чтобы ухватиться, рубаха на спине сделалась мокрой, нервно шевелились губы, роняя безликие звуки. Петр вскочил, вытянулся сначала во весь рост, коленки подкосились, заставив его кулем рухнуть на мокрую землю, а затем с трудностью определить на четвереньки, будто он незряче шарил в темноте оброненную невзначай монету. Так, на четырех коленях, проваливаясь руками в вязкую глину, лишенный рассудка и не способный уже как-то управлять ходом своих действий, Петр пополз

к баньке, часто замирая и чутко, настороженно вслушиваясь, как блудливый пес, в тихие звуки и шорохи вокруг.

Керосиновая лампа, поставленная на полочку под самым потолком, чтоб не залила вода, едва тлела, и желтое мерцающее пятнышко почти не светило, сиротливо напоминая о себе и своей бесполезности. Татьяна уже начерпала в тазик воды из кадушки и ослепительно белая, как облако в тумане, улеглась на скамью, широко раскинув руки. Закрыла глаза, словно засыпая, и затихла, расслабленная влажным теплом. Не в силах владеть собой, Петр прыгнул к ней. Едва он протянул руки, чтобы ухватить ее, она проворно, одним рывком вскочила на колени, выгнулась вперед и бойко, по-девичьи, протараторила:

— Эй, ты что это!? Ты кто? Чего ты тут? Я кричать буду!

Сердце Петра стучало так громко, что он ничего не слышал, оглушенный его биением. Пуговицы на штанах не поддавались одеревеневшим пальцам, рубаха прилипла к телу, и содрать ее с себя стоило еще больших трудов. Схватив девушку за плечи, Петр повалил ее на пол, задвигал костлявой рукой по скользким бедрам, больно тискал грудь, жадно чмокая тугие соски. Татьяна была не из слабеньких, сопротивляясь из всех сил, молотила кулаками, царапала, стараясь делать это как можно больнее, чтобы столкнуть с себя отвердевшее тело парня. Но скоро, когда неравное единоборство уже потеряло всякий смысл, она вдруг почувствовала смертельную усталость, перестала противиться и опустила руки. Он понял это по-своему и заторопился, засуетился, как мальчишка, неосторожно и неумело...

Откинувшись друг от друга, они, на удивление, не испытывали ни чувства стыда от случившегося, ни даже вины в грехопадении. Все было, как обволакивающий сон, роковой и навязчивый.

Дыхание, наконец, улеглось, реальность начала занимать свои места, а мысли, толкаясь, выстраиваться в ряд.

— Ты прости меня, Таня. Я не хотел, все как-то само собой вышло, поперек воли.

— Как звать-то тебя, кобель? — без интереса, просто надо было что-то сказать, произнесла Татьяна

— Петька я...

— Петька... Силищи-то в тебе, как в дубине. Будешь убивать... не души, синяки останутся. Ты топором, он там, за печкой...

— Что, я зверь, что ли?.. Ты только не говори никому. Днем раньше, днем позже, от этого ведь не уйдешь. Всему есть начало.

— А ты подумал, кто меня теперь порченную-то возьмет? Ладно, хватай свои штаны, и чтоб духу твоего не было. Хозяева увидят, тогда будет тебе «всему начало» и конец будет.

Неслышно, по-воровски Петр нырнул в ночь.

Татьяна еще какое-то время оставалась в баньке, остывая от случившегося и испытывая неловкое и, ей вдруг показалось, забавное чувство, будто она перешагнула черту, которой боялась пуще смерти, а она заставила ее познать то, что грезилось лишь в неясном девичьем представлении. Она уже стала приходить в себя, когда на мгновение ей показалось, что только что каким-то чудом ей удалось подглядеть себя далеко вперед нынешнего дня; что-то там было иное, чем здесь, но и там она уже мелькнула не одна. Там кто-то был рядом, кто, она не знала. Она только знала, что если бы жизнь началась заново, она обязательно пошла бы в эту субботу в баньку, забыв запереть изнутри дверь...

Так и не сомкнув глаз, утром Татьяна вышла на воздух и зажмурилась — так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Казалось, все солнце, стоявшее как раз над крышей дома, скатывалось сюда. Остатки снега за ночь еще больше похилились, потемнели, а в легких тенях отливало мякотной синью. Тепло было по-настоящему весеннее, с запахом. На углу крыши наплавлилась сосулька, на мелких от снега проплешистых местах распрямлялась слабая мокрица. Все тело Татьяны пронизывала какая-то сладкая, незнакомая боль, словно уходила из него застоявшаяся немощь, уступая место необычайному приливу новых здоровых сил.

3

Три месяца шла война. Тихая и прежде всегда как бы сонная Шумиха растревожилась, зашевелилась нескончаемыми обозами, кои ночами, скрытно от чужого глаза тянулись на железнодорожную станцию, разгружались в вагоны, доверху забивая их мешками с мукой, вяленой рыбой, тушенкой и медикаментами. Десяток шуплых солдат с наголо стриженными затылками выбивался из сил, не укладывался в сроки погрузки, и тогда такой же молодой и тощий, как голик, сержант начинал хрипло кричать, махать руками и тыкать стволом винтовки в спину до смерти уставших новобранцев. Те, что вовсе слабые, падали лицом вниз на заслеженный грязный перрон, трудно поднимались, со стоном, скрежетом на зубах, но все же тянули на себя мешок и, былинкою качаясь, продолжали движение. Шумихинские мужики из раскулаченных терпеть такого более не могли, без всяких приказов и разрешений, без сговора даже, стекались ночью на станцию и подменяли солдат, взваливая на горбушу по два мешка да еще и коробку с бинтами в довесок.

— Ну, война, ну что теперь в тылу-то ломаться? — толковали мужики. — Наши немцам хребет-то в два счета сломят. Вот только засучат рукава и...

Словно собранные тревожным предчувствием в один клубок, все в Шумихе войну старались даже не поминать, а что говорить без толку, душу бередить? Ждала чего-то Шумиха, жила ожиданием.

В прошлое воскресенье созвали в клуб по повестке девок и молодых баб на собрание. Все думали, лектор приехал. Напудрились, щеки свеклой подрумянили. А в клубе все было серьезно — объявили запись на курсы медсестер, в которых очень нуждается фронт.

— А дочери врага народа можно? — громко, никого не боясь, крикнула Татьяна. — Я приходскую школу успешно закончила, нас там учили перевязки делать, уколы и еще многому. Возьмете?

В начале сороковых о кулаках, подкулачниках и спецпереселенцах уже никто почти не вспоминал, отмечаться в комендатуре не требовали, за репрессированными никто не следил. Накатилась новая волна истории, которая, как на песчаном берегу, смыла старые следы. Не до кулаков стало России. Не вскормленный безумием Кремля, а настоящий враг ломился в дверь. Вошло в сознание людское горькое понимание того, что в одночасье грянут в избу не одуревшие от вседозволенности опричники НКВД, а нечто более страшное, супротивное самой природе русского человека — неволя и рабство, дикость и унижение от врагов действительно страшных. Не от своих «врагов» — к ним-то все привыкли — от немчуры проклятой.

Петьке сказали, что солдатское обмундирование он получит по месту назначения, а пока надобно ему идти домой и выспаться, может, в последний раз.

Легко сказать: пойдешь выспишься. Куда пойти? В общежитии его кровать уже кем-то занята, родственники спешно съехали во Владивосток от войны подальше, знакомые — кто ушел по призыву, кто тайлся на заимках. В памяти оставалась Татьяна, но одна только мысль о ней все еще бросала его в смятение: не с подлого и гадкого поступка хотел начать свою взрослую жизнь Петруха, но вот случилось. Таня искала его, ждала трепетно и страстно, а когда они встречались, ловко, хитро, только ею ведомым способом увлекала его в укромную баньку, которая давно уже не служила хозяевам и была запущена, брошена за ненадобностью, оставлена для жарких ночей и любовных утех.

Татьяна давно уже не служила кухаркой. В первый же день войны хозяева убрались из Шумихи в неизвестном направлении, оставив ключи от дома; живи, сколько хочешь, пользуйся, только не бросай на произвол — жалко. Так что можно было повести Татьяне возлюбленного своего аж на барские, теперь ничейные перины, но они, не сговариваясь, направились в баньку, которая выглядела совсем уныло без жилого духа, с как попало набросанными вместо пола плахами, с прогнувшейся в потолок доской, с черными, в засохших тенетах,

неровно стесанными стенами. Всем видом своим, уходящим в вечность и как бы напоминающим тем, кто остается, о недобром грядущем времени, она слепо, по-старчески смотрела в мир остывающим зрачком окошка.

Татьяна не могла угадать мыслей Петра, да и не пыталась угадывать, для нее эта полусгнившая банька была неким святым местечком, где родилось открытие и счастья, и великого блаженства. Еще до войны видела однажды Татьяна в кино (ей и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которого она без ума любила, кормила его, как маленького, из рук. Вспомнив сейчас об этом, Татьяна из какой-то вдруг приспичившей, незнакомой ей раньше причуды тоже решила подносить пышки в рот Петру, но он не позволил. Ей стало и неловко за себя, и весело, словно она переступила уже какую-то мелкую стыдинушку и теперь могла ступать дальше. Но чай им пришлось пить из одной посуды, передавая ее из рук в руки. И то, что Татьяна брала эту кружку после Петра, а затем снова передавала ему, почему-то также волновало ее.

Живот у Татьяны раздался, и когда она перед ночью оголяла его, немного стесняясь даже глухой пустоты в избе, горка была хорошо заметна. Тихонько и нежно поглаживая ее, Татьяна замирала, потом, чуть отдохнув на этой первой ступени, замирала еще больше, неслышно отнимаясь и возносясь куда-то, в какое-то чудесно самовидное одиночество, где в тишине и пустоте, забыв обо всем на свете, она видела и ощущала каждую свою каплю. И плод, то, что превращалось постепенно в ребенка, она тоже видела; ее чувство, прикасаясь к нему, рисовало ей все: и как он лежит, и с какой ленивой и непрерывной требовательностью тянет из нее материнские соки. Но размышляла она об этом уже после, возвращаясь из своего чуткого и обморочного проникновения в себя, когда она внимала себе словно бы со стороны и, возвращаясь, со слабой понятливостью осознавала, где она есть и что с нею происходит. Она боялась того дня, когда беременность откроется, но и хотела, чтоб он скорей наступил — тогда не придется затягиваться, прятать живот, не придется оглядываться, следить, не видит ли кто, что она не одна, что она, незамужняя, носит в себе ребенка. И от кого? От насильника!? Однако заглянуть в эту новую жизнь ей не удавалось, для нее она была так же темна, так же сокрыта, как замогильный покой. Едва успев подумать, что надо бы все сказать Петру именно сейчас, потому что другого случая может не быть, она вздрогнула, почувствовав, как сильная, потертая мозолями рука бережно, как-то даже пугливо легла на ее живот.

— Завтра меня на фронт увезут, — будто что-то случайно пришедшее в голову, неважное совсем и потому ненужное произнес Петр. —

Там будут убивать, наверно, а я все равно живой останусь. И приду! Обязательно приду. Мне теперь умирать никак нельзя. Мне сына увидеть надо, ей-богу, увидеть бы только хоть разочек, на руках поддержать, прижаться к нему. А после пушай судьба-матушка творит со мной по усмотрению, чего задумала...

— А если девочка будет?

— Девочка? Вот черт, а я об этом и не подумал даже. Если дочка, я ей... я ей полный воз цветов нарву... где-нибудь.

Встал Петруха, распрявился во весь рост, хотел сказать что-то еще, подтверждающее давно принятое им решение, но больно ударился затылком о перекладину, которая опасно согнувшись с потолка, закачалась, норовя рухнуть. Петька рванулся, коршуном растопырил руки и глыбой своей укрыл Татьяну. Обошлось, слава Богу. И вдруг услышали, нет, не услышали даже, а каждый частичкой своего естества ощутил, как там, под выдающимся вперед пестреньким сарафаном Татьяны шевельнулось что-то. «Мужик, однако. Я слышу. Весь в папку! Таня, я это ухом чувствую. Ну, я вам, гады, за него-то...» Пригрозив кому-то в темноту, снова выпрямился, снова с грохотом, но неощутимо уже, наверное, пробороздил затылком по верху, хватил гнилую перекладину, оторвал ее с потолка и хрястнул через колено.

Глава вторая

1

Петр примчался домой, когда в «Энергетике» уже зарумянились ночные фонари. Обычно смена в котловане ГЭС его изматывала, делала угрюмым, немногословным и даже, казалось бы, беспричинно сердитым. А тут, при гостях, зашумел с порога, засуетился радостно и необыкновенно весело. Побывать в Братске и не увидеть Ангару, не пустить в дело переметы, не отведать ушицы с костра, не насладиться ночью, которая там, на реке, совсем другая, с особым каким-то очищающим светом, звоном и духом, по убеждению Петра, равно потере чего-то очень дорогого, чем не так уж и часто одаривает жизнь.

Время на сборы не тратили, все, что надо для отдыха на природе, загодя упаковано хозяином в объемном рюкзаке, с коими опытные геологи обычно надолго уходят в тайгу. Только Александр Афанасьевич прихватил с собой альбом и карандаши, без этих атрибутов он себя не мыслил, как заядлый курильщик без табака. Анна Афанасьевна тоже, спохватившись в последний момент, сунула в рюкзак томик Есенина.

Ночь и вправду выдалась, словно по заказу, теплая и тихая, в другом месте, может, темная, но здесь, под огромным надречным небом, совершенно проглядная и сквозная. Все обязанности по обустройству Петр, обладающий в таких делах удивительной сноровкой, взял на себя. Пока ладил балаган, нырял в лес за хворостом и раскладывал костер, брат и сестры имели возможность почувствовать себя счастливыми, угодившими в райские пуши. Было тихо, но в этой сонной и живой, текущей, как река, тишине легко различались и журчание воды на верхнем, ближнем мысу, и глухой и неверный, как от ветра в деревьях, шум переката далеко на левом берегу, и редкие мгновенные всплески запоздало играющей рыбы. Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки Ангары, услышав, распознав которые, можно было услышать и звуки затянутого росой берега: тяжкий, натужный скрип старой лиственницы и где-то рядом, наверное, глухое топтание пасущихся коров. Конечно, и у Анны, и у Татьяны, и у Александра, у каждого из Фарковых было в жизни немало таких возможностей — каждому по-своему ощутить и прочувствовать чудотворную ласку природы. Но здесь, усевшись рядком на срубленном кем-то деревце, и сестры, и брат с каким-то особенным удовольствием и особенным чутьем прислушивались к тому, что происходит на земле и возле земли: шороху мыши, выбирающейся на охоту, затаившейся пичуги, сидящей в гнезде зверушки, шепоту качнувшейся ветки, дыханию взрастающей травы.

В таком живом, одухотворенном окружении земных благ хочется думать и говорить о чем-то божественно-возвышенном и чистом. По приземленным меркам, Татьяна Афанасьевна отдала Ханты-Мансийскому округу большую часть своей жизни. И хотя ни разу так и не довелось ей увидеть настоящего ханты или манси — все больше встречались, кроме русских, татары, башкиры, узбеки, казахи, украинцы и евреи, — она всегда с почтением относилась к культуре и обычаям коренных народов, национальность которых давно лишь символически значит в географическом наименовании округа. Северных людей давили царские опричники, вездесущие купцы, белые и красные, грабили, жгли, убивали. А вера была, есть и будет.

— Человек не может быть без веры, — со знанием умудренного жизнью человека молвила Анна Афанасьевна. — Женщина верит в любовь. Мужчина — в удачу на охоте. Сын не предаст мать свою, как не предаст и родину. Дочь мечтает о счастье. А в старину еще верили духам. Дух по-мансийски — Пупыг. Пупыги бывают добрые и злые. В одной умной книжке читала я, будто от них зависит здоровье, удача на промысле и даже счастье в любви. Духа глазами не увидишь. Лишь образ его — деревянную куклу — ты можешь увидеть в сундуке

манси, что стоит в священном углу дома. Но духи всегда рядом с человеком. Так манси думают. Они, как чиновники, разные должности занимают, разную силу имеют. Торум не вмешивается в жизнь людей. Он управляет миром с помощью своих наместников — легкокрылых Пупыг. Но Пупыг не всемогущ. Каждую весну он уходит. Куда уходит? На небо. Пока кто-нибудь из людей не изберет его своим. Пупыг — представитель неба на земле, он же — посланник людей на небе. Все можно было попросить через духов, все потребовать; если нужен дождик свежий, чтобы росла молодая трава, просят люди дождик; если рыба плохо ловится — требуют люди рыбы; если зверь не идет в ловушку — просят помочь. И еще, — Анна Афанасьевна пророчески подняла руку, — мне это особенно нравится. Если не справляется Пупыг со своими обязанностями, то его сгоняют раньше времени, до весны. С позором сгоняют! Идола, не оправдавшего доверия, сжигают на костре, разрубая топором или бросают в воду. Духам верили и не верили, духов выбирали и убивали. А сейчас? Никогда не гасла у человека вера! Только раньше он ждал помощи от духов... Неужели он не дождется ее от людей?

— Хорошо говоришь, сестра, умно, а главное — проникновенно, — похвалил брат, знающе поглаживая жиденькую бороденку. — Тебя бы к нам, на кафедру философии или в Художественную академию. Маловато у нас духовности в вузах, маловато.

Анна и вправду говорила красиво, но не слова сильнее всего задела Александра, а затаенный в них смысл. Ведь притча отражала совершенно приземленное устройство человеческих отношений, где некто вышестоящий через «легкокрылых» посредников управляет простыми смертными, а этот самый Пупыга может одарить людей счастьем и любовью, а может и плюнуть на их простые желания. Неужели у богов все так же мерзко, как у людей?

Как-то рабочие уломали руководство «Запорожспецстали» отметить тысячелетие крещения Руси приглашением выступить перед коллективом Патриаршего хора. Семь дней и ночей, забыв об отдыхе и перекурах, бригада художников, руководимая Александром Фарковым, приводила заводской клуб в соответствующий вид. Вот только ангелочки на заднике сцены, исполненные Александром, получились какие-то грустные и задумчивые.

В первом ряду собрались кое-кто из партийного начальства. Митрополит Питирим, высокий, с длинной седой бородой, с выходящей из-под черного одеяния панагий на груди, все, кажется, замечая энергетическим взглядом, рассказал о Патриаршем хоре, его составе, особенностях исполнения, при этом часто поглядывая на ангелочков, поворачивая голову к заднику. «Живые личики у анге-

лов Божьих, — сказал он, заканчивая свое короткое вступление. — Скорбит, должно быть, добрая душа у мастера, писавшего их». За чем митрополит озвучил мысль свою, Александр сначала не понял, лишь позже дошло до него, что старец видел всех сидящих в зале насквозь, за кого-то радуясь, кого-то жалея, кому-то сочувствуя, тем особенно, что в первом ряду.

На сцену вышли один за другим молодые люди с папками нот в руках, двенадцать человек, с регентом, и раздались необычные в этом зале чарующие звуки.

В клубе, где, кажется, даже стены пропитаны заседаниями, партийными собраниями, страстишками, казенными призывами, лицемерием и сиюминутными интересами, вдруг вознеслись в пространство старинные песнопения. Полные величественности, духовной красоты, напоминающие о чем-то возвышенном и вечном. Рядом со сценой, сбоку стола, сидел, развалившись, кто-то из членов парткома с привычным видом председательствующего на очередном собрании. Напряженный, застывший, он будто не мог оторваться от хора, но вместе с тем даже в профиль столько злобы было в его лице, столько искаженного какого-то самодовольства в этой необычной обстановке. Тянет его и отвращает, слушает и плюется. Едва кончилось первое песнопение, он поднялся, с лицом обрюзглым, самодовольным, грузно заковылял к двери и исчез. Непонятно ему было то, о чем пел хор, недосыгаемо и скучно.

Любопытно было видеть, как действовала древнерусская церковная музыка на тех, кто привык ораторствовать, быть у всех на виду: один скривился, другой скосил голову набок, третий весь втянулся в плечи. И все как-то помельчали, посерели, то есть стали такими, какими были на самом деле, без масок, без ложной значительности, сообразно своим внутренним данным. Все оказались в непривычной атмосфере, где ничего не стоила мышьяная возня конторских клерков, словоблудие и где выявлялось то, что было реального в человеке, — его душа, качество духа. Музыка все поставила на свое место. Правда, в конце каждый мог опять подтянуться к мнению о себе, имея в виду именно себя, когда великодушный Патриарший хор в ответ на благодарственное слово представителя дирекции завода грянул: «Многие лета!»

— Я даже день рождения свой иногда забываю, — подбрасывая сухие ветки в костер и привычно теребя бородку, сказал Александр. При этом глаза его как-то глубоко вспыхнули и отразили отблески огня. — А вот песнопение то долго помнить буду, ведь устами хора к нам как бы обращался с утешением Господь Животворящий, к нам, познавшим голод, массовое вымирание, невероятные страдания, о

чем живущие ныне почему-то молчат, будто ничего этого и не было. А в данном случае человеческие страдания обратились в болезненное воплощение. Мне стало от этого жутко, мне в этом увиделось какое-то мистическое примирение с тем, с чем нельзя, собственно, примириться исторически. Вы знаете, у древних было такое понятие — децимация. От слова «десять». Дециметр, декада и так далее. Децимацией назывался способ привести в повиновение взбунтовавшееся войско или непокорный народ путем казни каждого десятого. Существует предположение: не то ли самое происходило на протяжении первых лет после октября 1917 года с нашим народом? Этот самый кровавый террор, это уничтожение как раз десяти процентов крестьянства во время коллективизации. Но нет, дело было еще кровавее и страшнее. Да и число убитых — около 60 000 000 — далеко не десять процентов российского населения. Когда уничтожают каждого десятого, это делается, можно сказать, без выбора. В России уничтожались лучшие слои общества. Затем, во-первых, чтобы разрушить само общество и людей превратить в послушное стадо, во-вторых, надо было уничтожить как можно больше генетического, биологического материала, чтобы народ не воспрянул в будущем. Не могут пройти бесследно эти ужасы, именно из необъятных страданий и исторгается идея нравственного абсолюта. Я, наверное, говорю слишком красноречиво, но именно так отозвался геноцид народа в этой духовной трагедии. Вряд ли что-нибудь подобное было в истории возникновения религиозных идей. Это наша, увы, новая социальная утопия, от которой мы никак не можем освободиться. Но, может быть, помимо всего другого, и неустройство наше, множась беды — от бесплодности наших страданий. Ибо тогда страдания не бесплодны, когда они с именем Христа, который страдал на земле и оставил нам тайну страдания, без нее даже и великая жертвенность народа напрасна и человечество оскотинится со своим самоуверенным прогрессом.

«Воистину Христос воскрес!» — восхищенно, но ничего не поняв из сказанного, невпопад, так, на всякий случай воскликнул Петр первые, что пришли в голову, слова из пасхальной записки. Затем неумело перекрестился и вовсе уж не к месту добавил: «Уху есть будем?»

2

Верно, должно быть, говорят, что пути Господни и воля Его неисповедимы. Ни Анна, ни Татьяна еще и в глаза не видели родного брата, даже представить не могли, какой он стал, кем стал, как сложилась его судьба, а я уже и за руку с ним держался, и в гостях у него дома побывал. Как-то все сложилось, что из-за одного очерка о спец-

переселенцах, который так и не увидел свет, столкнули меня журналистские тропы с семьей Фарковых, по сути дела, чужих для меня людей. И стал я, как тот самый Пупыг из мансийской притчи, поведенной Анной Афанасьевной, своего рода связующим звеном в налаживании их родственных контактов. Черт его знает, может, как раз эта специфическая особенность и залегла во мне трепетной любовью к журналистской профессии. Ситуация проста, как репа; на заводе «Запорожсталь» должны были состояться испытания образцов какой-то необычной марки металла. Только партийные газеты советского периода при явно хилом состоянии экономики могли неистово вещать о ее головокружительных успехах. Я — командированный «челнок» в места, где эти успехи, «благодаря чуткому руководству»... свершаются, приказом редактора делаюсь брошенным в город Запорожье. Тетя Аня, которой самое подходящее место отнюдь не на кафедре философии, как предлагал ее брат, а как минимум в «органах», разведала маршрут моей поездки еще раньше меня и пришла ко мне с письмом к Александру Афанасьевичу, сообщающим в официальной форме о месте семейной встречи в Братске у Татьяны.

Приехал в Запорожье. Побывал, куда водили. Посмотрел, что показали. Записал, что сказали. Кивал головой, будто все понимаю — так у нас положено. Кормили в комнате отдыха какого-то зама директора красными раками и красным вином. Тошно. Лучше бы картошку сварили... Репортаж написал за один присест в гостинице, пока шла программа «Время». Потер под краном воротник (после таких мероприятий у меня почему-то всегда рубаха начинает неприятно лосниться), высушил на балконе, умылся хозяйственным мылом, чтоб совсем чистым быть, и отправился по адресу, начертанному Анной Афанасьевной.

Улица Нижняя. Плавно, свободно, не толкаясь дворами, стекаются к Днепру крепкие, слаженные из камня дома, по макушку окутанные виноградником и плющом. За мной следом шествуют в неопишемом восторге тетка с мальчишкой лет пяти. Они из Тобольска, приехали к дяде. Тяжелые от переспелых плодов ветви в палисадах градом сыплют на мощенный плиткою тротуар. Я вижу, мальчишка хватает фрукты их из-под ног, жадно ест, сует за пазуху. Мама его тоже бы поела, ну как же можно русскому человеку спокойно шагать, когда под ногами бесплатно совсем хрустят настоящие яблоки и груши? А что, я тоже поднял яблоко, вытер о стираную рубаху и начал хрустеть. Вкуснота необыкновенная, когда задарма, всякий плод, даже укус, сладок.

Нашел нужный дом, хотел уже войти во двор, но если на калитке нет известной таблички «Осторожно, злая собака!», то обязательно

взамен ее объявляется соседка из газетной рубрики «Хочу все знать». Вежливо объяснил. Хохлушки любят, чтоб с ними вежливо, иначе из Запорожья, к примеру, в Киеве их недовольство слышно будет.

К Александру Афанасьевичу можно было не ходить, за несколько минут я узнал о нем столько, сколько он сам о себе не знал.

— Странный он, со всеми здороваюсь, но в разговор не вступает, будто боится чего. Сколь лет рядом живем, но чтобы хоть раз кому слово худое сказал. Ненормально это.

Соседка широко открывает полый рот, раздвигая мясистые щеки. Она даже находит в себе силы на минуту умолкнуть, наслаждаясь сознанием того, что поддержала меня, не бросила одного перед лицом бородатого человека с желтым ящиком на лямке через плечо. Перед непонятным соседом, который и сам не знает, чего ему надо тут... «Рисует безобразия одно; как изба гнилая, так он тут как тут, а хорошее ничего не замечает. Даже вон церковь разваленную рисует красками, не нашел в другом месте хорошую. Чудной художник-то! Прясло повалилось, он и его рисует. Кому такие картины нужны? Такие картины каждый день из окошка видать, а он красками, как невидаль какую, вот мажет, вот мажет...»

Александр Афанасьевич в окошко увидел, из дому выбежали с женой навстречу, ждали, им тетя Аня по телефону сообщила. Жена Александра, истинная хохлушка, рыдает, словно по покойнику, но в данный раз от радости искренней: посланник пришел впервые от Шашиных родных кровных сестричек! Схватили в охапку, в дом поволокли, и тетку с пацаном, что следом шли, тоже думали, жена моя с дитем...

Дядя Саша, так я на правах тезки нагло позволил себе называть Александра Афанасьевича, показался мне на первый взгляд человеком необычайным. Выражение бледного лица его несло в себе вечную как будто печать разочарования и болезненную неудовлетворенность. Обрамленное русой бородкой, оно являло собой лицо страдальца с провалившимися грустными глазами, которые ничего, кроме тоски, не обещали человеку, смотрящему на него с вопросом или сочувствием. Был он худ и долговяз. Брючный ремень на его впалом животе железной пряжкой своей упирался в позвоночник, сгоря синюю клетку рубашки. Он горбился под тяжестью большого этюдника, загнанно облизывая яркие губы, и смахивал пот с узкого, стиснутого в висках костистого лба. Если он улыбался, то это была улыбка умирающего от чахотки бедняги, прощающегося с последней своей весной. Слова произносил с растяжкой и подчеркнута внятно, как будто учился говорить, прислушиваясь к правильности произношения, к верности слова и фонетического ударения в нем. Слушать его

можно было долго, потому что какое-то необъяснимое просветление вдруг нападало на человека, тревожа головокружением и звоном в ушах, и хотелось слушать его еще и еще.

Били Сашку Фаркова в детдоме, шибко били. Били хулиганы и надзиратели. Дети кулаков здесь — одна семья, дети уголовников, гниющих в тюрьмах, — другая, отпрыски «вшивой интеллигенции» — особая категория ребятишек, не знавших мозолей, а стало быть, не знавших и простой жизни, к которой приучить можно только побоями и унижением. Здесь философия воспитателей и воспитуемых сходилась в одном ущербном понятии. Саша научился выносить физическую боль, но у него оставалось одно, что невозможно выбить кулаками и издевательствами, — внутреннее «Я». Часто, когда становилось совсем невмоготу, мальчишка спасался в церквушке, где, забившись в уголок, затаив дыхание, слушал добрые, поучающие проповеди, благие пожелания и ощущал тепло уединения с чем-то чистым и светлым. Здесь, сначала помощником дьякона, а потом учеником в мастерской иконописи, он познал сокровенную сущность человеческой души, овладев способностью читать человека, как книгу, по глазам, очертанию губ и жестам. Здесь получил спасительное напутствие двинуться на учебу в художественное училище, после которого была адская работа за кусок хлеба в мастерской. И университет, к вступительным экзаменам в который его допустили только за то, что удачно написал портрет жены проректора, который ей пришелся по вкусу.

На заводе никто лучше Фаркова не рисовал лики Ленина и Сталина, но редко кто мог разгадать затаенную нечеловеческую сущность в глазах вождей, а то бы не дай Бог..

С завода ушел сам, ушел вовремя. В университете не хватало кадров; хорошие преподаватели в тюрьмах, плохие не справляются, а учить-то молодежь надо. Взяли Александра на кафедру философии согласно диплому.

Художество стало занятием разве что только для души. Портреты по-прежнему выходили из-под его кисти, как живые образы, в них чувствовался характер человека, зримо раскрывался внутренний мир природы. От желающих позировать не было отбоя. Много раз Александр пытался живописать пейзажи, часами просиживал с мольбертом в сквере, на берегу Днепра, а на выходные выезжал за город. Он самобытно принимал и чувствовал природу, старался уловить смысл ее земного назначения. Но чем больше накапливалось в его творческой кладези этюдов, тем болезненнее ощущалось разочарование. И он начинал понимать, что никогда не сможет перековать свое еще в детстве сложившееся видение жизни. Цветы, деревья, речные вол-

ны — все это у него получалось профессионально правильно и красиво, но не дышало, не делилось внутренним содержанием. Пейзажи, изображенные на картоне масляными красками, ему казалось, теряли всю свою неповторимую особенность, превращаясь в желтые кляксы. Его это тревожило и пугало. Он не хотел запечатлеть простой цветок одуванчика, а пытался изобразить общую живописную картину тления камня, утопающего в весенних цветах, и его совсем не интересовали сами одуванчики, которые не вечным забвением возникли в его сознании, а всего лишь ярким контрастом, нужным ему для решения живописной задачи. Профессионально вникая в философские законы мироздания, Александр все больше утверждался в убеждении, что нет сил, способных перековать человеческую личность, равно как и его мировоззрение.

Краски в тюбиках были у него почему-то мутные, которыми можно писать, наверное, только пасмурные дни, и, конечно, не его вина, что изображение на грунтованном холсте было как бы подернуто паутиной-серой дымкой, хотя и блестело пока свежей, пахучей краской. Он не имел никакой возможности «вытянуть» истинный цвет, и талант его был в полной зависимости от горького жизненного опыта. Это обстоятельство было вечной его печалью, зато не было неожиданным услышать от него изумленный возглас, когда он, возвращаясь с этюдов, увидел девочку в желтом платьице. Она стояла перед ним босая в пышной листве одуванчиков. Взгляд лукавый, через плечо. Крупная девочка, будто не такая, как все, с запасом роста в тяжеловатых коленных чашечках, чувственно уже вполне созревшая, загадочная, с широкой обрубистой стопой, в которой и мощь, и крепость ноги, и пружинистая ее легкость. Но и такая пластическая вытянутость тела, такая гибкая шея, такой глаз лукавый, что Александр как-то сразу засветился, воспрянул, плюхнулся на землю, где стоял, разложил на коленях мольберт. Увидев эту девочку, он уже видел ее, живущую красками на холсте. Он радовался, как ребенок, глядяваясь в те неясности плоти, какие еще туманили общий облик будущей красавицы, в гармоническую целостность, что уже наметилась во всех сочленениях ее теплого на вид, сочного и словно бы рожденного для радости будущего, женственного уже тела. Вот это была та самая стихия настоящего художника, в которой он властвовал и чувствовал себя воистину животворящим.

С первого же дня работы на кафедре Фаркова без всяких прелюдий начали склонять к вступлению в партию. Это было то, чего Александр боялся больше всего. Это продолжалось несколько лет, захватив не только советскую эпоху, но и времена зарождения многопартийного разброда. Он достаточно ясно видел, что происходит вокруг, старал-

ся анализировать тщетные идеологические потуги власти, и краски в набросках очередной картины словно сами собой вдруг начинали темнеть, обретая зловещую мутную тяжесть.

* * *

Пройдут долгие годы после встречи в Братске и моего визита к Фаркову, много воды утечет в Днепре, много противоречивых перемен принесет жизнь. Дети каждый раз будут требовать, чтобы отец прекратил всякие работы, преподавание в университете, занятия искусством, сидел бы на пенсии да смотрел телевизор. Он отвечал, что стране нужны трудовые руки и трезвые головы, стране надо помогать, а по телевизору смотреть нечего, одна болтовня, сплошной разврат и провокации. Телевизор — сокращение жизни без радости взамен. «Ну, вот смотришь его — и что? Эта же дикость потом и лезет в глаза, снится всю ночь. Девки голые изгибаются. Я хоть и любил в парнях в бани подсматривать да как купаются подглядывать, так ведь это было временно, кратко, и в банное окошко ничего не разглядишь, оно маленькое, оно закопченное, паром затуманено. А тут, прости, Господи, без одежек почти на всю страну. Срам, да и только». Дома Александр Афанасьевич любил порой поговорить на простонародном языке, как бы напоминая себе этим о своих классовых корнях. Сидеть сиднем даже не помышлял, без университета ему хана, поэтому каждое утро неизменно, завязывая на ходу ненавистный галстук, шагал на работу.

Однажды в какой-то газете Александр прочитал, будто в Москве-реке и в Яузе появились рыбы-мутанты, одни с глазами на животе, другие покрыты чуть ли не черепашьими панцирями, у третьих крокодиловы зубы, у четвертых — рога. Появились они в результате загрязнения, отравления воды. Употреблять в пищу этих рыб нельзя, можно сильно отравиться, а то и сходу отправиться в мир иной. «То же происходит у нас и со многими людьми, — решил Александр. — Но кто же сливает ядовитые нечистоты в поток общественного развития? Безусловно, носители новой идеологии, — так прямо и сказал, читая лекцию студентам, уже начавшим было клеветать от скуки носами. — Да в том-то и беда, — продолжал Фарков, — что нет ныне никакой идеологии. Произошла страшная мутация — от смены моральных ценностей до понятия о самой человеческой сущности. Мне время выделило возможность много лет наблюдать и на себе испытывать динамику перемен в мировоззренческих позициях окружающих меня людей. Давайте поразмышляем вместе. Да, то, что происходит с нами, является следствием изменения среды обитания. Что стало причиной мутации сознания человека? Многие мои коллеги еще вчера блистали добродушием и отважностью в борьбе с недостатками в

экономике, политической, общественной и культурной жизни. Но сегодня читаю статью одного знакомого ученого и испытываю чувство ужаса от летящей слюны, пропитанной ядом ненависти к тому, что вчера он возводил до уровня божества. Удивительно скорая перековка взглядов, не так ли? Хорошо помню времечко, когда газетные страницы пестрели убийственными статьями о тунеядцах, членах КПСС, не уплативших вовремя партийные взносы, о фарцовщиках, спекулянтах. И что же? Те же авторы сегодня вещают со знанием дела, что безработица — это бич общества, а о Компартии говорится настолько снисходительно и даже с какой-то неистовой злобой, что кажется, будто этот автор только что вернулся из политической ссылки. Мутанты взрослые, мутанты и дети, которым в сознание внедряется: «А ты выиграл миллион?» И дети идут воровать или промышлять проституцией. Да-да, вся эта мутация — от смены понятий о человеческом достоинстве, даже о самой человеческой сущности. В человеке пробуждается животное начало».

Александр Афанасьевич перевел дух, привычно обвел глазами аудиторию, которая очнувшись, ожила, взволнованно зашевелилась. И, почувствовав проснувшийся неподдельный интерес студентов, продолжил, ничем не выдавая собственного волнения:

— Подмена высших ценностей жизни волчьими правилами рынка — вот главная беда. Она-то и порождает мутантов. Коммунисты, поднаторевшие в репрессиях и геноциде народа, вдруг заделались демократами. На мой взгляд, это самая ядовитая порода мутантов, это люди, просто потерявшие человеческое обличье, они могут проводить вивисекцию не только над одним человеком — над миллионами сразу. Люди так же, как рабы, вынуждены приспосабливаться. Сколько людей, которые вчера поносили, потрясая партийным билетом, так называемых кулаков, частных собственников, бюрократов? А сегодня они сидят во властных структурах, попрытав партбилеты в сейфы, посмеиваются над прошлым, скопом вступают в партию нынешней власти, владеют собственными фирмами, предприятиями, фабриками и заводами, мандатами депутатов Думы. А в 30-х крестьянина за лишнюю пядь земли ставили к стенке... Вы, наверное, возразите мне: дескать, и раньше подобного рода оборотней хватало. Не спорю! Хватало! Но тогда щука была щукой, а удав — удавом. Что же сейчас? Думаешь, это пескарь, а взял в руки — оказывается, гадюка.

Лекцию прервал звонок. Никто из студентов не бросился на перекур. В зале воцарилась тишина. Было о чем подумать, хорошенько подумать.

Слушала Татьяна брата, любясь им и радуясь за него: он такой умный, все знает и говорит справно. Зря, что ли, ученый? Бог милостив, по возрасту на войну не угодил, да и без нее хлебнул горяшка, не приведи кому. Возникали моменты, когда Татьяна порывалась что-то спросить, даже поспорить, но сдерживала себя, боясь показаться невеждой. А все равно совсем не каждый начальник обязательно удав или гадюка, совсем не каждый. Вот у нас командир батальона был душа-человек, кашу хлебал с нами из одного котелка, каждого бойца берег пуще себя. А майор Орлова Марья Васильевна, врач наш сердешный. Слушала Татьяна брата и не могла поднять тяжелую, непосильную мысль: трудно он жил, но правильно, чисто — так получается. А я так ли жила? Отступаясь от навязчивого вопроса, она пробовала найти простой ответ, дескать, жила, как надо. А как «надо»? О чем она думала все прожитые годы? Чего добивалась? Но и этого она не знает. Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы на исходе ее признаться себе: ничего она в ней не поняла. Пока подвигалась к преклонным годам она, устремилась куда-то и человеческая жизнь. Пускай теперь ее догоняют другие. Но и они не догонят. Им только чудится, что они поспеют за ней, нет, и им не суждено с той-то и немощью смотреть ей вслед, как смотрит сейчас она.

Медицинские курсы в Шумихе свернули с года до трех месяцев, выгадывало как раз к сроку рожать. Живот тугой, руками не обхватишь, то и гляди, начнется оказия. А тут еще эта чертова практика в госпитале, дежурства в ночь. Все, как не у людей, свалило меня на дороге. Вьюга треплет деревья, рваные пучки травы несет по земле. Снежные крошки с неба. Ладно, старушка какая-то брела запоздало с базара. С нею девочка еще лет семи. Увидели бабу на дороге, взялись было куда-то ее тащить, да какое тут — воды начали отходить. Старуха все поняла, шаль с головы своей сдернула, постелила под спину роженицы, подол закинула на голову. Ори, говорит, на чем свет стоит, ори! Руки в лужице помочила. Ухватила ребеночка за головку, тянет тихонько, помогает ему на свет божий появиться. А сама плачет, лицо мокрое, и все причитает: «Ори, родная, шибче ори, и тужиться надобно пуще, давай, девка, не ленись. Ну же! Я кому говорю?!» Девочка смотрит на все это, запоминает, и у нее будет время, тоже рожать придется. Неужели вот так же, на дороге? Ночью! И вьюга со снегом!

Бог милостив — все как будто обошлось. Сгоряча так казалось...

Анна Афанасьевна, не жалея даже и не успокаивая, а скорее, пониманием своим разделяя горькую думу сестры, обняла ее, прижалась теплая, шершавая в морщинках щека ее к щеке Татьяны. И так они сидели какое-то время в поминальной как будто тишине, а изношен-

ные судьбою сердца их колотились в неистовом созвучном ритме и в одно мгновение успокоились, как после исповеди.

Какие-то ребята в бушлатах принесли на руках Татьяну в госпиталь, притулили к стенке в коридоре. Рыжий, как лунь, голубоглазый парень скинул с плеч выцветший бушлат, неуклюже, незнакомо, но осторожно укутал им ребеночка и, отмахнувшись от благодарностей, в тельняшке шагнул на студеную улицу, насмерть перепугав сонного, не просыхающего охранника.

Мальчишечка-то болезным родился, глаз почему-то не открывал десять дней, а как открыл, так и вздохнул последний раз. Похоронить по-людски не дали, мол, время военное, на всех гробов не напасешься. Не горюй, баба, приберем младенца в общей солдатской могилке... Служба у нас такая. Да и какая ему разница, где червей кормить?

«Кто я и зачем я? — думала Таня, остро и больно чувствуя шемящую пустоту и как бы бессмысленность своей жизни. — За что отпущена мне ночь, лишённая рассвета? За что?»

Пошла к начальству проситься на фронт; хоть кем, хоть гулящей фронтной подружкой среди смертных, хоть и при штабе или в похоронной команде. А то пошлите сразу в бой, на передовую, я их там всех...

— Тебе поспать надо, — утешает врач. — Сон для тебя сейчас одно лекарство. А себя убивать — это грех большой, это каждый может, потому что ума для этого не надо. Ты за жизнь свою цепляйся, все ведь еще впереди.

Глаза у Марьи Васильевны добрые, теплые, они и ласкают, и требуют с какой-то особенной одухотворяющей колдовской силой, глядят не на человека, а как бы вглубь его.

Ушла Татьяна на фронт, настояла, чтоб в самое пекло. Воистину, неисповедимы пути, как и все, что уготовано тебе...

С собой велено взять ложку, кружку, нижнее белье, ну и все прочее по женской части. Погрузили в эшелон и повезли на Дальний Восток... Худушие, голодные, необстрелянные, кому они такие там, на войне-то, нужны? Гимнастерки выдали всем одного размера. Одели. Господи, ну и чучела! Ничего, приноровились, где обрезали, где подшили. Округилось все, обратило на себя и взгляды томные, и вздохи, и надежды. Госпиталь для тяжелораненых. Лежит, зараза, ни рукой, ни ногой почти шевельнуть не может, а туда же — глазами раздевает. От него, молодого да красивого, природа своего требует, а он бинтами окован, и остается ему любить тихо, издали. Бывало, кто на поправку пошел, наберется мужества ладонь положить на коленку сестричке, застыдится сразу детским почти румянцем и радостью. Ну, ей-богу, беда с ними.

Из тылового госпиталя, где и смертей, и крови насмотрелись под самую завязку, — в огонь. Лежит Таня подле разорванной снарядом

лошади, бока которой еще теплые, а по ним хозяйски уже ползают полевые букашки-кровопийцы. Небо в огнive, земля дыбом, гром. Совсем рядом деревня — добыча для пламени. Березы — угли, остовы домов. Бой устал от смерти, затих. Бойцы рванули к колодцу: пить, пить, пить. Откинули крышку, а он детскими телами забит. Доверху. Таня слышит, как погребают детишек, как скрипят мужики зубами. А на краю деревушки, на пригорке, виселицы частоколом. Немцы облили их водой. Качаются на ветру ледяные трупы, стучаются друг о дружку, и звон такой...

Зима совсем озверела, лютует, будто сама на войну вышла. Полк, в котором Татьяна, пошел форсировать Оку, чтобы потом закрепиться на западном берегу. Немцы противятся. Бомбы сверху на пехоту, как град. Лед на реке вздыбился, побагровел, вода, как кровь из жил, хлынула в расщелины. Все бегут вперед, и Таня между них. Валенки набухли, отяжелели, санитарная сумка хлещет по бедрам. А там, на берегу, творится страшнее страшного. Что в бою сестричке надобно делать? Увидеть раненого, перевязать, где надо, успокоить по возможности. Еще сказать, что все, дескать, ерунда, только царапнуло чуть-чуть, совсем немножечко. К тем ребятам, кто не кричат, не ползла — поздно. Патроны на исходе, мужики штыки из винтовок вырвали и пошли на окопы. Орут, матерятся, глаза — смотреть страшно. А снаряды рвутся там и сям, и негде от них укрыться. Осколок угодил Тане в ногу, бросил в воронку. Гром сместился на западный берег. Над полем, над воронкой выяснили звезды, морозец, крепчая, холодно осматривал место боя. Ох, и суровы же на Руси морозы!

Ночью похоронная команда собирала убитых. Татьяна еще дышит — в медсанбат. Большая, но теплая землянка. Сухая солома на полу. Врач худой, как голик, руки цепкие, чуткие и теплые. Задрал юбку, скальпель вынул из коробочки, взялся привычно выдирать осколок из ноги Татьяны. Боли почти никакой, только стыд, ведь раненые рядом, парни на ладан дышат, а все равно на обнаженную почти бабу глаза пялят. Смешной народ — эти русские мужики, такой народ не перекуешь, не выправишь. Тут и подумаешь: а это надо?

Глава третья

1

Может показаться удивительным, но Александра совершенно не интересовали подробности из судеб сестер. Будучи на похоронах Спиридона Громова, где он впервые после расставания в Шумихе увидел Анну, он даже не спросил, как ей жилось в ссылке. Был только

один момент, когда сестра говорила ему о чудовищной и, по сути, нелепой гибели отца. Александр напрягся всем телом, на впалых щеках выступила бледность, глаза застыли, словно окаменели под сдвинутыми бровями. Ни сожаления, ни проклятий, ни гнева — только ледяной взгляд куда-то в пустоту...

Как, почему Татьяна оказалась в Братске, что заставило ее выйти за человека, совершившего над ней насилие? Все эти вопросы так же не вызывали в нем даже простого любопытства. Татьяна не могла не заметить этой странности, все больше утверждаясь в догадке о том, как способно черстветь сердце человека, на долю которого выпало столько испытаний, что они уже не вмещаются в сознание, не вызывают чувств. Через душу Александра, занятого научной работой, прошло столько архивных документов, иные под грифом «Совершенно секретно», что никакие факты из жизни его сестер, равно как и еще из не остывшей в архивных подвалах истории, не могли волновать его. Зло, беды, лишения, смерть — все это уже воспринималось им как результат какой-то роковой безысходности, как естественное отражение реалий бытия и течения времени.

Даже самые нелепые повороты в судьбах людей, родных ему по крови и косвенно входящих по обстоятельствам в его круг, казалось, не задевали его внимание.

Костер медленно угасал, черные головешки лениво тлели, источая сизый дымок. Петр уже натаскал из лесу новую кучу хвороста, сбегал на Ангару, проверил сеть, принес несколько рыбешек и с чувством хозяина положения, исполнившего свои обязанности, присоединился к сидящим у костра. Было бы неправильно слушать, как гости что-то рассказывают о себе, а самому молчать. И Петр решил, что пришло время открыть себя, ибо все равно это должно было когда-то произойти. Ночной полумрак и лишь изредка пробегающие по лицам светлые отблески костра создавали самую подходящую обстановку для исповеди. Словно угадав его намерения, все вдруг затихли, сосредоточив свое внимание на нем.

2

Рассчитайсь! Первый, второй. Первый, второй. Первый... Первых направо, вторых — налево. Как картошку: эту на еду, эту — на корм скоту. Я в числе тех, кого «на корм».левой группе повезло — их прямиком на фронт. А нас — в глубокий тыл. Рудник на Урале. Да что они там, чем думают? Родина в опасности, нам фашистов бить надо! А тут. Скажешь, что думаешь, вслух — наряд вне очереди да еще прикладом по шее. «Войне нужен желтый металл, много металла, чтобы было чем стрелять и из чего стрелять. Его надо добыть», — так заученно тверди-

ли наши командиры, отводя глаза. Рудник — та же передовая, только на вооружении не винтовка, а лопата. Если бы железо, никаким железом тут, можно сказать, даже не пахло. Обычный золотой прииск. Все под секретом. Поговаривали, будто стоит над всем этим кто-то из высоких партийных хозяев, на карман которого и горбатились солдаты, вручную намывая драгоценный металл. Наживался, сволочь, под шумок. Разговор с рабами короткий. Приказы не обсуждаются. Мы, дескать, — помощь Родине, солдаты трудового фронта. Дисциплина строгая, как в зоне. Никаких поблажек и послаблений. Старшим в нашем взводе сержант Каймак. Он казах. Участвовал в боях, был ранен. На рудник напрямиком из госпиталя. Человек он скромный, тихий и как будто бы равнодушный к жизни. «Ее Бог дал — Бог взял. Нам не остается ничего, кроме как выносить ниспосланное, — обычно говорил Каймак. — Как Бог рассудит, так и будет». Рядом со мной на нарах (коек не было, забыли завезти) тщедушный, низкорослый Илья. Он ходил, как во сне — ничего не видел, никого не слышал. Бывало, пока не возьмешь его за руку и не спросишь: «Как дела, Илья?» — он тебя и в упор не видит. «Как дела? — переспросит и улыбнется до ушей. — Очень хорошо!» — и бредет себе дальше. И снова никого не видит и не слышит вокруг, и снова один на один со своими мыслями. С другой стороны от меня Лева Сахаров. Хитрый, жадный и трусливый еврей. Он был единственным среди нас, кто больше всего на свете боялся отправки на фронт, поэтому всегда делал вид, что вкалывает за двоих, чтобы начальнику прииска угодить, которому еще и нашептывал про всех... Он был такой синий и жалкий, что нам всем было стыдно за него. Мы ему говорим: «Воюют же сотни тысяч людей. Чего ты, Лева, так боишься?»

— Заткнитесь, герои с дырою! — злился Лева. — Хотел бы я на вас посмотреть в бою!

— Ну что ж, если будет угодно Богу, может, и посмотришь, — сурово сказал ему как-то наш тихий, смиренный Каймак, и с тех пор Сахаров отделился от нас, перебрался в другую часть казармы. В это же время он получил из дому посылку, я думаю, это тоже сыграло свою роль — так совпало. Никому из нас Лева не дал из своей посылки ни крошки. Мы не обижались, только Илья скрипел зубами. Было забавно смотреть, как этот маленький человечек, сжав крохотные кулачки, готов броситься на огромного, будто верблюда, Леву.

Как только первое весеннее тепло оживило дремучие уральские леса и растаял снег, мы тоже взбодрились. Так уж устроен человек — каждая весна дает ему новую надежду.

Всю зиму мы носили кирзовые ботинки, а весной так развезло все вокруг, такая была грязь непролазная, что в ботинках утонешь, и на-

чалство выдало нам высокие резиновые сапоги. Сначала обрадовались этим сапогам; очень удобно было в них топтать по непролазному месиву и мыть их удобно. Но вскоре мы поняли, какая это проклятая богом вещь. За смену ступни в них начинали так гореть, что хоть волком вой, а у многих еще ноги судорогой сводить начало.

Да, кормили нас совсем плохо. В роте много было казахов, им без мяса никак нельзя. Болели очень. От мороженой картошки у нас распухали лица. Волей-неволей начали мы есть грибы, этого добра там было навалом. Какие съедобные, какие ядовитые — никто не знал, ели все подряд. Многих потом рвало, животы крутило. Однажды я съел, желудок-то был совсем пуст. Три дня потом не выходил на работу — сил не было. Спасибо, Каймак меня пожалел. Но долго ведь так не будешь. Команда: «На службу!» — это значит, на работу. Еле волоча ноги, тащусь вместе со всеми к яме, где мы копаем глину. Возвращаясь в казарму, думаю только о том, как было бы хорошо, если бы меня вдруг послали на фронт. Совсем ослаб, тощих, как я, туда не посылают. Щеки впали, плюю кровью. Командир роты увидел меня такого, приказал топтать в ближайший поселок в медпункт. Сначала, конечно, обшарили с головы до пят, чтоб песочек не вынес. С этим делом очень строго было. Позаришься, не дай Бог, сразу без суда и следствия к стенке, как за измену Родине.

Петр закашлялся, почерпнул кружкой из котелка остывшего чая, шумно сделал несколько глотков: «Вы извините меня. Смотрю, светает уже. Не дал я вам поспать. Но у меня давно не было и, может, не будет уже таких добрых слушателей».

Ни дороги в лесу, ни тропинки. Шагал Коробов, трудно передвигая ноги, неведомо куда, просто двигал себя, чтобы не упасть, не уткнуться лицом в сырой мох. Иногда ему казалось: в лесу есть еще кто-то. Ни следов, ни кострищ, ни спички горелой, но чувство не отступало; есть кто-то поблизости — идет следом или кружит возле него. Нет, нечистой силы он не боялся и подумал, что это смерть его кружит над ним, сжимает кольца, дышит в него смрадной хворью, тленом, перегорелой душной кровью, хочет избавить его от мук. Петр не то чтоб не боялся смерти, призрака ее, он еще мог почтительно относиться к жизни, нужной не для одного него, но и для погибших и погибающих на войне собратьев. Если б не это, он бы свалился, и лесные мыши, песцы и прочие зверушки съели бы его с потрохами — и вся недолга. Но он еще сопротивлялся.

С помутневшим уже разумом, до дна почти выпитый комарами, иссушенный, разбитый кашлем, в изодранной одежде, он шел и шел. Отупев от гнуса, выл в бессилии и кричал что-то в небо, грозил ему кулаком. Иногда Петр останавливался. Бросался на непуганых линия-

лых куропаток, забивал их палкой, вместе с пером и внутренностями закапывал птицу в землю под костер и сначала с ужасом, потом почти равнодушно пересчитывал спички в коробке. Когда осталась последняя спичка, решил: разведу в последний раз огонь и лягу подле него навсегда. Он не знал, сколько прошло времени, какое было число, день, ему казалось, будто он блуждает по тайге вечность. Не удивился даже и не обрадовался, наткнувшись на умирающего оленя. Он лежал в сырой яме, в бурой, размешанной болотине. Он объел вокруг уже все кусты, мох и осоку вместе с корнями, выгрыз землю, выел ее до мерзлоты. В переломе ноги оленя кишели черви и под кожей прошивали ходы к склизкому, облезлому паху. Кости зверя торчали наружу, от него пахло, но, увидев человека, он забился в грязной яме, попробовал подняться и со стоном наотмашь упал обратно в грязь. Схватив палку, Петр зажмурил съеденные гнусом глаза и обрушился в ямину. Убитый олень дал ему возможность прожить еще несколько дней. Петр давно уразумел, что заблудился, утерял всякие ориентиры, от тупости забывал предметы, но не хотел с этим соглашаться и все надеялся — вот-вот выйду.

— Не помню, не знаю как, но я вышел, — сказал Петр, принявшись ворошить угли в куче уже холодной золы. — В поселке меня давно ждали. И встретили понятными словами: «Ну, вот и явился, дезертир. Долго же ты бегал, парень». Закружилось перед глазами, я весь обмяк и рухнул на землю. Помню только, как мне связывали руки.

В лагере сильно болел, лекарь сказал, что я безнадежный и что ему совсем не в радость записывать на свой счет лишнего жмурика, просил начальство отпустить меня умирать домой. Таня каким-то чудом разыскала, приехала за мной, забрала чуть живого. Сам бы я не доехал. Одни кости. На руках меня несла, как ребенка. Она уже здесь, в Братске, по призыву в больнице санитаркой работала, жила в подсобке. Просил я ее, умолял: брось меня в реку, все равно я не жилец, зачем я тебе такой? Но вот, как видите, мы здесь, рядышком с вами... Исповедь моя. Зря я, наверное, плакался. Кому это надо? Неинтересно все...

Кстати, знаете, как меня на станции ребята кличут? Венерой! Спросите, почему Венерой? Планета такая есть, единственная в Солнечной системе, которая вращается поперек часовой стрелки. Точно, как моя непутевая жизнь... Ладно, пойду рыбку чистить. Свеженькой ушицы сварганим. Жирные нынче подъязки попались, как поросята. Танюша, а ты костер раздуй шибче, чтоб веселее было...

— Привезла я своего горемычного в Братск, а куда его девать, где жить? Сама в подсобке уютилась, в любую минуту могли метлой на улицу. Пошла к главврачу, я ведь как-никак участник войны, ранение имею. Он в личном деле порывлся и говорит: «Ты, Фаркова, совесть имей. Вот справка НКВД, черным по белому написано: «антисоветский элемент». А ранением своим не козыряй. Вот если б погибла за Родину, тогда другое дело». Мир не без добрых людей, дали денег взаймы, кто сколько смог. Купили мы разваленную мазанку на окраине «Лесохимика». Этот район Братска самый плохой был. Огромный химический комбинат, небо не видно — одни трубы, а из них круглыми сутками валит сизый, ядовитый дым. Снег кругом, как яичный желток, и вонь стоит несусветная. А куда деваться? Какой-никакой, а все же свой дом, хотя стены у него одной нет и крыши. Наделала саману, стену вывела. А крышу — из камыша. Вязала его пучками, укладывала, промазывала глиной. Хорошая мазанка получилась. Огород раскорчевали большой, колодец сделала. Весной, правда, весь двор у нас заливало под самый порог. Но ничего, стали жить. В первое же лето с огорода картошки много накопили, помидоры хорошие выросли, капуста. На зиму все свое заготовила. Пошла работать в артель, надомницей, чтобы от мужа не отходить. Петя-то не вставал совсем. Даже на участке не мог отмечаться, они сами приходили. В артели нужно было план выполнять: пару варешек в день связать, тогда пайку хлеба дадут. Днем-то я в огороде, по дому, а ночью — вяжу. С керосином плохо, я в темноте вяжу, на ощупь. Лампу зажигала или лучину, когда пальцы вывязывала. Указательный и большой. В темноте-то их не свяжешь.

— А что, от Петра никакой помощи, все одна? — с недовольством в голосе спросил Александр, явно не одобряя наивную, как ему показалось, жертвенность сестры.

— Так ведь слаб был. Я ему даже горшок под кровать ставила. Лежал, но тоже не без дела. Выточил иглу из кости, распускал рваные носки и на кусках белья вышивал портреты. Сначала свои. Потом других, кто к нему приходил. И сейчас у меня в сундуке хранится вышивка коричневыми нитками по пожелтевшей бязи. Денег маленько накопили, взяли козу. Она три литра молока давала. Вот и подняла Петю на ноги. От молока он быстро стал поправляться. Еще не вставал, а сетку вязал. Хоть не большую сетку, а подмога получилась хорошая. Знакомые нам лодку давали. Людям разрешали рыбу в Ангаре ловить, потому что по карточкам хлеб часто не давали. А река спасала. Рыба своя, картошка, капуста, огурцы — все свое, ничего не покупали. Петя поправился немного и сразу пошел работать элек-

триком. Начальство его ценило, скоро комнату дали большую. В ней и живем. Все у нас хорошо, грех жаловаться. В «Энергетике»-то воздух почище, чем в «Лесохимике». А то совсем задохнулись. Там даже мух не было и комаров от газов. Дождь пройдет, в лужах пена, как в бане, когда намылишься. Теперь вообще хорошо живем: квартира, огород большой, вода близко, сарай, к соседям привыкли. Никто нас не трогает. Я в Доме культуры вахтером. Матрас вот дали как участнику войны. Дырки заштопала, стал матрас как новый. Ой, чего это мы сидим!? Уха стынет, — спохватилась Татьяна. — И ты сидишь, будто воды в рот набрал, — укорила Петра. — Тащи котелок.

Уселись вокруг котелка вчетвером, перекрестились. И дружно забрякали ложками.

* * *

Александр приезжает домой и меркнет душой: в доме побелка...

Он больше всего не любит ремонтов. Побелок, покрасок полов, этой перекройки устоявшегося жизнеустройства, когда все вещи в доме сдвигаются со своих привычных мест. Когда по дому можно ходить в грязных сапогах и голоса в пустых комнатах из-за вынесенной одежды начинают звучать свежо и сиротливо, будто сквозь сон, и хочется вон из дома — в поле, в лес. Но особенно он не любит побелок во время серых осенних дождей. Осенью и на улице-то не знаешь, куда спрятать глаза, чтобы не видеть этого будто бы наизнанку вывернутого мира. И так нужен спасительный кров с дорогим сердцу порядком вещей, а тут, как нарочно, дома еще хуже, чем на улице, и вещи открываются глазам самыми потайными своими сторонами, о которых положено знать только про себя.

Александр с тоской оглядывает старый шкаф, повернутый к глазам заплесневелой, сморщенной от сырости задней стенкой, изогнутый, перевязанный в нескольких местах проволокой обнаженный скелет кровати, такой уютной, когда она заправлена цветастым покрывалом и тюлевой накидушкой. Видит табуретку, валяющуюся посреди кухни, и, помрачнев, брезгливо садится на краешек мокрого стула. «Ну, нашла время белить», — сердито думает он про жену и недовольным голосом кричит: — Тебе лишь волю дай, ты не только потолки, ты и время белым покрасишь. А старые пятна-то все равно проступают. Слышишь, чего говорю?

ПОМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В печать, как водится, пошел «белый» вариант «Перековки». Но прежде были два или три «черных», их еще называют «рабочими». В них было больше желания и азарта. После нещадной правки материала начал постепенно угасал, странички белели, и кочегар, помытый в бане, обретал холеный аристократический вид. Жалко «кочегара». Он был и честнее, и смелее. Остались лишь пометки на полях, крошечные фрагменты, которым не нашлось места в эссе. Простому читателю они, должно быть, покажутся непривлекательными, а вот для критиков, если они вдруг обнаружат в себе желание высказать свои суждения, — хорошее подспорье.

По диплому я театральный режиссер, поэтому вполне оправдана была необходимость произвести на свет божий несколько спектаклей. Пришел однажды к директору: «Дайте мне в труппу хотя бы двух красивых женщин, поставлю их на главные роли, чтобы вид был, а то у нас с этим плохо...» — «Да и ты вроде бы не из красавцев». — «Конечно, потому и стою спиной к публике...»

Сам по себе, может, страшнее Квзимоды, а у «Перековки» пусть будет чистое и честное лицо. Так что, если захочется вымазать черным, — мажьте меня. Ее не трогайте. Грешно ее пачкать.

* * *

Почему начинаешь писать? Потому, наверное, что наступает момент в жизни, когда не писать нельзя. Есть писатели, которые прямо-таки толкают молодых людей к литературным занятиям. Вот Хемингуэй — сколько он породил когда-то подражателей. Они восторгались: «Старик!» — и не обращали внимания, что у Старика есть имя, Сантьяго, есть индивидуальность. Они писали просто: «Мальчик», «Девушка» — без имен, без лиц. Да, кто-то в литературе должен задавать тон, определять ее профессиональный уровень, вызывать желание ориентироваться на него. Кучу книг перерыл, искал, на кого мне равняться надо, взявшись за тему кулачества. Три-четыре романа откопал — все кроены под «Поднятую целину». Мои Громы, Фарковы, Ярославцевы, как ни старайся, кройке не поддаются. Они даже перековке не поддались. Они принесли больше свободы, больше правды. Признаюсь, внутри меня сидит цензор, с которым очень трудно бороться. Шестидесятники боролись. Тогда насчитывалось немало писателей и книг, которых теперь никто не помнит, потому что они лгали, служили в угоду. А ведь это были имена, тиражи, читательская аудитория, но равнение на со-

ветское прошлое держать почему-то не хочется. Угодливость не в характере.

Оттого и стиль заковыристый — эссе, оттого и время в романе намеренно течет скачками, а не по проторенному пути, как принято. И нет поющих хором здравницы товарищу Сталину счастливых колхозников на уборке урожая.

* * *

Я ведь не только журналист, имеющий к писательскому ремеслу некоторое отношение, я еще и просто читатель, и на дух не выношу чрезвычайно высокий патетический тон в разговоре. Сердцем чувствую: теперь требуется внутренняя корректировка, поправка на время, учет того, что аудитория изменилась вместе с ним. При всех благих намерениях литературе, запрограммированной на бесконечное учительство, неспособной посмотреть критически на себя саму и возможности своего реального воздействия на людей, мне кажется, грозит тяжелый кризис.

* * *

Не скрою, черновики «Перековки» я давал почитать нескольким, как мне думалось, разбирающимся в литературе товарищам с тайной надеждой получить ценные советы. Перечень замечаний оказался прост и примитивен, как кувалда. «Мало оптимизма, много черных красок, перенасыщение трагизмом» и т. д. Одним словом, надо прибавить патетики. Уверен, и критики на этот счет поупражняются вволю. И даже в голову никому не придет, что голая правда реальности без пресловутого ущербного оптимизма — это уже успех. Я давно не пионер и, кажется, имел возможность понять, что гуманизм писательского слова — понятие почти безразмерное, каждый пишущий вкладывает в него свой смысл. Важнее уразуметь скрытую пружину человеческих поступков, чем торопливо объявить человека венцом природы. Я ведь родился и вырос на Перековке и не могу патетически живописать о том, как палкой добивают служаки НКВД умирающего от голода крестьянина.

* * *

Живые картинки в «Перековке» совсем не случайно прерываются порой жесткой публицистикой, изобилующей сухими цифрами и фактами. Такой прием вольного использования классического жанра мог позволить себе разве что Лев Толстой в «Войне и мире». Но ведь мы говорили уже, что молодым, начинающим надо равняться на мастеров литературного цеха. Да, выбранный мною стиль, наверное, никак не привязывается к определенному литературному направлению, существует словно бы сам по себе, а не в «команде». Ну что ж, в голодное время на Перековке пы-

тались выжить тоже каждый сам по себе. А «команда» в Москве жевала рябчиков...

Невооруженным взглядом видно, что сегодня меняется само человеческое отношение к действительности, постепенно возвращается первоначальный смысл извечных этических истин, оживают надежды и ожидания.

* * *

Непосредственно о Сталине в книге почти ничего, а ведь именно он и есть главный герой романа, хотя и держится за кадром. Все нити чудовищных преступлений: массовые убийства, репрессии, ликвидация крестьянства, приведшая к страшному голоду, — ведут к нему. Увы, скорбно это признать, но Он в определенной мере причислял себя к нашему — журналистскому — сословию, вроде как и я прихожусь ему собратом по профессии, хотя, должен заверить, у меня нет братьев, у которых руки по локоть в крови. Сталин писал много, писал под разными псевдонимами: Давид, Намерадзе, Чижиков, Иванович, Като, Коба... Коба и стал его партийной кличкой, она нравилась ему. Коба — благородный герой романа Казбеги «Отце-убийца». Кажется, в 1913 году в газете «Социал-демократ» он впервые подписался: И. Сталин. Это и стало фамилией, под которой его знает теперь весь мир.

Негоже писать о злодеяниях вождя без учета его взглядов на литературу.

Второстепенных, второразрядных писателей он не читал — кому они нужны? Читал классиков, это необходимо русскому революционеру... Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов, Горький — ими можно было пользоваться в борьбе с властью, ими пользовались в дискуссиях и оппоненты — надо знать! Крестьянских писателей, всех этих Златовратских, Левитовых, Корониных да и Некрасова с Никитиным и Суриковым, не любил и не читал, жалели они мужика, а мужик сам никого не жалеет — Коба это хорошо знал, на себе испытал.

Нет, портить книгу деталями характера неадекватного вождя, пожалуй, не стоит. Пусть данная пометка останется на полях черновика...

* * *

Надо об этом, наверное, всегда помнить, особенно когда садишься за письменный стол. Кто-то из русских политиков сказал: «Изо всех изобретений человека книга — самое великое, изо всех людей на земле писатель — явление самое удивительное. Мы знаем Николая Первого и Бенкендорфа только потому, что они имели честь жить в одно время с Александром Сергеевичем Пушкиным. Что бы знали мы об истории че-

ловечества без Библии? О Франции без Бальзака, Стендаля, Мопассана? Слово — единственное, что живет вечно».

Мне к сказанному нечего добавить. Это надо учесть.

* * *

Кажется, я уже сейчас могу дать характеристику критику, который, возможно, возьмется разложить по полочкам «Перековку».

Незаурядный, очень одаренный человек. Ум критический. Сила воли есть, но волевые акты носят импульсивный характер. В поведении проявляет самостоятельность и решает все без советов и помощи других. Развитие высокое, умеет самостоятельно разбираться в вопросах литературы. Склонность к творчеству, возможно, и не выявленная вследствие слабой целеустремленности. Человек сердечный, но резко меняет отношение к людям, которые мыслят иными, чем он, категориями. Самолюбивый, не дающий себя отговорить от того, на что уже решился. Вспыльчивость и умение говорить колкости. В глубинных переживаниях замкнут. Деспот. Злопамятность есть, но не мстит. Обостренность нервной чувствительности. Глубокие потрясения от прочитанной книги скрывает и переживает один. Взгляд на литературу раздвоенный и непостоянный, жизнерадостность сменяется меланхолией. Во всяком споре считает правым только себя.

Не в обиду сказано...

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕКОВКА: часть первая

ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ	8
Глава первая	8
Глава вторая	38
Глава третья	59
Глава четвертая	99
Глава пятая	123
Глава шестая	130
Глава седьмая	139

ПЕРЕКОВКА: часть вторая

АСТЕНИЯ	150
Глава первая	150
Глава вторая	155
Глава третья	160
Глава четвертая	165
Глава пятая	173

ПЕРЕКОВКА: часть третья

ИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ	179
Глава первая	179
Глава вторая	191
Глава третья	204
ПОМЕТКИ НА ПОЛЯХ	211

Александр Николаевич Ребякин
ПЕРЕКОВКА
Литературно-художественное издание

Редактор Е. А. Ребякин
Дизайн и верстка А. Ф. Агзамов
Корректор С. В. Мельникова

Подписано в печать 18.01.2013. Формат 60 × 90/16.
Бумага офсетная. Гарнитура NewtonС.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,5.
Тираж 1000 экз. Заказ №

ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
E-mail: sales@uralprint.ru